pocketbook

ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ

Москва 2042

Владимир Войнович – писатель, поэт и художник. «Москва 2042» – сатирическая антиутопия, созданная Войновичем в конце восьмидесятых годов прошлого века. В этом романе главный герой путешествует во времени, отправляется на сверхскоростном космоплане в Москву будущего, чтобы узнать, что произойдет с Советским Союзом. Войнович на момент написания романа еще не знал, что Советскому Союзу остается жить лишь несколько лет. Поэтому «Москва 2042» читается как фантастическая история об альтернативном будущем, полная сатиры и юмора, философски захватывающая и потрясающе интересная и по сей день.

Галина Щербакова «Косточка авокадо» • Анатолий Рыбаков «Дети Арбата» • Виктор Пелевин «Жизнь насекомых» • Игорь Губерман «Гарики на каждый день» • Андрей Геласимов «Рахиль» • Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита» • Лев Толстой «Анна Каренина»

ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ

Москва 2042

ЭКСМО
МОСКВА
2010

УДК 82-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
В 61

Составитель серии *Александр Жикаренцев*

Оформление серии *Андрея Саукова*

В оформлении обложки использована
репродукция картины Василия Кандинского
«Москва. Красная площадь», 1916 г.

Войнович В. Н.

В 61 Москва 2042 / Владимир Войнович. — М. : Эксмо, 2010. — 480 с. — (Pocket book).

ISBN 978-5-699-43398-8

«Москва 2042» — сатирический роман-антиутопия, веселая пародия, действие которой происходит в будущем, в середине XXI века, в обезумевшем «марксистском» мире.

Герой романа — писатель-эмигрант — неожиданно получает возможность полететь в Москву 2042 года и в результате оказывается действующим лицом и организатором новой революции...

2042 год еще далеко, но кто знает, а вдруг Войнович все угадал?

УДК 82-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 978-5-699-43398-8

© Войнович В., 2010
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2010

Вступление

К сожалению, никаких записей у меня не сохранилось. Все мои тетради, блокноты, дневники, записные книжки и отдельные листки бумаги остались там. Только один листок, мятый, потертый, с разлохмаченными краями, случайно завалился за подкладку пиджака и был возвращен мне фрау Грюнберг, хозяйкой нашей штокдорфской химчистки. На этом листочке я разглядел, с одной стороны было написано: «4 шм. У наг. Тт. Л. О. Лъ». И на обратной стороне: «Завтра или никогда!!!» Ну смысл этой фразы мне совершенно ясен, я его по ходу дела легко объясню. Но что значит первая запись? О каких четырех «шм» идет речь и что означают другие буквы, убей меня бог, не помню.

Меня лично почему-то больше всего интригует это «Л» с твердым знаком, но что им обозначено — предмет, человек, животное? — нет, оно не вызывает во мне никаких решительно ассоциаций.

А ведь память у меня совсем еще недавно была просто прекрасная. Особенно на цифры. Я всегда помнил наизусть номера своего паспорта, трудовой книжки, военного билета, членского билета Союза писателей. Хотите верьте, хотите нет, но я номера

телефонов никогда не записывал, запоминал их с первого раза.

А теперь?..

Теперь даже о собственном дне рожденья я иногда узнаю из поздравительных телеграмм.

Все же у меня никакого другого выхода нет, как полагаться на память.

Легко предвижу, что некоторые читатели отнесутся к моему рассказу с недоверием, скажут: это уж слишком, это он выдумал, этого быть не может. Не буду спорить, может или не может, но должен сказать совершенно определенно, что я ничего никогда не выдумываю.

Я рассказываю только о том, что сам видел своими глазами. Или слышал своими ушами. Или мне рассказывал кто-то, кому я очень доверяю. Или доверяю не очень. Или очень не доверяю. Во всяком случае, то, что я пишу, всегда на чем-то основано. Иногда даже основано совсем ни на чем. Но каждый, кто хотя бы поверхностно знаком с теорией относительности, знает, что ничто есть разновидность нечто, а нечто это тоже что-то, из чего можно извлечь кое-что.

Я думаю, этого объяснения достаточно, чтобы вы отнеслись к моему рассказу с полным доверием.

К вышесказанному остается только добавить, что никаких прототипов у описанных в этой книге людей не имеется. Всех главных героев и второстепенных персонажей обоего пола автор срисовывал исключительно с себя самого, приписывая им не только свои мнимые достоинства, но и реальные недостатки, пороки и дурные наклонности, которыми его столь щедро наделила природа.

ЧАСТЬ I

РАЗГОВОР ЗА КРУЖКОЙ ПИВА

Этот разговор произошел в июне 1982 года. Место действия: Английский парк, Мюнхен.

Мы сидели в пивной на открытом воздухе. Мы — это я и мой знакомый, которого зовут Рудольф, или, короче, Руди. А фамилию его русскому человеку запомнить вообще невозможно. Не то Миттельбрехенмахер, не то Махенмиттельбрехер. Что-то в этом духе, но это неважно. Я лично зову его просто Руди.

Мы сидели друг против друга, и Руди слегка загораживал мне общий обзор. Но, скосив глаза чуть правее, я видел перед собой отливавшее свинцом сонное озеро, по берегу которого, переваливаясь с ноги на ногу, медленно прохаживались жирные гуси и голые немцы. То есть, скорее всего, не только немцы, но и эксгибиционисты всех национальностей, которые, пользуясь попустительством здешней полиции, слетаются в Мюнхен со всего мира, чтобы на людей посмотреть и себя показать.

Мы пили пиво из литровых кружек, которые здесь называются масс.

Я, правда, точно не знаю, это сама кружка называется масс или порция пива, которая помещается в кружке. Впрочем, это неважно. Важно то,

что мы сидели в пивной, пили пиво и говорили о чем попало.

Начали мы, кажется, с лошадей. Потому что этот Руди — коннозаводчик. Он выращивает, покупает и продает лошадей. Я с ним, между прочим, на почве лошадей и познакомился.

Выполняя одно деликатное поручение. Поручение состояло в том, чтобы приобрести и переправить в Канаду жеребенка благородной породы и обязательно белой масти. Помнится, я тогда удивлялся, почему жеребенка надо покупать здесь, а не в самой Канаде. Или в любой стране на том континенте.

Когда я задал такой вопрос Руди, он надо мной очень долго смеялся. Он мне сказал, что во всем мире разводят много лошадей, которых называют белыми исключительно по невежеству. На самом деле они в подавляющем большинстве бывают белыми с желтым, розовым, серым, синим или иным отливом. Но истинно белые лошади рождаются и разводятся только в одной-единственной местности на всей земле. Эта местность называется Камарг и находится во Франции, в устье Роны.

Выбирать жеребенка мы ездили на роскошном Рудином «Ягуаре», напичканном всякой электроникой, которую Руди обожает даже больше, чем своих лошадей. У него весь дом оборудован по последнему слову самой что ни на есть ультратехники, на которую он каждый год тратит миллионы со своих лошадиных сделок. Какие-то компьютеры, телерадиокомбайны, автоматические двери и еще что-то в этом духе. Свет в его кабинете с наступлением темноты сам по себе включается, но только в том случае, если в кабинете кто-нибудь есть. Если

хозяин выходит из кабинета, свет немедленно гаснет. (Руди утверждает, что благодаря этому устройству он экономит на электричестве не менее четырех марок в месяц.) Само собой, у него есть музыкальный компьютер, на котором можно играть, как на органе, скрипке, ксилофоне, балалайке и на множестве других инструментов по отдельности и вместе. Так что один человек одним пальцем может исполнять произведения, которые раньше были доступны только большим оркестрам.

Руди так увлечен этой техникой, что, кажется, ничего не читает, кроме технических журналов и фантастики. Он даже моих книг не читал, хотя держит их на видном месте и своим лошадиным знакомым всегда хвастается, что у него есть такой вот необычный друг — русский писатель.

Мне он говорит (не читая), что я пишу слишком реалистично, а реализм — это вчерашний день литературы. Честно говоря, меня такие вздорные суждения просто бесят, и я Руди всегда говорю, что его лошади тоже вчерашний день. Но если даже лошади еще кому-то нужны, то и в литературе, изображающей реальную жизнь людей, тоже потребность пока еще не отпала. Людям о самих себе читать гораздо интереснее, чем о каких-то там роботах или марсианах.

Я ему это как раз в пивной, где мы сидели, сказал. На что Руди, снисходительно усмехаясь, предложил мне сравнить тиражи моих книг с тиражами любого средней руки фантаста.

— Фантастика, — сказал он самоуверенно, — это вообще литература будущего.

Этим утверждением он вывел меня из себя. Я заказал второй масс и сказал, что фантастика,

как и детектив, это вообще не литература, а чепуха, вроде электронных игр, которые способствуют развитию массового идиотизма.

Жаркое солнце, холодное пиво и общий строй здешней жизни не располагают к страстному спору. Руди возражал лениво, не поддаваясь моему возбуждению, и вспомнил Жюль Верна, который, мол, в отличие от реалистов, предсказал многие научные достижения нашего времени, включая путешествие человека на Луну.

Я отвечал, что предвидеть научные достижения вовсе не задача литературы, а в предсказаниях Жюль Верна ничего оригинального нет. Всякий человек когда-нибудь воображал себе и полеты в космос, и плавание под водой, во многих старинных книгах подобные чудеса были описаны задолго до Жюль Верна.

— Возможно, — согласился Руди. — Однако фантасты предвидели не только технические открытия, но и эволюцию современного общества к тоталитаризму. Возьми, например, Оруэлла. Разве он не предсказал в деталях создание той системы, которая существует сегодня у вас в России?

— Конечно, не предсказал, — сказал я. — Оруэлл написал пародию на то, что существовало уже при нем. Он описал идеально действующий тоталитарный механизм, который в живом человеческом обществе существовать просто не может. Если взять Советский Союз, то его население проявляет лишь внешнее послушание режиму и в то же время абсолютное презрение к его лозунгам и призывам, отвечая на них плохой работой, пьянством и воровством, а так называемый старший брат –

предмет общих насмешек и постоянная тема для анекдотов.

Должен заметить, что с западными людьми спорить совершенно неинтересно. Западный человек, видя, что собственная точка зрения собеседника очень ему дорога, готов тут же с ней согласиться, чего совершенно не бывает у нас.

Наш спор с Руди сам по себе как-то увял, а мне хотелось его подогреть. Поэтому я сказал, что фантасты выдумали много такого, что сбылось, но выдумывают также и то, что не сбудется никогда, например путешествия во времени.

— Да? — сказал Руди, закуривая сигару. — Ты действительно думаешь, что путешествия во времени совершенно невозможны?

— Да, — сказал я. — Именно так и думаю.

— В таком случае, — сказал он, — ты очень ошибаешься. Путешествия во времени уже перешли из области фантастики в область практики.

Само собой разумеется, наш разговор шел на немецком языке, в котором я тогда, в 1982 году, был еще не очень силен (сейчас я в нем тоже силен не очень). Поэтому я спросил Руди, правильно ли я его понял, что уже сегодня можно при помощи каких-то технических средств перебраться из одного времени в другое.

— Да, да, — подтвердил Руди. — Именно об этом я тебе и толкую. Уже сегодня ты можешь пойти в райзебюро[1], купить за определенную сумму билет и на машине времени отправиться в будущее или прошлое, куда тебе больше нравится. Между

---

[1] Reiseburo — бюро путешествий (*нем.*).

прочим, такая машина существует пока только у нас в Германии, у компании «Люфтганза». Кстати сказать, техническое решение очень простое. Это обыкновенный космоплан вроде американского шаттла, снабженный, однако, не только простыми ракетными, но и фотонными двигателями. Космоплан достигает сначала первой, потом второй космической скорости, после чего включаются фотонные двигатели. С их помощью машина развивает околосветовую скорость, и тогда время для тебя останавливается, а на Земле идет, и ты попадаешь в будущее. Или аппарат развивает сверхсветовую скорость, и тогда ты опережаешь время и попадаешь в прошлое.

Я уже накачался пивом и немного опьянел, но все же еще не одурел. И я сказал Руди:

— Знаешь что, ты мне брось все эти глупости городить. Ты очень хорошо знаешь — это еще Эйнштейн доказал, — что не только сверх-, но и просто световой скорости достичь вообще невозможно.

На что Руди вышел наконец из себя, выплюнул сигару, стукнул по столу пустой кружкой, чего я от него, такого уравновешенного, не ожидал.

— То, что сказал твой Эйнштейн, — заявил Руди, — давно устарело. Евклид говорил, что через точку, лежащую вне прямой, можно провести только одну параллельную, и был прав, а Лобачевский сказал, что можно провести две или больше, и оба оказались правы. Эйнштейн сказал, что невозможно, и был прав, а я говорю, что возможно, и я тоже прав.

— Слушай, слушай, — сказал я ему, — не надо так сильно задаваться. Я тебя, конечно, уважаю (я,

когда выпью, всех уважаю), но ты все-таки еще не Эйнштейн.

— Ну да, — согласился Руди. — Я действительно не Эйнштейн. Я — Миттельбрехенмахер, но я тебе должен сказать, что и Лобачевский был не Евклид.

Видя, что он так сильно разволновался, я ему тут же сказал, что меня, в конце концов, мало волнует, кто из них (Эйнштейн, Лобачевский, Евклид или Руди) умнее, я современной техникой готов пользоваться практически, а на основе каких она законов построена, мне даже не интересно. И в самом деле. Вот эти свои записки я сейчас пишу на компьютере. Я нажимаю кнопки — на экране возникают слова. Несколько простейших манипуляций, и те же слова отпечатываются на бумаге. Если я захочу поменять какие-то абзацы местами, машина немедленно исполнит мою волю. Захочу во всех случаях поменять фамилию Миттельбрехенмахер на Махенмиттельбрехер или на Эйнштейн, машина и это для меня сделает. Я ежедневно пользуюсь электробритвой, радиоприемником или телевизором. Неужели я должен обязательно знать, на основе каких теорий все эти штуки работают?

Я спросил Руди, летал ли он сам на машине времени. Он сказал, что летал и с него хватит. Он однажды хотел посмотреть в Древнем Риме бой гладиаторов, так его самого вывели на арену. И он еле-еле унес оттуда ноги. С тех пор он всякие такие чудеса предпочитает смотреть по телевизору или читать о них книги.

Конечно, я ему не очень-то поверил. Но он мне сказал, что в реальной возможности путешествий во времени я могу легко убедиться. Для этого мне

надо только посетить его знакомую фройляйн Глобке, которая работает в райзебюро на Амалиенштрассе, пять.

— Правда, — сказал Руди, — совершить путешествие практически тебе все равно вряд ли удастся.

— Почему же все равно, почему же вряд ли? — спросил я. — Ты же сам говоришь, что оно из области фантастики перешло в область практики.

— Да, — усмехнулся он. — Да, это правда. Но цена билета еще из области фантастики в область доступности не перешла. Да и зачем тебе куда-то лететь и подвергать себя ненужному риску? Ты же не авантюрист.

Эта последняя фраза говорит только о том, что Руди плохо знал меня. Я именно авантюрист.

ФРОЙЛЯЙН ГЛОБКЕ

Обстановка в райзебюро на Амалиенштрассе была самая обыкновенная. Множество красочных плакатов и проспектов, предлагающих желающим осмотреть египетские пирамиды, исландские гейзеры, норвежские фиорды, погреться на Багамских островах, скатиться на лыжах со склонов швейцарских Альп или совершить путешествие на знаменитом океанском лайнере «Королева Елизавета Вторая».

Я спросил фройляйн Глобке, и мне указали на рыжеватую с веснушками девушку в углу, отгороженном экраном компьютера.

Честно говоря, я в последний момент порядочно оробел. Я подумал, что этот гад Руди, конечно же,

меня разыграл и сейчас все райзебюро сбежится, чтобы поржать над одураченным иностранцем. Но когда я сказал фройляйн Глобке свою фамилию и цель своего прихода, она, к моему удовлетворению, а отчасти все же и изумлению, нисколько не удивилась и смеяться не стала. Да, сказала она, у них действительно есть возможность отправить любого своего клиента в любое время и в любое место на планете Земля, и она, фройляйн Глобке, готова выслушать мои пожелания.

Пожелание мое, с ее точки зрения, было довольно скромным. Я хотел бы попасть в Москву через 50 лет, то есть в Москву 2032 года.

— Хорошо, — сказала фройляйн и стала тыкать своими наманикюренными пальчиками в кнопки компьютера.

На экране запрыгали какие-то буквы и цифры, фройляйн Глобке посмотрела на них, поцокала языком, повернулась ко мне и развела руками.

— Ага, значит, у вас все-таки этого нет? — обрадовался я возможности посадить Руди в лужу.

— К сожалению, — сказала смущенно фройляйн. — На этот рейс все билеты проданы. Но если вы согласитесь полететь на 60 лет вперед...

— Ну какая мне разница! — перебил я ее. — Десять лет больше, десять меньше, это неважно.

— Прима! — сказала фройляйн и, лучезарно улыбаясь, сообщила, что я сделал правильный выбор, придя именно к ним. Потому что они пока единственное в Европе райзебюро, организующее поездки подобного рода. Если меня интересует способ передвижения...

— Извините, — перебил я ее нетерпеливо, — способ передвижения мне уже приблизительно из-

вестен, мне его достаточно подробно объяснил херр Махенмиттельбрехер.

— Миттельбрехенмахер, — вежливо поправила она.

Я поблагодарил за поправку и сказал, что меня интересует не теоретическая основа, а практические условия полета. Как там насчет состояния невесомости, и вообще, не слишком ли сильно качает?

— Дело в том, — объяснил я, — что, когда я выпью, меня иногда очень сильно укачивает даже на земле.

— О, насчет первого, — улыбнулась фройляйн, — вы можете совершенно не беспокоиться. Наша электронная система искусственной гравитации вне всякой конкуренции. А вот насчет укачивания ничего сказать не могу. А вы не могли бы на время полета воздержаться от употребления крепких напитков?

— Что? — переспросил я. — Шестьдесят лет воздержания? Фройляйн, вы хотите от меня слишком многого.

— Ну что вы! — горячо возразила фройляйн. — О таком долгом сроке нечего и говорить. Это на земле пройдет шестьдесят лет. А для вас это будет всего три часа. Как обыкновенный полет из Мюнхена в Москву.

— Ну да, — сказал я. — Это конечно. Это я понимаю. Для меня там пройдет только три часа. Но на самом-то деле пройдет шестьдесят лет. И за шестьдесят лет ни капли?

— Ну что вы! Что вы! — фройляйн так разволновалась, что у нее веснушек стало вдвое больше. — Почему же ни капли? В конце концов, пить или не пить, это ваше личное дело. Кстати сказать, в этом

полете напитки пассажирам выдаются в неограниченном количестве и, разумеется, бесплатно.

— Это другое дело, — сказал я. — Что же вы мне сразу-то не сказали, что напитки бесплатно? Если бесплатно, тут и обсуждать нечего. Пишите: один билет туда и через месяц обратно, место для пьющих и курящих, желательно у окна.

— Хорошо, — кивнула фройляйн. — Однако должна вас предупредить, что наша фирма обратного возвращения не гарантирует. Мы, конечно, сделаем все, что от нас зависит, но мы не знаем, какие там будут в то время политические условия. Разумеется, консул нашей страны будет всегда к вашим услугам, но, между нами говоря, кто может поручиться, что через шестьдесят лет наша страна будет еще существовать и будет иметь консулов?

Ну да, конечно, подумал я, за шестьдесят лет может произойти что угодно. Но я же для того и лечу, чтоб узнать, что там именно произойдет.

— Ладно, — сказал я. — Чего уж там. Возвращения вы гарантировать не можете. Но если вы гарантируете бесплатные напитки, то все равно пишите.

Я дал ей свой паспорт. Тонкие пальчики фройляйн Глобке забегали по клавиатуре компьютера, словно исполняя неслышимую музыку букв и цифр. На экране появились мои имя, фамилия, номер паспорта, номер и дата рейса, потом еще какие-то цифры, которые как-то прыгали, сами между собой весело перемножаясь. Наконец цифры замерли, выстроившись в такое число: 4 578 843,00.

— Билет в два конца, — прочитала фройляйн, — стоит ровно четыре миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок три марки.

— Ого! — сказал я.

— Но если вы внесете наличными, мы предоставим вам десятипроцентную скидку, и тогда вся ваша поездка обойдется вам всего... — Она пошевелила пальчиками, цифры опять попрыгали и изобразили новое число: — Четыре миллиона сто двадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь марок и семьдесят пфеннигов.

— Это уже другое дело, — сказал я.

— Кроме того, в случае вашего невозвращения в течение трех месяцев семьдесят пять процентов стоимости обратного билета будут возвращены вашим наследникам.

— Ну это совсем хорошо, — заметил я. — Правда, у меня все равно таких денег в наличии пока не имеется, но я очень надеюсь, что мне поможет херр...

— Миттельбрехенмахер, — подсказала фройляйн Глобке.

Вот люди! Почему они всегда лезут со своими подсказками? Неужели эта фройляйн думает, что я без нее не мог бы вспомнить фамилию своего лучшего друга?

ТРИ МИЛЛИОНА ЗА РЕПОРТАЖ

Конечно, на Руди я рассчитывал совершенно напрасно. Когда я позвонил ему из автомата, он сказал, что с удовольствием одолжил бы мне необходимую сумму, но, к его великому сожалению, он сам сейчас испытывает некоторые финансовые затруднения. Дело в том, что последние шесть миллионов он потратил на двух вывезенных из Сау-

довской Аравии жеребцов, один из которых как раз вчера сломал ногу. Так что три миллиона тю-тю.

Как я потом узнал, вся эта история про сломанную ногу была чистым враньем. Руди просто побоялся одолжить мне деньги. Миллионеры, как я заметил, вообще люди прижимистые.

Домой я вернулся отчасти расстроенный, отчасти успокоенный. Не получилось, значит, не получилось. Не судьба. Может, так и лучше. В конце концов, мне уже сорок лет, возраст, достигнув которого от авантюр пора по возможности уклоняться.

Что касается моей жены, то она таким развитием событий была, как я заметил, очень даже довольна. Потому что я какой ни на есть, а все-таки муж. И если я где-нибудь в отдаленном этом будущем почему-то застряну, то еще неизвестно, найдет она себе другого такого же или нет.

Жена настолько расчувствовалась, что за ужином даже предложила мне выпить, чего обычно не делает. Я, понятно, долго упрашивать себя не заставил. Первую рюмку я выпил с женой, вторую и третью, когда она вышла к телефону, а четвертую опять с ней.

— Да, — сказал я, — а все-таки жаль, что не получилось. Очень хотелось бы посмотреть.

— Что там смотреть? Ты думаешь, там за это время что-нибудь изменится?

— За шестьдесят-то лет? — спросил я. — Неужели ты думаешь, что за шестьдесят лет ничего не произойдет?

Тогда она мне напомнила рассказ нашего соседа, который недавно умер. Когда-то он сюда приехал из России с семьей и не хотел распаковывать чемоданы. «Скоро большевиков прогонят, — гово-

рил он, — и нам придется ехать обратно. Зачем же делать двойную работу: распаковываться и опять паковаться?»

Опять зазвонил телефон. Как только жена вышла, я тут же хлопнул еще одну рюмку водки, но не успел наполнить вторую — жена вернулась.

— Тебя какой-то американец, — сказала она. Американец оказался корреспондентом журнала «Нью Таймс». Он спросил, не могу ли я его принять завтра по срочному делу. На мой вопрос, что еще за срочные дела, он ответил, что это не телефонный разговор. (А еще говорят, что только в Советском Союзе люди боятся говорить по телефону.)

— Хорошо, — сказал я, — приезжайте, только не раньше десяти. Я долго работаю и поздно встаю.

— О'кей, — сказал он и повесил трубку. Вот говорят, американцы развязные. Я этого не нахожу. Большинство из всех встреченных мною в жизни американцев воспитанны, деликатны, скромно, но опрятно одеты и очень приветливы. Конечно, они иногда кладут ноги на стол, но меня лично это совсем не шокирует. Они расслабляются, или, как они сами говорят, релаксируют. Ну и правильно. Релаксировать полезно для здоровья. А рефлектировать, как это делаем мы, вредно. Я тоже иногда кладу ноги на стол, но никакого релакса не получается, мы к нему не приучены.

На другое утро ровно в десять в дверь позвонили.

Открыв дверь, я увидел высокого стройного человека в голубоватом костюме, с темными, зачесанными на косой пробор волосами.

— Господин Мак..? — начал я, забыв продолжение его ирландской фамилии.

— Зовите меня просто Джон, — сказал он и улыбнулся.

Я пригласил его в гостиную и предложил кофе.

— Виталий, — сказал он, — у меня к вам большая просьба. Вы выслушаете мое предложение, а потом, независимо от того, примете его или нет, о нашем разговоре не будете никому сказать.

— Вы из ЦРУ? — спросил я.

— Нет, что вы! Я из «Нью Таймс», как и сказал. Но все-таки мне бы хотелось...

— Хотите, чтобы я поклялся на Библии?

— Это не есть обязательно, — улыбнулся он. — Мне достаточно вашего слова. Я слышал, что вы собираетесь идти в Советский Союз две тысячи какого-то года.

— Как вы узнали? — удивился я. — Я ведь об этом никому не рассказывал.

— Не беспокойтесь, я тоже не расскажу никому.

— Вы можете рассказывать кому угодно, потому что я никуда не еду. Билет в два конца стоит...

— Я все знаю, — перебил он. — Но если дело только в цене билета, наша фирма все расходы берет на себя.

— Все расходы? — переспросил я недоверчиво. — Четыре с лишним миллиона марок? Да это почти два миллиона долларов.

— И еще миллион вы получите в виде гонорара за подробный репортаж о вашей поездке.

— Три миллиона долларов за какой-то репортаж?

Он усмехнулся.

— Виталий, вы, я вижу, еще не совсем освоились на Западе. Это не какой-нибудь репортаж. Это сенсация века. Или даже двух веков. Возможно,

она стоит дороже, но наше финансовое положение сейчас не на самом лучшем уровне.

Я обещал Джону подумать. Он оставил мне свою визитную карточку и, не допив кофе, ушел.

РАЗГОВОР С ЧЕРТОМ

Глубоко ошибается тот, кто думает, что на мое решение хоть сколько-нибудь повлияли бешеные деньги, которые у меня появилась возможность заработать. Не буду утверждать, что я к деньгам равнодушен, но могу сказать определенно, что только ради денег я никогда не рискнул бы ни одним своим волосом.

И, пожалуй, я оставил бы просьбу Джона без удовлетворения, но тут проснулся во мне мой черт, который с тех пор, как в меня вселился, только о том и думает, как бы подбить меня на какую-нибудь авантюру. Иногда он перегибает палку, и тогда я давлю его в себе без малейшей жалости. Он затихает и некоторое время не подает никаких признаков жизни. В эти периоды я веду себя почти идеально: воздерживаюсь от питья и курения, дорогу перехожу только на зеленый свет, веду машину, подчиняясь всем дорожным знакам, а заработанные деньги отдаю жене до копейки. В такие дни все знающие меня не могут нарадоваться. Одет с иголочки, умыт, выбрит, подстрижен и к тому же исключительно со всеми любезен.

Но наступает время, черт пробуждается и начинает нудить:

— Ну что ты встаешь? Еще рано, обед еще не готов, можешь поспать. Спешить некуда, все равно

когда-то помрешь. Умываться сегодня не нужно, ты это делал вчера. Полежи, покури, наполни легкие дымом. Вон они, твои сигареты, на тумбочке.

Черт мой такой настойчивый, я не всегда могу перед ним устоять.

Я вытряхнул из пачки сигарету, чиркнул зажигалкой, затянулся.

— Браво! — воскликнул черт. — Рак — лучшее средство против курильщиков.

Это его любимое изречение.

— Дурак! — сказал я ему. — Тебе надо не во мне сидеть, а работать в обществе по борьбе с курением.

Затягиваясь дымом «Мальборо», я стал думать о предложении Джона.

Предложение было заманчиво, но все-таки, пожалуй, не для меня. Куда я поеду? Что меня там ждет, в этом далеком будущем? Может быть, какие-то ужасные передряги. А я ведь не мальчик. Я солидный семейный человек, мне вот-вот (неужели правда?) стукнет сорок. Пора успокоиться и остепениться. Избегать излишних волнений, стрессовых ситуаций и сквозняков. Надеть халат, заварить некрепкий чай, ну, в крайнем случае, выкурить трубку и сидеть себе за письменным столом, сочиняя какой-нибудь роман с плавно разворачивающимся сюжетом.

— Из всех человеческих пороков самым отвратительным является благоразумие, — сказал черт.

— Пошел вон! — сказал я. — Не суйся не в свое дело. Ты мне надоел.

— Ты мне тоже, — сказал черт. — Особенно в такие минуты, когда ты становишься добродетельным. Слушай, слушай, — зашептал он, — ты же

хорошо знаешь, что благоразумие неблагоразумно. Сегодня ты боишься простудиться, а завтра на тебя кирпич упал, и тогда какая разница, был ты простужен или нет? Ну что ты колеблешься? Тебе такая удача выпадает, воспользуйся! Поедем посмотрим, что там ваши коммунисты навыдумывали за шестьдесят лет.

— А ты любишь коммунистов? — спросил я насмешливо.

— Ну а как же! — закричал черт. — Как же их не любить? Они ведь тоже вроде чертей, всегда что-нибудь веселое придумают. Слушай, ну давай поедем, я тебя очень прошу.

— Ладно, — сказал я. — Допустим, я поеду. Но это будет последняя авантюра, в которую ты меня втравливаешь.

— Прекрасно! — зааплодировал черт. — Замечательно! Вполне даже возможно, что она будет последняя.

— Идиотина! — сказал я ему. — Чему радуешься? Если со мной что-нибудь случится, что ты без меня будешь делать?

— Да-да, — сказал черт печально. — Признаюсь, мне тебя будет ужасно не хватать. Но, честно говоря, я бы предпочел тебя видеть мертвым, чем благоразумным.

— Заткнись! — сказал я. — И не мешай мне думать.

— Затыкаюсь, — сказал черт смиренно и затих, понимая, что свое дело он сделал.

И хотя я сказал Джону, что мое решение вряд ли будет положительным и что я позвоню ему не раньше чем недели через полторы, я позвонил ему уже через три дня и сказал: ДА.

СЛЕЖКА

Я думаю, нечего объяснять, что прежде, чем пуститься в столь рискованное путешествие, какое я задумал, следует позаботиться о своей семье и сделать распоряжения, у которых есть достаточно шансов оказаться последними.

Банк, почта, страховое агентство, нотариальная контора — вот те учреждения, на посещение которых у меня ушло несколько дней.

Занимаясь всеми этими делами, я вдруг каким-то выработанным еще в прежние годы в Москве чутьем ощутил, что за мной кто-то следит.

Мне было очень некогда, но, проявив элементарную наблюдательность, я заметил, что телефон мой ведет себя не совсем обычно. То в нем слышны какие-то шорохи (магнитофон?), то он сам по себе почему-то тренькает, то, звоня кому-то, я попадаю не в тот номер, то ко мне попадает кто-то, кто звонил вовсе не мне.

Моя собака по ночам вдруг начинала ни с того ни с сего лаять. Выбегая во двор, я никого ни разу не обнаружил. Но однажды нашел под самой своей дверью окурок сигареты «Прима».

Другой раз я обратил внимание на молодого человека азиатского вида. Проезжая мимо моих ворот на велосипеде, он слишком старательно от меня отвернулся. Потом в одном из прилегающих переулков мое внимание привлек старый зеленый «Фольксваген» с франкфуртским номером. Заглянув внутрь, я обнаружил забытую на заднем сиденье газету «Правда».

На всякий случай я сообщил о своих наблюдениях в полицию. Там меня внимательно выслуша-

ли, но сказали, что подозрения мои слишком расплывчаты и неконкретны, но, если у меня появятся более убедительные доказательства слежки, они, разумеется, примут необходимые меры.

Полицейский, с которым я говорил, все же записал номер «Фольксвагена», а окурок «Примы» положил в целлофановый пакетик и спрятал в сейф.

ПОХИЩЕНИЕ

В тот же день со мной случилось происшествие, которое теперь можно назвать забавным, но тогда оно мне таковым не показалось.

Вернувшись из полиции, я решил выкинуть из головы все свои подозрения и развеяться.

Я сел на велосипед и поехал прокатиться по нашему штокдорфскому лесу.

За время своего изгнания я привык к велосипедным прогулкам и полюбил их. Весь этот преимущественно хвойный лес, который отделяет нашу деревню от окраины Мюнхена, очень мне мил и напоминает наши подмосковные леса, но отличается от них тем, что вдоль и поперек пересечен асфальтовыми и гравийными дорожками с указателями на перекрестках и подробными планами на опушках. Так что заблудиться здесь можно только при очень большом желании.

Я ехал по своей любимой дорожке, соединяющей Бухендорф с Нойридом, она прямая, асфальтированная и всегда пустынна в будние дни. Я ехал довольно быстро, обдумывая предстоящее путешествие, и, видимо, так увлекся своими мыслями, что не заметил чего-то, что ожидало меня на дороге.

Я и сейчас не знаю, что там было. Скорее всего натянутая поперек дороги веревка, на которую я налетел, упал и потерял сознание. А может, меня оглушили каким-то другим способом, ничего определенного сказать не могу. Я только помню, что я ехал на велосипеде и думал. А потом наступил провал в памяти, а потом, как говорят американцы, я нашел себя на каком-то диванчике, который слегка подпрыгивал подо мной.

Думая, что нахожусь у себя в комнате, я предположил, что происходит землетрясение, и хотел вскочить на ноги. Но тут же заметил, что, во-первых, тело меня не очень хочет слушаться, а во-вторых, я нахожусь не дома, а внутри какого-то автобуса с занавешенными окнами. Автобус куда-то едет, а передо мной сидят три человека, два в обыкновенных костюмах, а один весь в белом, должно быть врач.

«Батюшки! — подумал я. — Что ж это со мной случилось, подо что я попал и куда меня везут?»

Я пошевелился, чтоб как-то себя общупать, проверить целостность своего организма.

Как только я проявил признаки жизни, люди, сидевшие передо мной, тоже зашевелились, а врач сказал что-то на незнакомом мне языке. Приглядевшись к нему, я увидел, что это вовсе не врач, а скорее всего какой-то араб в национальном белом балахоне и такой же белой накидке, закрывавшей половину лица. Двое других были, вероятно, тоже арабы, но одетые по-европейски. Этим, в костюмах, было лет по тридцать, а тот, в накидке, выглядел, пожалуй, постарше.

При моем пробуждении они сначала перекинулись несколькими словами, а потом тот, который в

накидке, заговорил быстро, громко и повелительно. Причем, когда он открыл рот, от его зубов изошло голубоватое сияние, от которого в автобусе вроде бы даже стало светлее.

Когда он замолчал, один из его спутников кивнул и по-английски обратился ко мне. Назвав меня по фамилии (разумеется, с добавлением слова «мистер»), он сказал, что Его Высочество (то есть тот, который в накидке) приносит мне свои глубочайшие извинения, что им пришлось так бесцеремонно со мной обойтись. Они никогда не позволили бы себе такого обращения со столь уважаемым и достойным человеком, каким они меня безусловно считают. Только исключительная необходимость толкнула их на такой поступок, о чем Его Высочество еще и еще раз весьма сожалеет.

Очевидно, после чего-то, что со мною недавно случилось, у меня было некоторое помрачение памяти, я не знал, о чем именно сожалеет Его Высочество, и решил промолчать.

— Однако Его Высочество, — продолжал переводчик, — очень надеется, что вы чувствуете себя достаточно хорошо и не будете слишком долго держать на нас обиду. Его Высочество со своей стороны готов возместить материально тот небольшой ущерб, который мы невольно вам нанесли.

При этих словах Его Высочество энергично закивал головой (не открывая, однако, лица), потом полез к себе под подол, долго путался там в складках и ковырялся и, вытащив наконец кожаный мешочек вроде кисета, аккуратно положили его на разделявший нас узкий столик.

— Что это? — спросил я, косясь на мешочек.

— Небольшой личный подарок Его Высочест-

ва, — улыбнулся переводчик (и Высочество тоже улыбнулось смущенно). — Немного золота.

Я закрыл глаза и стал думать, что это за люди и чего они хотят от меня. Ничего не придумав, я открыл глаза и прямо спросил их об этом.

Сначала Его Высочество что-то быстро-быстро проговорило. Потом переводчик объяснил мне, что они представители одной небольшой, но очень богатой арабской страны. Узнав о моей предстоящей поездке...

— Как вы о ней узнали? — перебил я его.

— У нас на Востоке говорят, — тихо сказал переводчик, — что, если приложить ухо к земле, можно услышать весь мир.

Так вот, приложив ухо к земле и узнав о моих планах, они решили обратиться ко мне с одной маленькой, но деликатной просьбой. Они надеются, что в великом Советском Союзе, большом друге арабских народов, через какое-то время некоторые секреты перестанут быть секретами. И они, мои спутники, были бы мне очень благодарны, если бы мне удалось достать и привезти сюда подробный чертеж обыкновенной водородной бомбы, которая им нужна исключительно для мирных целей. Если я окажу им такую услугу, то они и лично Его Высочество в долгу не останутся, и мешок золота, который я получу в обмен на несколько кадров фотопленки, может быть в пятьдесят раз больше того, что лежит перед моими глазами.

Первым движением моей души было немедленно послать их к шайтану. Но, честно говоря, я не был уверен, что моя откровенность будет оценена благоприятным для меня образом. Тогда я решил воспользоваться положительным опытом Хаджи

Насреддина, который, как известно, в свое время обещал шаху в течение двадцати лет научить ишака говорить по-человечески. При этом Насреддин считал, что ничем не рискует, потому что за двадцать лет или шах умрет, или ишак, или он, Насреддин, предстанет перед Аллахом.

Не желая выглядеть в глазах своих спутников слишком уж готовым к исполнению их пожеланий, я сказал, что, разумеется, постараюсь (и даже не столько за деньги, сколько из исключительного уважения к их стране и лично к Его Высочеству) сделать все, что будет в моих скромных силах, но конкретно обещать ничего не могу. Мне, сказал я, сейчас даже трудно себе представить, какой будет моя страна через столь долгий промежуток времени, и я не знаю, какие сведения будут уже открыты, а какие все еще останутся секретными.

— Видите ли, — сказал я осторожно, — я очень хотел бы быть вам полезным, но в то же время всякая незаконная деятельность противоречит моим моральным принципам.

Тут они все трое загалдели наперебой по-арабски, и вдруг Его Высочество на чистом русском языке и даже почти без акцента сказал:

— На ваши принципы мы не посягаем и ни к чему принуждать вас не собираемся. Но когда вы будете возвращаться из прекрасного будущего в наше трудное настоящее, вам, может быть, захочется подумать о себе, о своих детях и внуках.

— Ваше Высочество, — спросил я, потрясенный, — где вас так хорошо учили русскому языку?

— В Московском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы, — охотно ответил

Высочество и улыбнулся, излучая загадочное сияние.

На этом наш разговор закончился, и через пять минут мои похитители высадили меня вместе с велосипедом и кожаным мешочком на какой-то улице.

Выходя из автобуса, я не удержался и спросил Его Высочество, не из платины ли сработаны его зубы.

— Ну что вы! — отозвался Высочество. — Я достаточно обеспечен, чтобы позволить себе бриллиантовые коронки.

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

Вот подумайте, что бы вы купили своим предполагаемым знакомым, если бы вам предстояла поездка на шестьдесят лет вперед?

Я стоял посреди известного в Мюнхене магазина Кауфхоф (по-нашему — Торговый двор) в полной растерянности.

В самом деле, всего полно, а что купить, не представляю. Джинсы? Зажигалки? Калькуляторы? Жвачки?

Жвачки, правда, я слышал, в Советском Союзе появились отечественного производства. Они, конечно, пока уступают западным образцам, но я нисколько не сомневался, что в течение шестидесяти лет, в результате развития технической революции, исторических постановлений партии и правительства и трудового энтузиазма масс, в деле производства предметов жевания и снабжения ими

широких слоев населения произойдут коренные перемены к лучшему.

Ну, и насчет джинсов я тоже думал, что через шестьдесят лет какой-нибудь прогресс неизбежно наступит, и уж во всяком случае польские, скажем, джинсы или венгерские по крайней мере в Москве достать будет можно.

Пару джинсов я все же купил. А еще купил какие-то галстуки, шарфики, пару складных по пять марок зонтиков, электронные шахматы, две готовальни и всякую парфюмерию: губную помаду, лак для ногтей, пудру, румяна, тени для век, искусственные ресницы, такие вещи, я знаю, никогда не устаревают.

О себе я, конечно, тоже подумал и купил пленки для фотоаппарата и диктофона, ленты для пишущей машинки, блокноты и набор шариковых ручек. А кроме того, я запасся несколькими парами белья, носками, перчатками, мылом, зубной пастой, новой бритвой «Жиллетт» и двумя пачками лезвий. Все это я купил на тот случай, если эти предметы в будущем окажутся хотя и несравненно лучшего качества, но будут для меня слишком уж непривычными. Увидев майки с надписью «Мюнхен-1982», я, конечно, тут же взял штук пять. Затем в отделе карт и путеводителей я нашел планы разных городов мира, в том числе и Москвы. Решив, что этой вещью тоже следует обзавестись (хотя бы для того, чтобы сравнить Москву сегодняшнюю с Москвой тогдашней), я взял один из планов и стал разглядывать, удивляясь его подробности. В Москве, когда я там жил, тоже издавались подобные планы, но на них указывались только самые главные улицы, да и то не все. А на этом я на-

ходил и маленькие переулки, и даже тупики, в которых когда-то жил.

— Улицы имени писателя Карцева там нет? — услышал я сзади насмешливый голос и, вздрогнув, оглянулся.

Передо мной в светло-зеленом плаще и серой шляпе стоял, усмехаясь, Лешка Букашев, мой бывший друг, однокашник и собутыльник. Когда-то мы вместе учились на факультете журналистики, а потом работали на радио, я в литературном отделе, а он в новостях. Вечера мы просиживали в Доме журналистов. Иногда вдвоем, иногда втроем. Он приводил с собой своего приятеля Эдика, курчавого молодого человека, который сам себя называл генетиком и иммортологом. Я этого Эдика спросил при первом знакомстве, занимается ли он продлением жизни. Он сказал, что задача продления жизни для него никакого интереса не представляет, это чепуха, которой занимаются геронтологи. Его же интересует не продленная, а вечная жизнь.

— То есть вы хотите найти эликсир жизни? — спросил я.

Он сказал, что он ищет нечто другое, но для дураков это можно назвать и эликсиром. Я хотел было обидеться, но он тут же смутился и сказал, что, говоря о дураках, он имел в виду не меня, а тех бюрократов, которые, не веря в решаемость проблемы, не дают ему лаборатории и вообще вставляют палки в колеса. Его однажды даже чуть не посадили за менделизм-морганизм, о нем писали фельетоны в «Крокодиле», и он был благодарен Лешке, который первый по радио отозвался о его опытах положительно.

Вообще Лешка был из тех людей, кто плохого

зазря другому не сделает. Насчет хорошего он сам говорил о себе так: «Я готов творить добро в разумных пределах. Хочешь, я одолжу тебе трешку?»

По своим взглядам он был законченный циник и карьерист. Но карьера его сложилась только со второго захода.

Первый заход он начал еще на первом курсе университета.

Я и сейчас хорошо помню его тогдашнего. Среди всех наших студентов он был один из самых старших и самых бедных. Он поступил в университет после армии и еще весь первый курс ходил в солдатских шмотках. Отца своего он не помнил, тот погиб во время войны. Лешкина мать Полина Петровна работала дворничихой на Сивцевом Вражке, где у нее была комната в семь с половиной квадратных метров без окон.

Он мне рассказывал, что с самого своего рождения никогда (даже в армии) не наедался досыта. И в университет он поступил вовсе не для того, чтобы овладеть журналистикой, а чтобы перейти в число людей, которые вкусно едят, хорошо одеваются и которых не бьют в милиции (его однажды били).

Но уже на первом курсе он понял, что люди, которых не бьют в милиции, тоже делятся на разные категории, и сказал мне, что настоящую карьеру можно сделать не по профессиональной, а по «партийно-половой линии». Я думал, что его наблюдения над жизнью имеют отрешенный характер, а потом увидел, что нет, он пытается употребить их для практических целей.

Едва поступив в университет, он тут же начал активничать в комитете комсомола, скоро стал

комсоргом нашего курса и кандидатом в члены КПСС. Половой линии он тоже из виду не выпускал и сошелся с одной нашей студенткой, которая была внучкой исторического и героического большевика и, кроме того, как и Лешка, горела на комсомольской работе.

На втором курсе Лешка одновременно собирался жениться на этой студентке и перейти из кандидатов в полноправные члены партии. В это же время его рекомендовали в комсомольские вожди факультета, то есть на пост, начиная с которого иные Лешкины предшественники добрались до самых верхов власти.

И вот его выдвинули и должны были голосовать и исключительно для проформы спросили публику, есть ли у кого-нибудь отвод.

И тут на трибуну вышла заплаканная Лешкина невеста и сказала, что, как ей ни трудно, она должна заявить товарищу Букашеву отвод, потому что он — человек с двойным дном: на публике говорит одно, а в частных разговорах другое. Например, в разговоре с ней он назвал Ленина Вовка-морковка.

Времена были уже либеральные, поэтому из университета Букашева не исключили. Но партийного билета он не получил, вождем его не избрали, и больше того, в комсомоле он остался, но со строгачом в личном деле. Ни о какой большой карьере речи уже быть не могло, и на радио Лешка работал репортером самого низшего разряда, писал о передовиках производства, скоростных плавках и высоких удоях.

Служебное его положение и зарплата росли очень медленно, пока он опять, причем почти случайно, не вышел на партийно-половую линию.

Он где-то познакомился с дочкой заместителя министра иностранных дел и тут уж своего шанса не упустил. Женился, вступил в партию и стал быстро наверстывать упущенное.

Мы с ним тогда поссорились, и судьбы наши пошли в разные стороны. Я стал диссидентом, меня исключили из Союза писателей и даже собирались посадить, а он, наоборот, быстро шел в гору, стал политическим комментатором на телевидении, ездил за границу, выполняя там какие-то важные поручения, и даже, как я слышал, входил в группу сочинителей, писавших книги за Брежнева. Само собой понятно, что в те годы мы с ним в Москве не встречались, а вот здесь, в Мюнхене, встретились.

ГАВАЙСКИЕ ОСТРОВА

— Ну привет, — сказал он дружелюбно и протянул руку, которую мне, может, не стоило замечать. Но должен признаться, что моей принципиальности на такие церемониальные движения никогда не хватало.

Пожав его руку, я спросил, как он оказался в Мюнхене.

— Да так, — сказал он, по-прежнему усмехаясь. — Приехал посмотреть, где чего дают.

Желая как-то его уязвить, я спросил, неужели ему не хватает того, что дают в ГУМе.

— ГУМ, дружок, — сказал он мне назидательно и цинично, — существует для тех людей, кто невкусно ест, плохо одевается и кого бьют в милиции. Кроме того, там очереди, а я очередей не люблю. Ты не знаешь, где тут кассеты для видео?

Я сказал, что не знаю, и спросил, что он здесь делает.

— Это неинтересно, — отмахнулся он. — Мелкие интриги.

— А я думал, ты занимаешься большой политикой, — сказал я.

— Большая политика, — возразил он, — в основном из мелких интриг только и состоит.

Мы помолчали. Потом я спросил его, неужели он, такая важная шишка, не боится толкаться здесь в толпе, где может оказаться кто угодно?

— Нет, мой милый, не боюсь. Здесь, среди покупателей, есть несколько человек, которые не сводят с меня глаз и берегут мою жизнь больше, чем свою собственную.

— Ты имеешь в виду, что здесь есть ваши люди? — спросил я, упирая на слово «ваши».

— Ну да, наши и... — Он засмеялся. — И ваши тоже. Слушай, ты куда-нибудь торопишься?

— Нет, — сказал я. — А что?

— Так, может, нам пойти трахнуть по кружке пивка?

— Несмотря на то, что ваши люди за тобой следят, ты не боишься со мной общаться?

— Друг мой, — сказал он с некоторой внутренней гордостью, — уверяю тебя, что общение с тобой мне ничем повредить не может. Но тебе оно тоже ничем не грозит.

— А кто тебя знает, — сказал я, желая его обидеть. — Я же не знаю, с каким заданием ты приехал сюда.

— С каким бы ни приехал, — сказал он, не обижаясь, — ты можешь не сомневаться, что мокрыми

делами я не занимаюсь. Для этого есть другие люди, с которыми я, впрочем, незнаком.

Мы сели в мою машину, и я повез его в ту самую пивную в Английском парке, где недавно мы пили с Руди.

Сейчас мы тоже заказали по массу. Заказывал Букашев. Я заметил, что он говорит по-немецки хотя и с акцентом, но без всяких ошибок. Официант был в коротких кожаных баварских штанах с застежками под коленями. Выслушав Букашева, он крикнул: «Яволь» — и побежал исполнять заказ, а Букашев стал меня расспрашивать о моей здешней жизни: как я здесь освоился, с кем общаюсь и говорю ли по-немецки. Я сказал, что мой немецкий гораздо хуже, чем его, но на бытовые темы кое-как объясняюсь. По-прежнему усмехаясь, Букашев заметил, что как бы ни недоступен был для меня немецкий язык, он все же не труднее якутского, который при ином повороте судьбы мне пришлось бы осваивать. И даже намекнул, что в решении моей судьбы и ему пришлось принять некоторое участие, причем он как раз был против «якутского» варианта.

— Другие были за? — спросил я.

— Не все, но некоторые были.

— А ты почему был против?

— У меня было три причины, дружок, — ответил он невозмутимо. — Во-первых, я, если ты помнишь, смолоду готов был творить добро в пределах разумного. Во-вторых, у меня к тебе есть некоторые сентиментальные чувства. А в-третьих, мне, честно говоря, нравится, как ты пишешь. Я считаю, что, несмотря на все глупости, которые ты на-

делал, было бы просто обидно использовать такой талант на лесоповале.

Тут же он стал меня убеждать (и, как мне показалось, вполне искренне), чтобы я не терял время, а писал.

— Для кого писать-то? — спросил я. — С моим читателем вы меня разлучили.

— Ну, не надо преувеличивать, — сказал он. — Отчасти разлучили, отчасти не разлучили. Страна у нас большая, границы длинные, народу ездит до черта, за всеми, кто чего везет, не уследишь. Я сам, между прочим, книжек твоих, так чтоб не соврать, штук пятьдесят-шестьдесят провез. Да и сейчас парочку с собой захвачу.

— Чудные вы, большевики, люди, — сказал я. — Сами писателя травите, сами изгоняете, потом сами же его книги возите контрабандой. Разве это не идиотизм?

— Идиотизм, — согласился охотно Букашев. — Идиотизм чистой воды. Но ничего сделать нельзя. Система, понимаешь ли, идиотская.

Я посмотрел на него недоуменно.

— Значит, ты тоже, — спросил я, — понимаешь, что система идиотская?

— А что? — сказал он. — Что тебя удивляет? Система идиотская, и я ей служу, но сам я не обязан быть идиотом. И другие не идиоты. Все всё понимают, но ничего сделать не могут.

— Странно, — сказал я. — Если вы всё понимаете, почему бы вам не попытаться как-то изменить положение? Власть-то в ваших руках.

— Власть-то в руках. Да только как ею воспользоваться? Ну вот представь себе, допустим, она тебе дана, эта власть. Что бы ты с нею делал?

— У-у! — завопил я так, что проходивший мимо с дюжиной кружек официант покосился на меня испуганно. — Да если бы у меня эта власть оказалась хотя бы на неделю, я прежде всего разогнал бы к черту всю вашу партию.

— Это понятно, — сказал Букашев, моим кощунством нисколько не возмутившись. — Ну разогнал бы, а дальше что?

— Не знаю, что дальше, — сказал я. — И даже знать не очень хочу. Но что бы ни было, все было бы лучше вашей бездарной власти.

— Ишь ты какой! — Он посмотрел на меня сквозь кружку. — Ты, я вижу, стал законченным антикоммунистом.

— Чушь! — возразил я. — Никем я не стал. Против так называемых идеалов коммунизма я ничего не имею. Свобода, равенство, братство, стирание границ, отмирание государства, от каждого по способности, каждому по потребности. Что общего это имеет с тем, что вы наворотили?

— Ты прав, — сказал он, стирая с губ пену. — Общего, прямо скажем, немного. Но ведь нам же нет еще и семидесяти. Для истории это только миг. Дров, правда, наломать успели порядочно и глупостей наделали, потому что торопились и пытались перепрыгнуть через все ступеньки. А так не получается.

— Да и не может получиться, — сказал я. — Утопия есть утопия.

— Откуда ты знаешь, утопия или не утопия? — Букашев допил свое пиво и поставил кружку на стол. — Если напролом лезть, то утопия. А если все продумать и идти шаг за шагом...

— Слушай, — сказал я, — зачем ты мне эту

хреновину порешь? Ты можешь в Москве плести чего хочешь по телевидению и здесь дурачить местных простаков, но не меня. Неужели ты надеешься меня убедить, что веришь сколько-нибудь в коммунизм?

— Миленький мой, я вообще ни во что не ве́рю, — усмехнулся он. — Я не верю, а думаю. И мне кажется, что какие-то шансы еще есть.

— Шансы? — я задохнулся от возмущения. — После всего того, что вы натворили? Какие там шансы?

— Я тебе говорю: какие-то. Маленькие. Может быть, даже совсем ничтожные. Но они есть. Слушай, браток, — схватил он за штаны пробегавшего мимо официанта, — притарань-ка нам еще пару пивка.

— Яволь! — охотно отозвался официант и со всех ног кинулся исполнять заказ.

Я изумленно посмотрел ему вслед и повернулся к Букашеву.

— Леша! — назвал я его впервые за нашу встречу по имени. — Что происходит? Ты же ему по-русски сказал! Как же он тебя понял?

— Да? — переспросил он озадаченно. — Я сказал по-русски? А, ну значит, это кто-то из наших. Не важно, не обращай внимания. Это тебя не касается.

Официант принес и поставил на стол еще два масса.

— Застегни пуговицу! — сказал ему Букашев насмешливо.

Рука официанта невольно дернулась к пуговице. Но он тут же опомнился.

— Их ферштее зи нихт![1] — сказал он резко и отошел.

— Вот и работай с такими! — вздохнул Букашев. — Прокалываются на любой ерунде. Так вот что я тебе скажу. Ты знаешь, я идиотом никогда не был. Во всякие возвышенные бредни не верил. Но и врать мне тебе незачем. Нет никакого резона. И если я говорю о шансах, значит, я это дело как-то обдумывал. Да и не только я. Ты, я знаю, о нашем руководстве очень низкого мнения, но поверь мне, что там тоже есть люди, у которых шарики вертятся.

Я сбегал по малому делу.

— Знаешь что, — сказал я, вернувшись, — я не знаю, вертятся у вас шарики или не вертятся, я знаю только, что это все равно не имеет никакого значения. Система прогнила, окостенела, вы все это сами хорошо знаете, но ни на какие положительные действия вы уже все равно не способны.

— А вот в этом, старина, ты как раз и ошибаешься! — с неожиданной горячностью возразил он. — На что-то мы способны. И что-то сделаем.

— Что вы сделаете? — Я посмотрел на него в упор.

— Какие-то идейки имеются, — сказал он, не отводя взгляда. — Но дело, как ты сам понимаешь, серьезное. В такой многоходовой комбинации как бы не ошибиться. Вот если б можно было заглянуть вперед лет, скажем, на пятьдесят-шестьдесят и узнать, что из всего из этого получилось. — При этом он внимательно посмотрел на меня и засмеялся.

---

[1] Ich verstehe sie nicht. — Я вас не понимаю (*нем.*).

Конечно, последняя фраза меня насторожила. Была она сказана случайно или с намеком? Если с намеком, то что Букашев хотел от меня?

Я ожидал от него дальнейшего развития темы, но он о ней как будто забыл и стал опять расспрашивать меня о моей жизни, попутно рассказывая и о своей.

Потом спросил о моих планах на лето, и я не понял, был этот вопрос задан с какой-то задней мыслью или просто из любопытства.

Стараясь себя никак не выдать, я сказал, что вообще-то собираюсь отдохнуть и, возможно, в ближайшее время махну куда-нибудь... Ну, скажем... (я ляпнул наобум) в Гонолулу.

— Гонолулу! Гавайские острова! — мечтательно произнес Букашев. — Ты знаешь, где только я уже ни шатался, а на Гаваях еще не бывал. Должно быть, хорошо там. Пальмы, солнце, море и гавайки с гавайскими гитарами. Слушай, а ты мою бывшую любовь давно не видал?

— Давно, — сказал я.

— Говорят, она стала очень религиозна.

— Со временем люди меняются, — сказал я уклончиво.

— Чепуха! — возразил он. — Они меняют предмет поклонения. Но при этом остаются такими же, как были. Да, а тогда она мне с Вовкой-морковкой здорово подсуропила. Я уж думал, и не вылезу. Ну ладно, дружок, рад был тебя повидать. Серьезно говорю, без дураков. Хочешь в Москве кому-нибудь чего-нибудь передать?

У меня, конечно, было кому чего передать, но не через него же.

— Слушай, — сказал я. — А правду про тебя говорят, что ты майор КГБ?

— Ну да, вроде, — согласился он с удовольствием. — Точнее сказать, генерал-майор. Но тебе-то что? Неужели ты думаешь, я с тобой встретился, чтоб на тебя стучать? Нет, братишка, я играю в другие игры и ставлю по-крупному.

Он подозвал официанта и, несмотря на мое сопротивление, расплатился за нас обоих.

На обратном пути я, поглядывая в зеркало, заметил, что за нами, особенно даже не скрываясь, идет зеленый «Фольксваген», но номер у него не франкфуртский, а кельнский. Я сказал об этом Букашеву, но он отмахнулся.

— Это наши. Не беспокойся, они едут не за тобой, а за мной.

Он попросил меня высадить его у «Фир Ярес Цайтен», самой роскошной гостиницы Мюнхена.

Уже выставив ногу на тротуар, он вдруг спросил, не может ли он как-нибудь при случае мне позвонить.

— Когда ж ты мне позвонишь, если я уезжаю? — спросил я.

— А, ну да! — сказал он. — В Гонолулу. Я и забыл. Но ты ж не навек туда едешь. — При этом он пристально на меня посмотрел. — Когда-нибудь ты вернешься и, может быть, даже захочешь мне рассказать, как там живут гонолульцы. Так я тебе позвоню. Номер твоего телефона у меня есть.

Было похоже, что он знает обо мне больше, чем я думал. Впрочем, меня это особо не волновало.

Отъезжая от гостиницы, я увидел припаркованный за углом зеленый «Фольксваген». Потом, по дороге домой, я все время поглядывал в зеркало

и сделал несколько проверочных маневров с заездом в глухие переулки и тупики. «Фольксваген» не появлялся, никаких других признаков слежки я не заметил тоже.

По дороге я включил приемник, который у меня всегда настроен на первую программу советского радио. Передавали концерт по заявкам тружеников моря. Сначала неизвестный мне чтец-декламатор читал отрывки из «Медного всадника», потом оркестр Большого театра исполнил танец маленьких лебедей из балета Чайковского.

— А теперь, — объявила дикторша сладким голосом, — в исполнении народной артистки Советского Союза... прозвучит украинская народная песня...

— «Гандзя-рыбка»! — сказал я вслух и как в воду глядел.

Сколько я себя помню, во всех концертах, демонстрирующих небывалый расцвет многонационального искусства в моей стране, всегда исполнялись одни и те же песни. Если русские, то обязательно или «Среди долины ровныя», или «Вдоль по Питерской», а украинские — или отрывок из «Наталки-полтавки», или вот эта самая «Гандзя».

Як на мэнэ Гандзя глянэ,
В мэнэ зразу сэрце въянэ,
Ой, скажите ж, добри люды,
Що зи мною тепер будэ...

Не знаю почему, но именно «Гандзя» исполнялась на всех торжественных концертах, посвященных партийным съездам и Дню милиции или еще чему-то подобному, причем исполнительница во всех случаях и во все времена была как будто одна

и та же: высокая и полная тетя в черном бархатном платье до пят и с большим вырезом на пышной груди. На грудь эту она клала руки, как на подставку, заламывала пальцы и, лукаво жмурясь, заливалась инфантильным меццо-сопрано:

Гандзя — рыбка,
Гандзя — птычка,
Гандзя — цяця, молодычка...

Боже мой, думал я, неужели в этой стране и вправду никогда ничего не изменится?

ЗВОНОК ИЗ ТОРОНТО

Я был в самом разгаре сборов, когда вдруг раздался звонок из Канады.

— Привет, старик, говорит Зильберович.

— А, — говорю, — привет, как жизнь?

— В трудах, — просто отвечает он. — Ты чем-нибудь занят?

— В каком смысле? Сейчас или вообще?

— Ну, сейчас и вообще.

— Ну, вообще-то говоря, занят.

— Так вот, бросай все, бери билет, и чтоб завтра ты был в Торонто.

Я просто опешил от такого предложения.

— Ты что, — говорю, — милый, одурел, что ли, совсем? Чего это я вдруг все брошу и из Мюнхена помчусь в Торонто? Да что же мне, делать, по-твоему, нечего, в такую-то даль переться?

— Старик, этот вопрос не обсуждается. В Торонто зарентуешь кар, какой-нибудь небольшой, незаметный, выедешь на хайвэй, там возьмешь шестой экзит, проедешь ровно два майла, на шул-

дере увидишь голубой «Шевроле». На крыше антенна, на заднем стекле жалюзи, номер замазан грязью. Фолуй за этим «Шевроле», особо не приближайся, но из виду не выпускай. Все![1]

— Идиот! — закричал я. — Прежде чем отдавать приказы, ты хоть бы по-русски научился как-нибудь говорить.

Но эти слова услышала только моя жена, трубка на другой стороне планеты была положена.

— Что такое? — спросила жена встревоженно. — Кто это звонил?

— Не поняла, что ли? Конечно, Зильберович.

— И чего он хотел?

Я рассказал.

Жена вспылила. Не столько на Зильберовича, сколько на меня. Да что это такое! Да с какой стати? Может быть, мы вообще уже прощаемся навсегда, у нас осталось несколько дней, но ты и их готов потратить на кого угодно, только не на семью. Это ты сам виноват, ты сам себя так поставил, что они с тобой позволяют себе обращаться как с мальчиком. Подумаешь, он вообразил себе, что он пуп земли, а ты к нему будешь бегать, как только он тебя пальцем поманит.

Это она, конечно, имела в виду не Зильберовича. Я ей сказал, что я сам глубоко возмущен, на каждый призыв вовсе откликаться не собираюсь и ни в какое Торонто, разумеется, не поеду.

---

[1] Зильберович, как многие эмигранты, пользуется языком, загрязненным искаженными словами местного лексикона: car — автомобиль, highway — автострада, exit — выезд, mile — миля, shoulder — в данном контексте обочина, follow — следовать за кем-то.

Я говорил это вполне искренне, злясь больше всего на себя самого и одновременно удивляясь той странной психической силе, которая действовала на меня, несмотря на разделяющее нас фантастическое расстояние.

Эта сила меня каким-то образом гипнотизировала, выводила из состояния равновесия, никакие реально объяснимые причины не вынуждали меня ей подчиниться, но не подчиниться ей я мог, только оказав отчаянное внутреннее сопротивление. Непонятно?

Попробую объяснить попроще.

Зильберович звонил мне не от своего собственного лица (собственного лица у него никогда не было), по поручению другого человека. Этому другому я не был подчинен по службе, не зависел от него материально, на положении моих дел его отношение ко мне никак не могло отразиться.

Ну если бы я его хоть как-нибудь почитал и по этой причине готов был бы кидаться со всех ног, выполняя его распоряжения, так ведь и этого ж не было. Больше того, в моих глазах он со своими претензиями на владение окончательной истиной вообще выглядел фигурой комичной.

И все-таки, когда он меня к чему-то призывал, я просто цепенел и чувствовал, что отказать ему выше моих сил.

Сейчас было то же самое.

Как я должен был реагировать на звонок Зильберовича? А просто никак. Кому-то взбрело в голову, что я должен все бросить и куда-то нестись. А мне кажется, что я никому ничего не должен, не должен даже и отвечать. У меня своих дел по горло.

Но что-то меня нервировало и склоняло к мыс-

ли, что не ответить совсем — неудобно. Понося последними словами и Зильберовича, и его, так сказать, патрона, а отчасти и себя самого, я сочинял в уме варианты отказа, начав с самого высокомерного (по телеграфу): кому надо тот едет.

Коротко, четко и вразумительно. Но нереалистично. Потому что представить себе ситуацию, в которой Он едет ко мне, даже попросту невозможно, а что я к Нему еду, это и представлять нечего.

Но почему, почему, почему?

Почему я не могу устоять перед этим человеком, который мне ни для чего не нужен?

— Что ты ходишь такой взвинченный? — закричала на меня жена. — Что ты куришь одну сигарету за другой и что ты бормочешь?

— Разве я что-то бормочу? — удивился я.

— Не только бормочешь, но и строишь рожи, и фигу кому-то крутишь. Если ты не можешь просто послать призывальщиков подальше, ответь как-нибудь вежливо. Скажи, что ты заболел, что у тебя какая-нибудь конференция, что тебе надо книжку дописать.

— Ну да, — усомнился я, — а он скажет: а кому нужны твои книжки?

— Ну если уж он так скажет, то ты ему тоже можешь сказать: а кому нужны твои книжки? На хамство всегда нужно отвечать только хамством. Ты сам себя ставишь на последнее место, поэтому и другие тебя ставят туда же.

Она была права, как всегда.

Но когда она уехала в банк, я позвонил в аэропорт просто на всякий случай.

Как я и предполагал, никаких прямых рейсов из Мюнхена в Торонто вовсе не существует, а ле-

теть с пересадкой во Франкфурте — это уж слишком. Чего ради я должен преодолевать такие препятствия?

Хотя если разобраться, не впадая в горячку, то пересадка без вещей дело не такое уж трудное. К тому же во Франкфурте у меня было одно, я бы так сказал, интимное дельце, ради которого просто так я бы, конечно, ни в жизнь не поперся. Но если заодно...

НОВЫЙ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

С Леопольдом Зильберовичем (по-домашнему — Лео) я познакомился в начале шестидесятых годов через его сестру Жанету, с которой я в то время учился в университете. В литературных (или, может быть, точнее сказать, окололитературных) кругах того времени Лео был фигурой одной из самых заметных.

Длинный и длинноволосый, в засаленном темном костюме с заштопанными локтями и пузырями на коленях, он неутомимо передвигался по Москве, бывая, кажется, одновременно и в редакциях самых либеральных по тем временам журналов, и в Доме литераторов, и на всех поэтических вечерах, и на всех премьерах.

Он был лично знаком со всеми сколько-нибудь известными поэтами, прозаиками, критиками и драматургами, которых (каждого в отдельности) покорял знанием и тонким пониманием их творчества. Каждому он мог при случае процитировать его четверостишие, строку из романа или реплику из пьесы и дать процитированному иногда неожи-

данное, но оригинальное и обязательно лестное для автора толкование.

Я не помню, чем он занимался официально (кажется, был где-то внештатным литконсультантом), но главным его призванием было открытие и пестование молодых талантов.

Его рыжий, вытертый, покрытый жиром и какой-то коростой портфель всегда был до отказа набит стихами, прозой, пьесами и киносценариями молодых гениев, которых он где-то неустанно выкапывал и рекламировал.

Много лет спустя, попав на Запад, я встречал самых разных литературных агентов, которые сидят в больших офисах, рассылают издателям рукописи своих клиентов, то есть ведут большой и прибыльный бизнес.

В наших условиях Зильберович делал то же самое, но без всякой корысти. Больше того, будучи бедным как церковная крыса, он сам, как мог, подкармливал открытых им гениев, не рассчитывая даже на то, что они когда-нибудь скажут спасибо.

Как только открытый им когда-то талант начинал печататься и не нуждался в пятаке на метро, он тут же Зильберовича выбрасывал из головы, но Лео ничего и не требовал. Его альтруизм был настолько чистого свойства, что он сам себя никогда не считал альтруистом.

Брошенный одним гением, он тут же находил другого и носился с ним как с писаной торбой.

Со мной он, между прочим, тоже когда-то носился.

Он был одновременно моим поклонником, оруженосцем и просветителем.

Все мною написанное он помнил почти наизусть.

В те времена, когда мне часто приходилось читать свои опусы в самых разных компаниях, Лео, конечно, всегда там присутствовал. Он устраивался где-нибудь в углу и, держа свой портфель на коленях, слушал внимательно, а когда дело доходило до какого-нибудь эффектного пассажа или удачной игры слов, Лео, предвкушая это место, заранее начинал улыбаться, кивать головой, переглядывался с собравшимися, поощряя их обратить внимание на то, что сейчас последует. И если публика на это место тоже реагировала положительно, Зильберович и вовсе расплывался в улыбке и испытывал такой прилив гордости, как будто это он такого меня породил.

Вспоминая тот период своей жизни, я думаю, что для писателя, конечно, самое главное — иметь природные данные, но в самом начале пути очень важно встретить такого вот Зильберовича.

Наш роман с Зильберовичем кончился, когда он встретил Сим Симыча Карнавалова.

Услышав первый раз эту фамилию, я сказал, что она несовместима со сколько-нибудь приличным писателем. Такая фамилия может быть у конферансье или бухгалтера, но у писателя — никогда.

Тогда я даже представить себе не мог, что со временем привыкну к этой фамилии и она мне будет казаться не только нормальной, но даже вполне значительной.

Я помню первый восхищенный рассказ Зильберовича о бывшем зэке, который, работая истопником в детском саду, пишет потрясающую (определение Лео) прозу. Этот человек, зарабатывая ше-

стьдесят рублей в месяц, живет исключительно аскетически, не пьет, не курит, ест самую неприхотливую пищу. Он пишет с утра до ночи (с перерывами только па сон, еду и подбрасывание угля), не давая себе никаких поблажек, практически ни с кем не общаясь, потому что, во-первых, боится стукачей, а во-вторых, дорожит каждой своей минутой.

Но при этом с ним, Зильберовичем, он (Лео подчеркнул это особо) не только говорил полтора часа подряд, но даже прочел ему вслух пару страниц из какого-то своего сочинения.

— Ну и как? — спросил я с затаенной ревностью.

— Старик, — торжественно сказал Зильберович, — поверь моему вкусу, это настоящий гений.

Причем сказал это таким тоном, по которому нетрудно было понять, что хотя я тоже в некотором смысле вроде бы гений, но все же, может быть, не совсем настоящий.

Зильберович жил тогда на Стромынке. С матерью Клеопатрой Казимировной и с Жанетой. У них была отдельная двухкомнатная квартира. Эту невиданную по тем временам роскошь они имели потому, что дедушка Лео, Павел Ильич Зильберович (партийная кличка Серебров), был героем Гражданской войны, на которой, к счастью для следующих поколений Зильберовичей, и погиб. Если бы он погиб позднее в лагерях, жилищные условия его внука вряд ли были бы такими хорошими. Мать и сестра Лео жили в одной комнате, а у него была своя, отдельная. Она была вся увешана портретами дорогих его сердцу людей. На самой большой, увеличенной со старого снимка фотографии был изображен дедушка Зильберович, лет двадцати пяти, с

чапаевскими усами, в кожанке и с маузером на боку. Дедушка Зильберович был единственным военным в коллекции портретов. Остальные были любимыми писателями Лео, начиная с Чехова и кончая мной.

В этой комнате мы часто встречались, я читал ему свои первые рассказы.

Да и не только я. Здесь бывали многие поэты и прозаики моего поколения, и даже Окуджаву я первый раз увидел и услышал именно у Зильберовича.

Хотя я с первого раза несколько приревновал Зильберовича к Карнавалову, но я не подумал, что они могут сойтись так близко. Однако они сошлись.

Правда, не сразу.

Карнавалов, судя по всему, был довольно-таки нелюдим и новых знакомых подпускать к себе не спешил. Но и от Зильберовича, если он в кого-то влюблялся, тоже было отбиться не так-то просто.

Он звонил, приходил, предлагал свои услуги: что-нибудь отнести, принести и даже перепечатать рукопись.

Однажды, часа в два или в три ночи, мне позвонила Жапета: пропал Лео. В семь часов ушел и до сих пор нет. Уже звонили в бюро несчастных случаев, мать лежит с приступом, Зильберовича нет.

— Ну и что, что нет? — сказал я. — Первый раз, что ли, он поздно приходит?

Она сказала: нет, не первый, но у них такой уговор — если он задерживается, он звонит не позже половины двенадцатого.

Утром позвонил Зильберович и попросил меня немедленно приехать к нему.

Оказывается, он всю ночь был у Карнавалова.

Тот дал ему, не вынося из дому, прочесть свой роман. Зильберович читал до утра и сейчас был так счастлив, как будто провел первую ночь с любимой женщиной.

— Старик, поверь мне, — Лео выдержал паузу, — это новый Толстой.

Признаюсь, эта его оценка меня довольно сильно задела. Если бы он назвал Карнавалова Гоголем, Достоевским, Чеховым, да хоть Шекспиром, это сколько угодно. Но дело в том, что Толстым раньше он звал меня. А предположить, что на земле могут существовать одновременно два Толстых, и тем утешиться я, понятно, не мог.

Я, естественно, спросил Лео, что же за роман написал этот новый Толстой.

Лео охотно ответил, что в романе этом 860 страниц, а называется он «КПЗ».

— КПЗ? — удивился я. — О милиции?

— Почему о милиции? — нахмурился Лео.

— Ну что такое КПЗ? Камера предварительного заключения?

— А, ну да, ну конечно, — сказал Лео, — но роман этот не о милиции. И вообще это не просто роман. Это всего лишь один том из задуманных шестидесяти.

Я подумал, что я ослышался, и попросил Лео повторить цифру. Он повторил. Я спросил тогда, не сидел ли этот новый Толстой в психушке. Лео сказал, что, конечно, сидел.

— Естественно, — сказал я. — Если человек задумал написать шестьдесят романов по тысяче страниц, ему в психушке самое место.

Будучи человеком очень прогрессивных взглядов, Лео взбеленился и стал на меня кричать, что с

такими высказываниями мне следует обратиться куда-нибудь в КГБ или поискать себе дружков среди врачей Института имени Сербского. Там меня поймут. А он, Лео, меня не понимает.

Мы тогда очень сильно повздорили, я хлопнул дверью и ушел, думая, что навсегда. Но это было не в первый и не в последний раз. На другой день Лео пришел ко мне с бутылкой и сказал, что вчера он погорячился.

Но когда мы выпили, он мне опять стал талдычить про своего гения и добрехался до того, что это не только Толстой, а еще и Леонардо да Винчи. Он такой оригинальный человек, что свои романы, учитывая их огромность как по объему, так и по содержанию, называет не романами и не томами, а глыбами.

— Вся большая зона, — сказал Зильберович, — будет сложена из шестидесяти глыб.

— При чем тут большая зона? — не понял я.

Зильберович объяснил, что «Большая зона» — это название всей эпопеи.

— А, значит, опять о лагерях, — сказал я.

— Дурак, лагеря — это малая зона. Впрочем, малая зона как часть большой зоны там тоже будет.

— Понятно, — сказал я. — А КПЗ — часть малой зоны. Правильно?

— Вот, — сказал Зильберович, — типичный пример ординарного мышления. КПЗ — это не часть малой зоны, а роман об эмбриональном развитии общества.

— Что-о? — спросил я.

— Ну вот послушай меня внимательно. — Зильберович сбросил пиджак на спинку стула и стал

бегать по комнате. — Представь себе, что ты сперматозоид.

— Извини, — сказал я, — но мне легче себе представить, что ты — сперматозоид.

— Хорошо, — легко принял новую роль Зильберович. — Я — сперматозоид. Я извергаюсь в жизнь, но не один, а в составе двухсотмиллионной толпы таких же ничтожных хвостатых головастиков, как и я. И попадаем мы сразу не в тепличные условия, а в кислотно-щелочную среду, в которой выжить дано только одному. И вот все двести миллионов вступают в борьбу за это одно место. И все, кроме одного, гибнут. А этот один превращается в человека. Рождаясь, он думает, что он единственный в своем роде, а оказывается, что он опять один из двухсот миллионов.

— Что за чепуха! — сказал я. — На земле людей не двести миллионов, а четыре миллиарда.

— Да? — Лео остановился и посмотрел на меня с недоумением. Но тут же нашел возражение: — На земле конечно. Но речь-то идет не о всей земле, а только о нашей стране, почему эпопея и называется «Большая зона».

— Слушай, — сказал я, — ты плетешь такую несуразицу, что у меня от тебя даже голова заболела. Большая зона, КПЗ, сперматозоиды... Что между этими понятиями общего?

— Не понимаешь? — спросил Лео.

— Нет, — сказал я, — не понимаю.

— Хорошо, — сказал Зильберович терпеливо. — Пробую объяснить. Вся эпопея и каждый роман в отдельности — это много самых разных пластов. Биологический, философский, социальный и политический. Поэтому и смесь разных по-

нятий. Это, кроме всего, литература большого общественного накала. Поэтому внутриутробная часть жизни человека рассматривается как предварительное заключение. Из предварительного заключения он попадает в заключение пожизненное. И только смерть есть торжество свободы.

— Ну что ж, — сказал я. — Жизнь, тем более в наших конкретно-исторических условиях, можно рассматривать как вечное заключение. А что, эти сперматозоиды описываются как живые люди?

— Конечно, — сказал Зильберович почему-то со вздохом. — Обыкновенные люди, они борются для того, чтобы попасть в заключение, но проигравшие обретают свободу. Понятно?

— Ну да, — сказал я. — Так более или менее понятно. Хотя немножко мудрено. А вот ты мне скажи так попроще, этот роман или все эти романы — они за советскую власть или против?

— Вот дурак-то! — сказал Зильберович и хлопнул себя по ляжке. — Ну конечно же, против. Если бы они были за, неужели я тебе о них стал бы рассказывать!

Я не хочу быть понятым превратно, но когда Лео увлекся этим Леонардо Толстым, стал бегать к нему и говорить только о нем, я воспринял это как неожиданную измену. Дело в том, что я, сам того не осознавая, привык иметь Лео всегда под рукой как преданного поклонника, которого всегда можно было послать за сигаретами или за бутылкой водки и выкинуть из головы, когда он не нужен. Я привык, что в любое время могу прийти к нему, прочесть ему что-то новое и выслушать его восторги. А тут он как-то резко стал меняться. Нет, он по-прежнему меня охотно выслушивал и даже хва-

лил, но уже не так. Уже не здорово, не гениально, не потрясающе, а хорошо, удачно, неплохо. А вот у Карнавалова...

И лепит мне из Карнавалова какую-то цитату.

Больше того, с тех пор, как он стал приближенным самого Карнавалова, в его отношении ко мне появилась какая-то барственная снисходительность.

Все это я вспоминал в самолете, летевшем по маршруту Франкфурт — Торонто.

ГЕНИЙ ИЗ БЕСКУДНИКОВА

Сколько бы я ни ревновал, ни скрывал свою зависть за иногда удачными, а иногда и совсем плоскими остротами, этот разысканный Зильберовичем на свалке новоявленный гений волновал мое воображение. И когда Зильберович с демонстративной важностью сообщил мне, что Сим Симыч благодаря его, Зильберовича, личной протекции согласился меня принять, я в свою очередь весьма иронически поблагодарил за оказанную честь и объяснил Зильберовичу, что соглашаются принять обычно только большие начальники, а разные истопники и прочие мелкие люди не соглашаются принять, а просят, чтобы к ним зашли.

— И вообще, я гениев видел достаточно, — сказал я, — и они меня не очень-то интересуют. Но с тобой я могу сходить просто из любопытства и не из чего более.

Разумеется, я рисковал тем, что Зильберович психанет и не возьмет меня, но риск, честно говоря, был, в общем-то, небольшой.

Зная Зильберовича как облупленного, я понимал, что ему тоже хочется пустить пыль в глаза и мне, и Сим Симычу, показав нам обоим друг друга. Потому что, носясь со своим Леонардо, он все же иногда вспоминал, что и я тоже чего-то стою.

Короче говоря, как-то зимой к вечеру мы собрались и, прихватив с собой бутылку «Кубанской», поперлись к черту на рога в Бескудниково.

Вывалились из электрички на обледенелую платформу: колючий снег в морду сыплет, темень (все фонари перебиты), пахнет промерзшей помойкой и еще чем-то мерзким.

А потом под лай местных собак тащились по каким-то закоулкам и колдобинам, где не сломать ногу можно только при очень большой способности к эквилибристике.

Ну, в конце концов нашли этот детский сад и этот жуткий подвал, пропахший мышами и потной одеждой.

В одной из комнат подвала и жил этот новоявленный гений и кумир Зильберовича.

Комната метров примерно семь-восемь квадратных. Стены покрыты зелеными обоями, местами ободранными, а местами сырыми и заиндевевшими. Под самым потолком маленькое окошко, да еще и с решеткой, как в камере. Обстановка: железная ржавая кровать, покрытая серым суконным одеялом, кухонный некрашеный стол с шкафчиком для посуды и выдвижным ящиком, в котором лежали самодельный нож, сделанный из полотна слесарной ножовки, алюминиевая вилка, давно потерявшая один из своих четырех зубов, и кружка, тоже алюминиевая, литая, с выцарапанными на ней инициалами хозяина «С. К.».

Туалетная полочка представляла собой кусок доски, обитой кровельным железом, когда-то выкрашенным в голубое, но краска сильно облезла. На полке лежал кусок зеркала размером с ладонь, часть безопасной бритвы (зажимы для лезвия и само лезвие, но без ручки), помазок (тоже без ручки — одна щетина), а в прямоугольной консервной банке из-под шпрот лежал размокший кусок мыла, такого черного и такого вонючего, какой и в советских магазинах мог бы найти не каждый.

Украшений на стенах никаких, кроме маленькой иконки в дальнем углу.

Еще были две лампочки. Одна, голая, под потолком и другая, так сказать, настольная. Собственно говоря, это была даже не лампочка, а какая-то безобразнейшая конструкция, скрученная из проволоки и обернутая тяп-ляп газетой с горелыми пятнами. Следует еще упомянуть две облезлые табуретки, тумбочку и большой кованый сундук с висячим замком. В углу у дверей садовый умывальник с алюминиевым тазом под ним и вешалка, на которой висела пропитанная угольной пылью телогрейка. Другая телогрейка, почище, была на хозяине. А еще были на нем ватные штаны и валенки с галошами.

Был он роста высокого, сутулый, щеки впалые, зубы железные.

— Познакомься, Симыч, это мой друг. Он, между прочим, в отличие от тебя, член Союза писателей, — громко сказал Зильберович в обычной своей развязной манере.

Симыч неуверенно протянул мне руку и вместо «здрасьте» сказал:

— Хорошо.

И при этом глянул на меня быстро и настороженно, как это обычно делают бывшие зэки.

Говорят, у современных самолетов есть специальная локаторная система распознавания встречаемых в воздухе объектов: свой — чужой.

У зэков это не система, а выработанное годами чутье. У меня есть основание думать, что Симыч не принял меня за чужого. Хотя повел себя для первого знакомства довольно странно. Без видимой иронии, но с какой-то все-таки подковыркой стал спрашивать:

— А вы, значит, вот просто официально считаетесь писателем? И у вас даже документ есть, что вы писатель?

— Ну да, — сказал я, — да, считаюсь. И даже есть документ.

— А вы свои книги пишете прямо на печатном станке или как?

— Нет, — говорю, — ну зачем же. У меня есть пишущая машинка «Эрика», я на ней так вот чик-чик-чик и пишу.

Зильберович почувствовал, что у нас разговор уходит в какую-то нехорошую сторону, и перебил:

— Симыч, а ты вот этой ручкой пишешь?

Только когда он это спросил, я заметил, что на столе рядом с лампой стояла чернильница-невыливайка, а из нее торчала толстая деревянная ручка с обкусанным концом. Последний раз я такую видел в конторе какого-то колхоза на целине.

— Да-да, — сказал Симыч и взглянул на меня с вызовом. — Именно ей и пишу.

— Симыч, — сказал Зильберович, — а ведь я ж тебе подарил самописку. Где она?

— А, самописку. — Он выдвинул ящик стола и извлек пластмассовый футлярчик с маркой «Союз».

— А зачем же ты пишешь этой дрянью? — спросил Зильберович.

Откровенно говоря, манеры Зильберовича меня тоже иногда раздражали, но в данном случае он, мне кажется, не сказал ничего особенного. Но Симыч почему-то вдруг разозлился, посмотрел на бедного Лео, как будто хотел прожечь его взглядом насквозь.

— Такой дрянью, — сказал он с ненавистью, — и даже худшей дрянью, и даже гусиной дрянью написана вся мировая литература. Никакими не машинками, не эриками и не гариками, а такой вот дрянью.

Потом он все же подобрел и даже разрешил Зильберовичу открыть бутылку. Сам он, правда, выпил всего ничего, а остальное выдули мы с Зильберовичем. Причем пили по очереди из хозяйской кружки. И закусили плавленым сырком с луком.

Мне казалось, что наши отношения уже установились, но когда Зильберович попросил Симыча что-нибудь почитать, тот опять взбеленился и, стреляя в Лео глазами, стал утверждать, что читать ему нечего, потому что он вообще ничего не пишет. А если что-то иногда и маракует, то исключительно для себя. Видно, он мне все-таки не доверял.

Зато Зильберовичу доверился настолько, что даже сообщил ему жгучую тайну своего сундука. Тайна заключалась в том, что все тринадцать написанных глыб и заготовки к сорока семи ненаписанным хранились именно в этом сундуке под висячим амбарным замком. О чем, разумеется, Зильберович (большой хранитель тайн!) и поведал мне

той вьюжной ночью, когда мы, спотыкаясь в заледеневших колдобинах, плелись назад к электричке.

— Ну теперь ты понял? — сказал Зильберович, волнуясь. — Ты понял, что Симыч — гений?

— Мистер Зильберович, — сказал я ему на это, — а вы не могли бы, хотя бы по пьянке, любезно объяснить мне, какое у вас отношение к женскому полу?

— Что ты имеешь в виду? — Лео остановился и повернул ко мне свое синее в темноте лицо с длинным носом.

— Я имею в виду, почему ты при твоих внешних данных и с таким выдающимся рубильником, который, согласно легенде, должен соответствовать другим частям тела, бегаешь все время за гениями, хотя мог бы бегать за бабами? Скажи честно, ты педик или импо?

— Слушай, — сказал Зильберович, ежась от холода и придерживая отвороты пальто. — А тебе обязательно все нужно знать?

— Мне не нужно, но интересно, — сказал я. — Но ты можешь не отвечать.

— Могу не отвечать, — сказал он, — а могу и ответить. Или, вернее, спросить. Вот ты можешь мне сказать, зачем все это нужно и что в этих бабах хорошего?

— Ну ты даешь! — сказал я, немного опешив. — Хорошего, конечно, ничего нет, но интересно. Зов природы. Да ты что, дурак? — рассердился я. — Не понимаешь?

— Нет, — сказал Зильберович. — Не понимаю. Ты думаешь, я ненормальный? Нормальный. У меня все работает, и я все испробовал. Ну да, ну при-

ятно. Но из-за пяти минут удовольствия столько суеты до и после.

— А ты, значит, с бабами суетиться не хочешь?

— Не хочу, — тряхнул головой Зильберович.

— А с гениями хочешь?

— А с гениями хочу.

— Ну и дурак, — сказал я Зильберовичу.

— Сам дурак, — ответил мне Зильберович. Это был единственный раз, когда я поинтересовался личной жизнью Зильберовича.

ВОЖАК И СТАДО

Сейчас я вовсе не собираюсь пересказывать всю историю Симыча, она достаточно хорошо и широко известна. О Карнавалове уже написаны тысячи или даже десятки тысяч статей, диссертаций и монографий. О нем было даже снято несколько документальных фильмов и один художественный (правда, довольно слабый). Все люди моего поколения хорошо помнят, как Карнавалов, начав печататься за границей, тут же стал всемирно известным. Вся советская власть — и Союз писателей, и журналисты, и КГБ, и милиция — вступила с ним в сражение не на жизнь, а на смерть, но ничего не могла поделать.

В самом начале, когда он напечатал первую свою глыбу, власти просто растерялись. Это было время, когда наше правительство заигрывало с Западом, рассчитывало там что-нибудь купить и украсть и после всех историй с Солженицыным и другими каких бы то ни было скандалов с писателями избегало.

Поэтому было указано с Карнаваловым поступить гуманно. Провести с ним беседу, пусть покается в «Литературной газете» и даст слово больше на Западе не печататься. Поэтому, когда его первый раз вызвали к следователю, разговор был мягкий. Следователь оказался очень большим почитателем литературного таланта автора глыб.

— Я, конечно, не специалист, — сказал следователь, — я просто читатель. Но мне ваш роман очень понравился. Над некоторыми страницами я даже плакал. — При этом он даже пошмыгал носом и протер очки, показывая, как он плакал. — Жаль только, что роман опубликован в очень неудачное время. В другое время мы бы это даже приветствовали, но сейчас, когда международная обстановка осложнилась, наши враги, конечно, постараются использовать ваш роман в очень нехороших целях.

Чтобы этого не случилось, следователь предложил немедленно дать международным империалистам самый решительный отпор на страницах «Литературной газеты».

Симыч обещал это сделать, но, придя домой, созвал прямо у себя в котельной пресс-конференцию для иностранных журналистов. И произнес перед ними очень сильную речь против коммунизма и коммунистов, которых он называл или заглотными коммунистами, или просто заглотчиками.

Резонанс был необычайный. Симыч немедленно прославился не только как самый лучший в мире писатель, но и герой. Об этом отважном русском заговорил весь мир. А как только мир утихал и власти рассчитывали, что когда совсем всякий шум прекратится, тут же его и слопать, он, не будь ду-

рак, немедленно печатал новую глыбу. Шум начинался еще больший, и предполагаемый его арест мог вызвать международный скандал крупнее даже, чем вторжение в Чехословакию или Афганистан. Власти крутились и так и сяк. Предлагали ему уехать по-хорошему. Он не только не сделал этого, но, помня историю с Солженицыным, обратился ко всему миру с просьбой не соглашаться принимать его, если заглотчики вздумают выпихнуть его из страны насильно.

Власти просто взвыли, не зная, что делать. Арест не проходил. Поклонники Карнавалова (а их у него появились тысячи) следили за его деятельностью и действиями властей. Власти опасались, что открытый арест Карнавалова может даже привести к бунту. Автомобильная катастрофа была бы шита белыми нитками. Оставалась только тайная высылка, но как и куда его выслать, если все западные правительства отказывались? Тогда-то в КГБ и была блестяще проведена оригинальнейшая акция.

Симыча арестовали в одиннадцать вечера в обстановке строжайшей секретности. Родственников изолировали, телефон выключили не только у него самого, но и у всех соседей. В печать ничего бы не просочилось, если бы не случайно проезжавший мимо корреспондент агентства ЮПИ. Он видел, как Симыча выводили из дому и заталкивали в воронок. Но пока он проверял эти сведения, пока передал их по телетайпу, Симыча над Голландией уже выталкивали с парашютом из самолета. Как стало потом известно, голландская полиция, обнаружив на своей территории столь необычного десантника, пыталась в ту же ночь перетолкнуть его в Бельгию, но бельгийцы, каким-то образом про-

нюхав о задуманной операции, сосредоточили на границе свои войска и затолкали его обратно. Голландцам ничего не осталось, как сделать хорошую мину при плохой игре. Утром правительство этой страны выпустило заявление, что, хотя Нидерланды обладают очень незначительной территорией, тем не менее на ней найдется достаточно места для письменного стола господина Карнавалова. Впрочем, уже через несколько дней Карнавалов обнаружил желание переселиться в Канаду, поскольку природа этой страны больше всего напоминала ему ту, среди которой он вырос. Так что все в конце концов завершилось ко всеобщему удовольствию.

Кажется, я залез куда-то не туда и начинаю рассказывать то, что и без меня всем известно. А моя задача состоит вовсе не в этом. Собственно говоря, никакой задачи у меня даже вовсе и нет, я просто вспоминаю отдельные моменты наших с ним отношений, не всегда самые важные и порой даже не очень связанные между собой.

Все-таки время, когда мы познакомились, было, как потом стали говорить, оттепельное.

Все оттаивало, и все оттаивали. Даже бывшие зэки. И даже скрытнейший из скрытных Сим Симыч.

Я у него и после бывал. С Зильберовичем и без Зильберовича. В конце концов, заметив, что я не имею против него никаких злостных намерений, Симыч мне стал доверять и даже давал читать не только «КПЗ», но и из других глыб отдельные главы.

Он уходил в свою котельную шуровать уголь, а я сидел за его кухонным столом и читал взахлеб.

Между прочим, я еще тогда обратил внимание на одну главу из «КПЗ». Она была большая, стра-

ниц около ста, и из всего повествования выбивалась. В начале ее даже было сказано, что она не для любителей легкого чтения, а только для пытливого читателя. Слово «пытливый» Симыч извлек, конечно, из словаря Даля, который он регулярно читал и в работе своей постоянно использовал. Так вот я оказался достаточно пытливым и всю эту главу терпеливо прочел. Хотя она была больше похожа не на главу из романа, а на научное исследование. Называлась она «Вожак и стадо». Там опять упоминался этот пресловутый сперматозоид, который один из двухсот миллионов куда-то там пробивается. И было сказано, что природа делит все живые существа, начиная со сперматозоидов и кончая высшими животными, на вожаков и членов стада. Много места уделялось поведению баранов, волков, гусей, тюленей, и все отмеченные автором законы переносились, понятно, на человеческое общество. Где тоже есть природное разделение на вожаков и стадо.

У нас с Симычем тогда и произошел первый серьезный спор по этому поводу. Он как раз вернулся из котельной и, стоя посреди комнаты, ел перловую кашу из своей миски. Меня он не угощал, но я, правда, этого есть и сам не стал бы. Я ему сказал, что глава мне очень понравилась, но все-таки животный мир и человеческое общество имеют существенные различия. И хотя у человека есть тоже стадное чувство, но у него все-таки более развиты индивидуальные качества, стремление к свободе, и вообще, сказал я, люди не должны слепо подчиняться природе, и человеческое общество должно основываться на основах плюрализма. Это словечко «плюрализм» тогда вошло в наших кругах в мо-

ду, и все его употребляли к месту и не к месту. И я его тоже ляпнул очень неосмотрительно. Я еще не знал, что это самое ненавистное для него слово. Мои слова его так возмутили, что он весь затрясся и даже чуть кашей не подавился.

— Плюралисты! — закричал он. — Да они даже хуже заглотчиков. Ты сам не знаешь, что ты болтаешь. Возьми хотя бы стадо гусей. Вот они куда-то летят. У них всегда есть вожак. А если не будет вожака, а будут одни плюралисты, они разлетятся в разные стороны и все погибнут.

— А вот как раз пример очень неудачный, — возразил я. — У гусей как раз устроено не совсем так. У них сначала один ведет стадо, потом другой, у них есть такая гусиная демократия.

— Дерьмократия! — рявкнул Симыч. — В демократии ничего хорошего нет. Если случается пожар, тогда все демократы и все плюралисты ищут того одного, который их выведет. Эти хваленые демократии уже давно разлагаются, гибнут, погрязли в роскошной жизни и порнографии. А нашему народу это не личит. Наш народ всегда выдвигает из своей среды одного того, который знает, куда идти.

Я тогда первый раз заподозрил, что под этим одним он имеет в виду себя.

Сейчас некоторые говорят, что это он, попав на Запад, так сильно переменился. А я говорю, он всегда был такой. Однажды, я помню (в этот раз, кстати, он тоже ел перловую кашу), мы говорили об Афганистане, и я сказал, что эта война ужасная. А он сказал, ужасная, но необходимая. Потому что когда мы заглотчиков прогоним, нам все равно будет нужен выход к Индийскому океану.

Я ему сказал:

— Симыч, прежде чем заботиться о выходе к Индийскому океану, ты бы хоть немножко выход из своего подвала привел в порядок. Доски какие-нибудь положил бы, а то ведь такая грязища, что утонуть можно.

Но это, конечно, споры были единичные. А вообще и его глыбами, и поведением я был настолько покорен, что сразу поставил Симыча над всеми другими и в его присутствии ужасно робел.

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ О БОРОДЕ

Больше всего меня поражало в нем полное отсутствие какой бы то ни было суетности и стремления к тому, чтобы печататься, стать известным, получать гонорары, жить в хорошей квартире, лучше питаться и одеваться. Потому я был очень удивлен, когда Симыч, уже на пороге славы, стал придавать значение своей внешности и даже отрастил бороду. Про его бороду я вообще думал, что она ему не идет и даже противоречит его внутреннему облику. Но затем мне пришлось признать, что и в этом случае он совершенно точно знал, что делал. Точно знал, когда ходить с бородой, когда без. Если бы, еще будучи истопником, он отрастил бороду любой длины, она вряд ли принесла ему хоть какую-то выгоду. Ну в крайнем случае прослыл бы среди жителей Бескудникова городским сумасшедшим. Понятно, ради подобной репутации он никогда не пошел бы на те неудобства, которые связаны с ношением бороды, тем более что, учитывая характер его тогдашних обязанностей, это и в пожарном отно-

шении было бы крайне небезопасно. А вот когда пришла слава, а с нею толпы поклонников и журналистов, когда настало время фотографий на обложках и телевизионных интервью, тогда борода пришлась как раз к месту. Размноженная миллионами телеэкранов, она производила неотразимое впечатление.

Вообще-то говоря, у меня о бороде есть целое исследование, которое каждый желающий может получить почти в любой библиотеке мира. Но для тех, кому лень ходить по библиотекам, я объясню кратко, что, по моему глубокому убеждению, борода играет очень важную роль в распространении передовых идей, учений и овладении умами. Я думаю, что марксизм никогда бы не мог покорить массы, если бы Маркс в свое время был побрит хотя бы насильно. Ленин, Кастро, Хомейни не смогли бы произвести революции, будучи бритыми. Конечно, захватывать власть в той или иной стране или покорять территории удавалось иногда усатым и даже безусым. Но ни одному безбородому еще не удалось прослыть пророком.

Нелишне заметить, что борода бороде рознь. Чтобы выделиться из общего ряда, носитель бороды должен избегать всякого намека на подражание. Никогда не следует отращивать бороду, которую можно назвать марксовой, ленинской, хошиминовской или толстовской. В таком случае вас могут зачислить не в пророки, а только в последователи. Сим Симыч это хорошо понял, но оптимальное решение нашел не сразу. Поначалу он зашел слишком далеко и отрастил бороду такой длины, что при быстрой ходьбе иногда сам же на нее наступал. Это было и неудобно, и бессмысленно,

потому что при съемках крупным планом борода не вписывалась в кадр. Пришлось укоротить, и с тех пор истинно карнаваловской считается борода, которая лишь слегка прикрывает колени.

Некоторые могут меня спросить, не слишком ли много внимания уделяю я бороде. Как бы пророк ни дурил, главное в нем все же не внешность, а его мысли и идеи. Это всеобщее заблуждение, которое я много лет и, правду сказать, вполне безуспешно пытаюсь развеять. Мысли и идеи пророков второстепенны. Пророк прежде всего действует не на мозги, а на гормональную сферу, для чего как раз и нужны борода и соответствующие ей жесты, ужимки и гримасы. Толпа, возбужденная сексуально, ошибочно полагает, что овладела идеями, ради которых стоит крушить церкви, строить каналы и уничтожать себе подобных. Интересно, что, развязывая сексуальную энергию масс, сами пророки очень часто бывают импотентами и говорят женскими голосами. Впрочем, к Симычу это утверждение относится лишь отчасти. Голос у него, правда, тонкий, но все остальное, как я слышал, в полном порядке, и именно это, противореча моей концепции, мешало мне признать его настоящим пророком.

ЖЕНИХ

Я рассказываю о событиях, свидетелем которых мне пришлось быть, так непоследовательно, потому что в результате всего случившегося со мною я утратил внутреннее ощущение разницы между прошлым и будущим.

Когда Симыч стал знаменитым, его сразу при-

знали все поголовно. Говорить о нем можно было только в самых возвышенных тонах, не допуская ни малейшей критики. А уж когда он женился на Жанете, при ней вообще нельзя было сказать, что, допустим, мне какая-то отдельная фраза или строчка из Симыча не понравилась. Все, что делал Симыч, было настолько безусловно замечательно, что даже определение «гениально» казалось недостаточным.

Но она, между прочим, оценила его не сразу. Я помню тот период, когда он меня не только удивил, но даже потряс тем, что втюрился в нее с первого взгляда и сразу решил соблазнить ее своим «КПЗ», который в канцелярской папке с коричневыми тесемочками сам лично принес ей для прочтения.

Жанета теперь об этом совершенно не помнит, но тогда она к «КПЗ» отнеслась очень сурово.

— Ну скажи, — говорила она мне, — почему он пишет так длинно и почему у него герои все такие бескрылые, бесхребетные и ущербные? Куда они зовут и к чему ведут? Почему он всю нашу жизнь изображает только черными красками? Неужели он не мог найти в ней ничего положительного? Ну, конечно, все знают, отдельные ошибки и злоупотребления были, и партия о них сказала со всей прямотой. Но в конце концов, сколько же можно об одном и том же? Ведь не только же плохое у нас было. Ведь сколько построено новых городов, заводов, электростанций...

Подобные речи я слышал от Жанеты задолго до этого разговора. Раньше, правда, она их произносила увереннее. А теперь и в ней появились некоторые сомнения в правоте «нашего дела». От одних

идеалов она незаметно для себя отдалялась, но к другим еще не пришла.

Как сейчас помню, оказавшись однажды на Стромынке и не имея в кармане двух копеек, решил я проведать Зильберовича без звонка.

Поднявшись на четвертый этаж, у самых дверей Зильберовича нос к носу столкнулся я с человеком во всем белом и парусиновом: парусиновые брюки, парусиновый пиджак, парусиновые ботинки, начищенные зубным порошком, и картуз образца ранних тридцатых годов (где он только его раздобыл?) — тоже из парусины.

— Сим Симыч, добрый день! — поздоровался я.

Он посмотрел на меня как-то странно, словно не узнавая, и, ничего не ответив, медленно и на ощупь, как слепой, стал спускаться по лестнице.

Дверь мне открыла Клеопатра Казимировна. Она была ужасно взволнована и шепотом сказала мне, что минуту назад «это чучело» сделало ее Неточке (так она называла свою дочь) предложение.

— Но это же просто наглость! — возмущалась она. — Не имея никакого положения, да еще в таком возрасте...

Кстати, насчет возраста: Симычу тогда всего-то было сорок четыре года, но выглядел он гораздо старше.

Клеопатра Казимировна сказала мне, что Лео скоро придет, а Неточка у себя. И ушла на кухню. Жанета в ситцевом халате сидела на подоконнике и смотрела на улицу (наверное, хотела увидеть, как он выходит из подъезда).

На круглом столе посреди комнаты стояла нераскупоренная бутылка алжирского вина и мани-

кюрный набор в коробочке, обтянутой красным бархатом.

Жанета со мной обычно особенно не откровенничала, а тут вдруг разговорилась и рассказала подробно, как Симыч пришел, как волновался, как долго пил чай и не уходил, как наконец поднялся и по-старомодному предложил ей руку и сердце. А когда она отвергла предложение, он разозлился и пообещал, что она еще горько пожалеет о своем решении, потому что о нем скоро узнает весь мир.

— Ты себе представляешь? — сказала она мне, волнуясь, возмущаясь и проявляя в то же время какую-то странную для нее неуверенность. — О нем узнает весь мир! Ты можешь себе это представить?

— Могу, — сказал я коротко.

— Почему? — удивилась она. — В мире есть десятки или сотни тысяч писателей, и каждый из них рассчитывает прославиться на весь мир.

— Ну да, — сказал я, — каждый рассчитывает. Но кто-то из них рассчитывает все же не зря. Ты же читала у него, что только один из двухсот миллионов сперматозоидов выбивается в люди.

— Ты думаешь, ваш Симыч и есть тот один? — спросила она, скрывая за насмешкой сомнение.

— Он очень упорный, — сказал я уклончиво.

— Он сумасшедший, — сказала она. — Ты знаешь, что он мне наплел? Что он чуть ли не царского происхождения. Это он-то, этот счетовод в парусиновом картузе.

Она эти свои слова, я думаю, давно позабыла, а я никогда бы не решился их ей напомнить.

У ВАС ЕСТЬ АЙДЕНТИФИКЕЙШЕН?

Мы ехали по местной дороге 4, точно соблюдая инструкцию: впереди голубой «Шевроле» с заляпанным грязью номером, за ним я во взятой напрокат «Тойоте». Как и было предписано, я старался держать дистанцию, не слишком приближаясь к «Шевроле», но и не упуская его из виду.

Я думал, куда, интересно, смотрит канадская полиция и почему она не обращает внимания на то, что номер заляпан, хотя в окрестностях Торонто, судя по поблекшей траве, дождей давно не было. И конечно, думал я о Симыче, о его странных чудачествах и привычках и об этой идиотской игре в шпионы, при которой надо закрывать окна машины и заляпывать номер.

— Тоже мне, неуловимый Джо, — сказал я самому себе, вспомнив анекдот о всаднике, воображавшем себя неуловимым потому, что ловить его никто не собирался.

Водитель передней машины знал свое дело хорошо. Он держал все время одну и ту же скорость, не делал резких маневров и заранее включал сигнал поворота.

После городка, который назывался, кажется, Лоренсвил, начался большой сосновый лес за аккуратной оградой из металлической сетки. Мы проехали вдоль этой сетки несколько километров, когда водитель «Шевроле» включил правый поворот.

Съезд в лес обращал на себя внимание только тем, что был почти неприметен. Но у самого начала лесной дороги на ограде висел большой белый щит с таким текстом:

ATTENTION!!!
PRIVATE PROPERTY!
TRESPASSING STRICTLY PROHIBITED!
VIOLATORS WILL BE PROSECUTED![1]

Очевидно, водителя «Шевроле» это предупреждение не касалось.

После еще нескольких километров сухой, посыпанной гравием дороги мы наконец уткнулись в зеленые железные ворота, от которых в обе стороны уходил и скрывался в лесу такой же зеленый железный забор. Вернее, уткнулся в эти ворота только я на своей «Тойоте». Перед «Шевроле» ворота открылись, а передо мной как раз успели закрыться.

Я, естественно, удивился, но проявлять нетерпение не спешил и стал разглядывать ворота, над которыми была широкая железная полоса в виде арки, а на этой полосе большими русскими буквами было обозначено:

ОТРАДНОЕ.

Я уже раньше слышал, что Симыч так назвал свое имение. Не успел я выкурить сигарету, как ворота открылись снова, и я въехал внутрь. Но недалеко. Потому что за воротами был еще шлагбаум и полосатая будка, из которой вышли два кубанских казака — один белый, другой негр, оба с вислыми усами и с длинными шашками на боку.

Белый при ближайшем рассмотрении оказался Зильберовичем.

---

[1] Внимание!!! Частная собственность! Проход строго воспрещен! Нарушители будут наказаны! (*англ.*)

— Здорово! — сказал я ему. — Ты что это так вырядился?

— У вас есть какой-нибудь айдентификейшен? — спросил он, не проявляя никаких признаков узнавания.

— Вот тебе айдентификейшен, — сказал я и сунул ему под нос фигу.

Негр схватился за шашку, а Зильберович поморщился.

— Нужно предъявить айдентификейшен, — повторил он.

Тем временем негр открыл багажник моей машины и, ничего в нем не найдя, кроме запаски, тут же закрыл.

— Слушай, Лео, — сказал я Зильберовичу сердито, — я из-за тебя провел шестнадцать часов в дороге, отстань от меня со своими идиотскими шутками.

— Нужен айдентификейшен, — настойчиво повторил Лео и покосился на негра, который, приблизившись, смотрел на меня не очень-то доброжелательно.

— Ну ладно, — сказал я, сдаваясь. — Если ты настаиваешь на том, чтобы играть в эту странную игру, вот тебе документ. — Я дал ему мои водительские права в развернутом виде.

Он изучил их внимательно. Как на проходной сверхсекретного учреждения. Несколько раз сверил меня с карточкой и карточку со мной. И только после этого раскрыл мне свои объятия:

— Ну здравствуй, старина!

— Пошел к черту! — сказал я, вырвав свои права и отпихиваясь.

— Ну, ладно, ладно, будет тебе пыхтеть, — ска-

зал он, хлопая меня по спине. — Ты же сам знаешь, КГБ за Симычем охотится, а они, если захотят, загримировать могут кого хочешь под кого хочешь. Ну, пошли. Сейчас чего-нибудь с дорожки рубанем. Эй, Том! — обратился он к черному казаку по-английски. — Поставь его машину где-нибудь у конюшни.

В УСАДЬБЕ

Усадьба, на территории которой я очутился, напоминала что-то не то вроде Дома творчества писателей в Малеевке, не то правительственного санатория в Барвихе, куда я однажды совершенно случайно попал.

Длинное трехэтажное здание с полукруглым крыльцом и колоннами. Перед крыльцом довольно большая, прямоугольная, мощенная красным кирпичом площадь, и от нее во все стороны лучами расходятся асфальтированные аллеи, обсаженные по краям молодыми березами. Слева от дома пара аккуратных коттеджей с маленькими окнами, справа небольшая церквушка с тремя скромными луковками и какие-то еще постройки в отдалении напротив главной усадьбы. А там еще дальше поблескивает на заходящем солнце озеро.

На площади я увидел полосатый столб с фанеркой наверху и надписью: СССР.

— Что значит Си-Си-Си-Пи? — спросил я у Зильберовича.

— Что еще за Си-Си-Си-Пи? — не понял он.

— Ну вон на столбе что написано?

— Ах это? — засмеялся Зильберович. — Ну,

старик, ты даешь! Что значит эмигрантская привычка к латинским буквам. Но это, старик, не по-английски написано, а по-русски: Эс-Эс-Эс-Эр.

— Это что же, с советской границы утащено?

— Да нет, это Том сделал. Ну да ладно, ты потом все поймешь.

Какое-то существо женского пола в очень открытом сверху и снизу красном сарафане, стоя к нам спиной, поливало из шланга клумбу с хризантемами. Более безобразной фигуры я в жизни своей не видел. Она состояла в основном из огромного зада, а все остальное из него произрастало как бы случайно.

Бросив меня, Зильберович подкрался к этому заду и вцепился в него двумя руками.

— Ой, батюшки! — вскрикнула владелица зада и, обернувшись, оказалась молодой девахой с простонародным лицом, покрытым веснушками. — Это вы, барин, — сказала она, улыбаясь довольно глупо. — Вы все шутите и шутите, а потом Том спрашивает меня, откеля синяки.

— А ты приходи ко мне, я тебе их попудрю, — сострил Зильберович и, пошлепав ее дружелюбно, сказал мне: — Это наша Степанида, Стеша. Она жена Тома, который перед этим произведением, — он снова пошлепал произведение, — устоять не мог.

— Да вы ж, барин, все кобели, — сказала Стеша, по-прежнему улыбаясь, — и у женщины никакого другого места не замечаете.

Мы пошли дальше, и я заметил Лео, что его отношение к половому вопросу за прошедшее время, кажется, изменилось.

— Да нет, — смутился Лео. — Не изменилось.

Но здесь, знаешь, жизнь такая уединенная, скучная и иногда хочется как-то развеяться.

— А этот Том куда смотрит?

— А он никуда не смотрит, — ответил Лео беспечно. — Он человек широкий.

Когда мы приблизились к крыльцу, на нем появилось еще одно существо, которое тут же кинулось мне на грудь. Это была порядочных размеров овчарка. Я собирался проститься с жизнью, когда почувствовал, что она лижет мне нос.

— Плюшка! — закричал Зильберович, оттаскивая собаку. — Что ж ты за гад за такой, за поганец! Ну что ты за собака! Не зря Симыч прозвал тебя Плюралистом.

— Плюралистом? — переспросил я удивленно.

— Ну да, — сказал Зильберович. — Со всеми без разбору лижется. Настоящий плюралист. Но мы его, чтобы не обижать, зовем Плюшкой.

Следом за Плюшкой на крыльцо вышла русская красавица в красном шелковом сарафане, батистовом платочке, сафьяновых сапожках, с большой светло-русой косой, аккуратно уложенной вокруг головы.

— Батюшки, кого это бог послал! — сказала она, лучезарно улыбаясь мне сверху.

Это была Жанета.

Она легко сбежала с крыльца, и мы троекратно, как принято среди уважающих русские обычаи иностранцев, облобызались.

— Ты совсем не изменилась, — сказал я Жанете.

— Мне некогда меняться, — сказала она. — Мы здесь все работаем по шестнадцать часов в день. А вот ты поседел и растолстел.

— Да-да, — признался я печально. — Что есть, то есть.

— Ну пойдем, потрапезничаем, чем бог послал.

Мы поднялись на крыльцо и оказались в просторном вестибюле с колоннами. Прямо поднималась к кадушке с фикусом широкая лестница, покрытая ковром, справа была двустворчатая стеклянная дверь, занавешенная изнутри чем-то цветастым, над дверью висело распятие.

Жанета перекрестилась. Зильберович снял кубанку и тоже перекрестился. К моему удивлению, он оказался совершенно лысым.

— А ты что же лоб не крестишь? — покосилась на меня Жанета. — Воинствующий безбожник?

— Да нет, — сказал я. — Не воинствующий, а легкомысленный.

В трапезной я попал в объятия Клеопатры Казимировны, так же, как и я, за эти годы весьма располневшей. Она была в темно-зеленом платье, в фартуке чуть посветлее и в белой наколке.

Лео повесил шашку на крюк у дверей. Мы расположились в углу ничем не покрытого большого, персон на двенадцать, дубового стола. Стулья тоже были дубовые.

Клеопатра Казимировна тут же принесла из расположенной рядом кухни чугунок со щами, а Жанета расставила деревянные плошки и ложки.

— Что будешь пить, квас или компот? — спросила Жанета.

— А что, другого выбора нет? — спросил я настороженно. Зильберович наступил мне на ногу и подмигнул.

— Спиртного не держим, — сухо сказала Жанета.

— А, ну да, — сказал я, — вы, конечно, не держите. Зато я держу.

Я нагнулся за своим чемоданчиком типа «дипломат», в котором лежала купленная еще во франкфуртском аэропорту бутылка немецкой водки «Горбачев».

— В этом доме спиртное вообще не пьют, — остановила меня Жанета.

«О господи!» — подумал я с тоской, но ничего не сказал.

Зильберович толкнул меня коленом. Я его понял и попросил квасу, вкус которого уже слегка подзабыл.

Щи, к моему удивлению, оказались совершенно пресными, и я стал шарить глазами по столу.

— Тебе что-нибудь нужно? — спросила Жанета.

— Да, — сказал я. — Соли, если можно.

— Мы соль не употребляем, потому что у Сим Симыча диабет и бессолевая диета.

— А, да! — сказал я разочарованно. — Я не подумал. А у меня как раз солевая диета.

— Ну да, — добродушно засмеялась Жанета. — У тебя диета солевая и алкогольная.

— Вот именно, — подтвердил я. — И еще табачная.

— Кстати, — заметила Жанета, — у нас в помещениях не курят.

— Это ничего, — успокоил я ее. — Сейчас тепло, я и на улице могу покурить.

После щей дали перловую кашу с молоком, при котором отсутствие соли ощущалось меньше.

Клеопатра Казимировна подробно меня расспрашивала о жизни в Германии, о жене и детях, как мы живем, что делаем. Я объяснил: сын учится

в реальнуле, дочка в гимназии, я работаю, жена помогает мне и ездит за покупками.

— Она научилась водить машину? — спросила Клеопатра Казимировна.

Я сказал: нет, не научилась, ездит на велосипеде.

— На велосипеде? — переспросила Жанета. — Но это же неудобно. Платье может задраться или попасть в колесо.

Я заверил ее, что эта опасность моей жене не грозит, потому что она в джинсах ездит.

— В джинсах? — поразилась Жанета. — Ты разрешаешь ей ходить в джинсах?

— Она у меня разрешения не спрашивает, — сказал я. — Но я не вижу в джинсах ничего дурного.

— Неточка у нас стала такая строгая, — заметила Клеопатра Казимировна не то с гордостью, не то извиняясь.

— Да, строгая, — твердо сказала Жанета. — Женщина должна ходить в том, в чем ей предписано богом.

На это я заметил, что, по имеющимся у меня сведениям, бог сотворил женщину в голом виде, а что касается джинсов, то их сейчас носят все — и мужчины, и женщины, и гермафродиты.

Я еще хотел что-то сказать по этому поводу, но Зильберович так наступил мне на ногу, что я чуть не вскрикнул и, меняя тему, деликатно спросил, почему ж это не видно хозяина.

— А он уже поужинал, — сказал Лео.

— Но потом он выйдет, или мне лучше к нему зайти?

Жанета переглянулась с матерью, а Лео откровенно засмеялся.

— Сим Симыч, — сказала Жанета, — после ужина делами не занимается.

— Да, — сказал я со сдержанным недовольством, — но я же не по своему делу приехал.

— А он после ужина никакими делами не занимается, — повторила Жанета. — Ни своими, ни чужими.

— Да-да, старик, — подтвердил Зильберович. — Он сейчас тебя принять просто никак не может. Он сейчас словарь Даля заучивает, а потом будет Баха слушать, он перед сном всегда Баха слушает, он без Баха заснуть не может.

Я отодвинул кашу и встал. Я сказал:

— Вы меня, конечно, извините... В первую очередь вы, Клеопатра Казимировна, и ты, Жанета, но я такого обращения просто не понимаю. Я к вам в гости не набивался. У меня нет лишнего времени. Мне предстоит далекое и, может быть, даже очень опасное путешествие. Я к вам приехал только потому, что Лео очень настаивал. Я не спал ночь, я добирался до вас шестнадцать часов с пересадками...

— Ну, старик, старик, ну что ты раскипятился. — Зильберович схватил меня за руку и тянул вниз. — Ну добирался, ну устал. Так сейчас отдохнешь. Пока Нетка тебе постель приготовит, мы с тобой поболтаем... — Он опять подмигнул мне и скосил глаза на мой «дипломат». — Ляжешь, выспишься, а завтра разберемся.

Откуда-то сверху лилась тихая мелодия. Будучи большим знатоком музыки, я сразу узнал произведение Баха «Хорошо темперированный клавир».

НА БЕЛОМ КОНЕ

Проклятый Зильберович! Мало было ему привезенного мной «Горбачева», так он еще 0,75 бурбона потом притащил, говоря, что американцы считают бурбон лучшим в мире напитком. Но они-то этот лучший напиток сильно разбавляют содовой, а мы неразбавленный заедали соленым огурцом.

Конечно, разбавлять такой напиток глупо и даже кощунственно, но мешать его с водкой, пожалуй, тоже не стоило.

С трудом разлепив глаза, я огляделся.

Я лежал на деревянном топчане с жестким матрасом. В каком-то странном помещении — то ли тюремная камера, то ли монашеская келья. В одном углу божница, в другом таз и деревенский рукомойник (неужели тот самый, который я видел лет двадцать с лишним тому в подвале у Симыча?). Малюсенькое окошко под самым потолком, а сквозь него врываются в помещение всякие премерзкие звуки. Какая-то сволочь стучит в барабан и дудит на визгливой дудке. Ну что за наглость! Ну разве можно в такую рань...

Я поднес к глазам часы и обалдел. Без двадцати двенадцать, а я все еще дрыхну. И это в доме, где хозяин и все его помощники работают с утра до вечера.

Господи, ну зачем же я столько пил? Ну почему я не могу, как люди, как американец какой-нибудь, налить немножко в стакан, разбавить содовой и вести спокойный такой, уравновешенный разговор о Данте или налогах?

Впрочем, и у нас разговор был по-своему инте-

ресный. Лео сначала важничал и скрытничал, а потом, наклюкавшись, кое-что выболтал об их здешней жизни. Живут они очень замкнуто. Симыч ежедневно пишет по двадцать четыре страницы. Иногда он работает в кабинете, иногда гуляя по территории усадьбы. Гуляя, он пишет на ходу в блокноте. Исписав очередной лист, швыряет его не глядя на землю, а Клеопатра Казимировна и Жанета тут же эти листки подбирают и складывают. Забегая вперед, скажу, что я потом видел, как это происходит. Симыч гуляет с блокнотом, а жена и теща тихо ходят за ним. Когда он швыряет очередной листок, они подхватывают его, тут же читают, и Жанета немедленно оценивает написанное по однобалльной системе. «Гениально!» — говорит она шепотом, чтобы не помешать Симычу.

Когда-то точно так же она оценивала Ленина. Я помню, еще в университете взял у нее какую-то ленинскую брошюру (кажется, «Государство и революция»), так там слово «гениально» было написано на полях чуть ли не против каждой строчки.

Все-таки мешать «Горбачева» с бурбоном не стоит. Голова трещала ужасно, и у меня даже появились мысли, что с пьянством пора кончать. И я даже дал себе слово, что кончу. Только бы вот опохмелиться, а потом решительно завязать.

Барабан все стучал и дудка дудела, не давая сосредоточиться.

Я встал на табуретку и дотянулся до окна. Глянул наружу и не поверил своим глазам. На площади перед домом, как раз под полосатым столбом с табличкой «СССР», стоял советский солдат в полной форме с автоматом через плечо. Я в отчаянии

потряс головой. Что это такое? Советские войска вторглись в Канаду или мне уже черти мерещатся?

Скосив глаза, я увидел негра Тома с саксофоном и Степаниду с барабаном даже большим, чем ее задница. Как я и предположил, они не играли, а только настраивались.

Потом появились две русские красавицы в цветастых сарафанах и платочках. Одна из них держала на руках каравай хлеба, а другая тарелку с солонкой.

Потом... Я не понял точно, как это получилось. Сначала, кажется, раздался удар колокола, потом Том затрубил что-то бравурное, а Степанида ударила в барабан. И в то же самое время на аллее, идущей от дальних построек, появился чудный всадник в белых одеждах и на белом коне.

Пел саксофон, стучал барабан, пес у крыльца рвался с цепи и лаял. Конь стремился вперед, грыз удила и мотал головой, всадник его сдерживал и приближался медленно, но неумолимо, как рок.

Как я уже сказал, он был весь в белом. Белая накидка, белый камзол, белые штаны, белые сапоги, белая борода, а на боку длинный меч в белых ножнах.

Я открыл окно настежь и высунул голову, чтобы лучше видеть и слышать. Пристально вглядевшись, я узнал во всаднике Сим Симыча. Лицо его было одухотворенным и строгим.

Симыч приблизился к часовому. Саксофон и барабан смолкли. Симыч вдруг как-то перегнулся, сделал движение рукой, и над ним в солнечных лучах сверкнул длинный и узкий меч. Похоже было, что он собирается снести несчастному солдату голову.

Я зажмурился. Открыв глаза снова, я увидел, что солдат стоит с поднятыми руками, автомат его лежит на земле, но Симыч все еще держит меч над его головою.

— Отвечай, — услышал я звонкий голос, — зачем служил заглотной власти? Отвечай, против кого держал оружие?

— Прости, батюшка, — отвечал солдат голосом Зильберовича. — Не по своему желанию служил, а был приневолен к тому сатанинскими заглотчиками.

— Клянешься ли впредь служить только мне и стойчиво сражаться спроть заглотных коммунистов и прихлебных плюралистов?

— Так точно, батюшка, обещаю служить тебе супротив всех твоих врагов, беречь границы российские от всех ненавистников народа нашего.

— Целуй меч! — приказал батюшка.

Опустившись на колена, Зильберович приложил меч к губам, а Симыч пересек воображаемую линию границы, после чего две красные девицы (теперь у меня уже не было сомнений, что их изображали Жанета и Клеопатра Казимировна) подпесли ему хлеб да соль.

Симыч принял хлеб-соль, протянул девицам руку для поцелуя и, пришпорив копя, быстро удалился по одной из боковых аллей.

На этом церемония, видимо, закончилась. Все участники разошлись.

Пока я натягивал штаны, Зильберович, как был, в форме и с автоматом, загляпул ко мне в келью.

— Все спишь, старик! — сказал он с упреком. — И даже репетиции нашей не видел.

— Видел, — сказал я. — Все видел. Только не понял, что все это значит.

— Чего ж тут не понимать? — сказал Зильберович. — Тут и понимать нечего. Симыч тренируется.

— Неужто надеется вернуться на белом коне? — спросил я насмешливо.

— Надеется, старик. Конечно, надеется.

— Но это же смешно даже думать.

— Видишь ли, старик, — выбирая слова, сказал Зильберович. — Когда-то ты встретил Симыча в подвале, нищего и голодного, с сундуком, набитым никому не нужными глыбами. Тогда тебе его планы тоже казались смешными. А теперь ты видишь, что прав был он, а не ты. Так почему бы тебе не предположить, что он и сейчас видит дальше тебя? Гении всегда видят то, что нам, простым смертным, видеть не дано. Нам остается только доверяться им или не доверяться.

Признаюсь, его слова меня почти не задели. Его прежнее высокое мнение обо мне давно уже развеялось в прах. Он Симыча ставил под облака, а меня на один уровень с собой или даже ниже. Потому что он все же состоял при гении, а я болтался сам по себе. Но я, понимая, что Лео человек пустой, не обиделся. Я глянул на часы и спросил Зильберовича, как он думает, получу я место на шестичасовой рейс прямо в аэропорту или стоит забронировать его заранее по телефону.

Зильберович посмотрел на меня не то удивленно, не то смущенно (я точно не понял) и сказал, что улететь сегодня мне никак не удастся.

— Почему? — спросил я.

— Потому что Симыч с тобой еще не говорил.

— Ну так у нас еще есть достаточно времени.

— Это у тебя есть достаточно времени, — заметил Зильберович. — А у него нет. Он хотел тебя принять во время завтрака, но ты спал. А у него все время расписано по минутам. В семь он встает. Полчаса — бег трусцой вокруг озера, десять минут — душ, пятнадцать минут — молитва, двадцать минут — завтрак. В восемь пятнадцать он садится за стол, без четверти двенадцать седлает Глагола...

Глаголом Симыч назвал коня, которого я знал еще слабым, только что отлученным от матери жеребенком. Именно за этим жеребенком мы и ездили с Руди в Камарг. А потом я его вез на теплоходе в Канаду. Он был еще маленький и хилый. По дороге его укачивало так, что он не мог стоять на ногах. Его тошнило, и он ничего не ел, кроме кусочков сахара, которыми я кормил его с руки. Я много часов провел в специально для него устроенном стойле. Я сидел там на низкой скамейке, клал его голову к себе на колени и одной рукой почесывал шерстку между ушами, а другой протягивал ему кубик рафинада. Который он сперва обнюхивал, а потом осторожно брал мягкими своими губами. Он был маленький и слабый, а теперь вон вымахал в какого красавца.

— Значит, без четверти двенадцать он седлает Глагола и?..

— ...И в двенадцать репетирует въезд в Россию. Потом опять работа до двух. С двух до половины третьего он обедает...

— Очень хорошо, — сказал я. — Пусть меня во время обеда и примет.

— Не может, — вздохнул Зильберович. — Во время обеда он просматривает читалку.

— Чего просматривает?

— Ну, газету, — сказал раздраженно Лео. — Ты же знаешь, что он борется против иностранных слов.

— Но после обеда у него, я надеюсь, есть свободное время?

— После обеда он сорок минут занимается со Степанидой русским языком, потом полчаса спит, потому что ему нужно восстанавливать силы.

— Ну после сна.

— После сна у него опять маленькая зарядка, душ, чай и работа до семи. Потом ужин.

— Опять с газетами?

— Нет, с гляделкой.

— Понятно, — сказал я. — Значит, телевизор смотрит. Развлекается. А я его ждать буду?

— Да что ты! — замахал руками Зильберович. — Какие там развлечения! Он смотрит только новости и только полчаса. А потом опять работает до десяти тридцати.

— Ну хорошо, пусть примет меня после десяти тридцати. Тогда я по крайней мере уеду завтра утром.

— От десяти тридцати до одиннадцати тридцати он читает словарь Даля, потом у него остается полчаса на Баха, и пора спать. Да ты, старик, не волнуйся. Завтра он тебя наверняка примет. Только ты уж к завтраку не проспи.

— Все-таки вы нахалы! — сказал я в сердцах.

— Кто это мы?

— Ну я не буду говорить об остальных, но ты нахал, а твой Симыч нахал трижды. Мало того, что заставил меня через полмира переть, так еще тут выдрючивается. У него расписание, у него времени

нет. Мне мое время, в конце концов, тоже для чего-то нужно.

— Вот именно, — оживился Зильберович. — Твое время нужно тебе, а его время нужно всем, всему человечеству.

Тут я совершенно взбесился. Я, между прочим, эти ссылки на народ и человечество просто не выношу. И я сказал Зильберовичу, что если Симыч нужен человечеству, то пусть он к человечеству прямо и обращается. А я немедленно еду на аэродром. И, кстати, надеюсь, что все мои транспортные издержки будут возмещены.

— Об этом, старик, можешь совершенно не беспокоиться, он все знает и все оплатит. Но ты дурака не валяй. Если ты уедешь, он так рассердится, ты даже не представляешь.

В конце концов он меня уговорил, я остался.

После обеда Зильберович предложил мне сходить по грибы. Я согласился, но спросил, нельзя ли по дороге проведать Глагола. Мне было интересно, узнает он меня или нет.

Зильберович согласился, но сказал, что конюшня, где находится в настоящее время жеребец, вызывает в нем неприятные ассоциации. Какие именно ассоциации, я сначала не понял.

Конюшня была просторная, длинная, построенная на несколько лошадей, но только одно из стойл — самое крайнее — было занято Глаголом, который меня тут же узнал. Он обрадовался мне, как ребенок, громко заржал, застучал копытом и потянул ко мне морду через невысокую деревянную загородку. Я был тоже ему очень рад, погладил его по холке, почесал между ушами и, конечно, угостил сахаром. Он грыз сахар, терся мордой о

мою щеку и потом явно не хотел со мной расставаться.

С грибами нам не повезло. Я нашел один подосиновик и две сыроежки, а Лео вообще вернулся пустым.

Потом мы с ним мылись в бане. В настоящей русской бане с парилкой и деревянными шайками. Войдя в предбанник, я увидел в углу на лавке дюжину свежих березовых веников, выбрал какой получше и спросил Зильберовича, взять и ему или нам хватит одного на двоих.

— Мне не нужно, — странно ухмыльнулся Лео, — меня уже попарили.

Я не понял, что это значит, но, когда Лео разделся, я увидел, что вся его сутулая спина вкривь и вкось исполосована малиновыми рубцами.

— Что это? — спросил я изумленно.

— Том, собака, — сказал Лео беззлобно. — Если уж за что берется, так силы не жалеет.

— Не понимаю, — сказал я. — Вы дрались, что ли?

— Нет, — печально улыбнулся Лео. — Не мы дрались, а он драл меня розгами.

— Как это? — удивился я. — Как это он мог драть тебя розгами? И как это ты позволил?

— Но не сам же он драл. Это Симыч назначил мне пятьдесят ударов.

Я как раз снял с себя левый ботинок да так с этим ботинком в руке и застыл.

— Да, — с вызовом сказал Зильберович, — Симыч ввел у нас телесные наказания. Ну, конечно, я сам виноват. Он послал меня на почту отправить издателю рукопись. А я по дороге заехал в ресторанчик, там приложился и рукопись забыл. А ко-

гда уже возле самой почты вспомнил, вернулся, ее уже не было.

— А что ж, она была только в единственном экземпляре? — спросил я.

— Ха! — сказал Зильберович. — Если б в единственном, он бы меня вообще убил.

Ошарашенный таким сообщением, я молчал. А потом вдруг трахнул ботинком по лавке.

— Лео! — сказал я. — Я не могу в эту дикость поверить. Я не могу представить, чтобы в наши дни в свободной стране такого большого, тонкого, думающего человека, интеллектуала, секли на конюшне, как крепостного. Ведь за этим не только физическая боль, но и оскорбление человеческого достоинства. Неужели ты даже не протестовал?

— Еще как протестовал! — сказал Лео, волнуясь. — Я стоял перед ним на коленях. Я его умолял: «Симыч, — говорю, — это же первый и последний раз. Я тебе клянусь своей честью, это никогда не повторится».

— И что же он? — спросил я. — Неужели не пожалел? Неужели его сердце не дрогнуло?

— Как же, у него дрогнет, — сказал Зильберович и смахнул выкатившуюся из левого глаза слезу.

Я так разволновался, что вскочил и стал бегать по предбаннику с ботинком в руке.

— Лео! — сказал я. — Так больше быть не должно. С этим надо покончить немедленно. Ты не должен никому позволять обращаться с собой как с бессловесной скотиной. Вот что, друг мой, давай одевайся, пойдем. — Я сел на лавку и стал обратно натягивать свой ботинок.

— Куда пойдем? — не понял Лео.

— Не пойдем, а поедем, — сказал я. — В аэро-

порт поедем. А оттуда махнем в Мюнхен. Насчет денег не волнуйся, их у меня до хрена. Привезу тебя в Мюнхен, устрою на радио «Свобода», будешь там нести какую-нибудь антисоветчину, зато пороть тебя никто уже не посмеет.

Лео посмотрел на меня и улыбнулся печально.

— Нет, старик, какая уж там «Свобода»! Мой долг оставаться здесь. Видишь ли, Симыч, конечно, человек своенравный, но ты же знаешь, гении все склонны к чудачествам, а мы должны их терпеливо сносить. Я знаю, знаю, — заторопился он, как бы предупреждая мое возражение. — Тебе не нравится, когда я говорю «мы» и тем самым ставлю тебя на одну доску с собой. Но я не ставлю. Я понимаю, какой-то талант у тебя есть. Но ты тоже должен понять, что между талантом и гением пропасть. Не зря же на него молится вся Россия.

— Россия на него молится? — сказал я. — Ха-ха-ха. Да его уже там давно все забыли.

Лео посмотрел на меня внимательно и покачал головой.

— Нет, старик, ошибаешься. Его не только не забыли, но, наоборот, его влияние на умы растет с каждым днем. Его книги не просто читают. Есть тайные кружки, где их изучают. У него есть сторонники не только среди интеллигенции, а среди рабочих, и в партии, и в КГБ, и в Генеральном штабе. Да если хочешь знать, — Лео оглянулся на дверь и прильнул к моему уху, — к нему на прошлой неделе приезжал...

И уже совсем понизив голос до шелеста, Лео назвал мне фамилию недавно побывавшего в Америке члена Политбюро.

— Ну это уж ты врешь! — сказал я.

— Падло буду, не вру, — сказал Лео и по-блатному ковырнул ногтем зуб.

На следующее утро я встал пораньше. Выходя из дому, я увидел две здоровые машины с вашингтонскими номерами. Одна легковая, другая автобус с надписью «AMERICAN TELEVISION NEWS». Какие-то люди раскручивали кабель и втаскивали оборудование в дом. Только один стоял, ничего не делая, курил сигару.

— Джон? — удивился я. — Это вы? Что вы здесь делаете? Разве вы и для телевидения работаете?

— О да, — сказал Джон. — Я для всех работаю. А вы что здесь делаете? Я думал, вы уже очень далеко отсюда. Если вы решил передумывать, вам придется платить очень многочисленная неустойка.

— Не беспокойтесь, — сказал я. — У меня еще до отлета неделя.

— Я не беспокоиваюсь, — улыбнулся Джон. — Я знаю, что вы покупили билет. Я приехал сюда не для вас, а для небольшой интервью у господин Карнавалов.

С этими словами он ушел в дом руководить установкой оборудования, а я решил прогуляться вдоль озера.

Здесь мне попался бежавший трусцой Симыч, он со мной поздоровался на ходу так, как будто мы каждый день встречаемся с ним на этой дорожке.

Когда я пришел на завтрак, там уже под руководством Джона суетилась вся команда операторов, осветителей и звукотехников.

В столовой за столом собрались все домочадцы: Клеопатра Казимировна, Жанета, Зильберович, Том и Степанида. Все они были чем-то взволнованы, а при моем появлении даже выразили некото-

рое смущение, которое, впрочем, тут же прояснилось.

Дело в том, что, как очень вежливо мне сказала Жанета, сейчас Сим Симыча будут снимать в характерной домашней обстановке за завтраком, среди самых близких, а поскольку я к самым близким не отношусь, то не буду ли я столь любезен и не откажусь ли позавтракать у себя в комнате.

Я обиделся и хотел тут же уйти. В конце концов, из-за чего я здесь сижу? Жду, чтобы мне оплатили мою поездку? Я теперь сам достаточно обеспечен, чтобы от такой ничтожной суммы никак не зависеть.

Я уже двинулся к выходу, но тут дверь растворилась и сначала на тележке ввезли Джона, который, выпятив обтянутый джинсами зад, приник к камере, а вслед за Джоном появился и сам Сим Симыч в тренировочном костюме. Он шел быстро, как бы не замечая никаких камер и вынашивая на ходу свои великие мысли.

Впрочем, приблизившись к столу, он тут же преобразился и повел себя как настоящий денди, поцеловал жену, затем поцеловал руку Клеопатре Казимировне, пожал руку Степаниде, Тома похлопал по плечу, Зильберовичу кивнул, а мне сказал:

— Мы уже виделись.

Затем он сел во главе стола, предложил помолиться господу и закричал тонким голосом: «Господи, иже еси на небеси...»

— Это о'кей, — перебил Джон, — это достаточно, мы все равно будем перевести по английский. Теперь вы немножко кушаете и разговариваете. И если можно, делайте немного улыбка.

— Никаких улыбок, — сердито сказал Си-

мыч. — Мир гибнет. Запад отдает заглотчикам страну за страной, железные челюсти коммунизма уже подступили к самому нашему горлу и скоро вырвут кадык, а вы все лыбитесь. Вы живете слишком благополучно, вы разнежились, вы не понимаете, что за свободу нужно бороться, что нужно жертвовать собой.

— Каким образом мы должны бороться? — вежливо спросил Джон.

— Прежде всего вы должны отказаться от всего лишнего. Каждый должен иметь только то, что ему крайне необходимо. Вот посмотрите на меня. Я всемирно известный писатель, но я живу скромно. У меня есть только один дом, два коттеджа, баня, конюшня и миленькая церквушка.

— Скажите, а это озеро ваше?

— Да, у меня есть одно маленькое скромное озеро.

— Мистер Карнавалов, как вы считаете, кто сейчас самый лучший в мире писатель?

— А вы не знаете?

— Я догадываюсь, но я хотел бы сделать этот вопрос вам.

— Видите ли, — сказал, подумав, Симыч, — если я скажу, что лучший в мире писатель я, это будет нескромно. А если скажу, что не я, это будет неправда.

— Мистер Карнавалов, всем известно, что у вас есть миллионы читателей. Но есть люди, которые не читают ваших книг...

— Дело не в том, что не читают, — нахмурился Симыч, — а в том, что не дочитывают. А иные, не дочитав, облыгают.

— Но есть люди, которые дочитывают, но не разделяют ваши идеи.

— Чепуха! — нервно воскликнул Симыч и стукнул по столу вилкой. — Чепуха и безмыслие. Что значит — разделяют идеи или не разделяют? Для того чтобы разделять мои идеи, нужно иметь мозг немножко больше куриного. У заглотчиков мозг заплеван идеологией, а у плюралистов никакого мозга и вовсе нету. И те и другие не понимают, что я говорю истину и только истину и что вижу на много десятилетий вперед. Вот возьмите, например, его. — Симыч ткнул в меня пальцем. — Он тоже считается вроде как бы писатель. Но он ничего дальше сегодняшнего дня не видит. И он вместо того, чтобы сидеть и работать, едет куда-то туда, в так называемое будущее. Хочет узнать, что там произойдет через шестьдесят лет. А мне никуда ездить не надо. Я и так знаю, что там будет.

— Очень интересно! — закричал Джон. — Очень интересно. И что же именно там будет?

Симыч помрачнел, отодвинул миску и стал стряхивать с бороды крошки.

— Если мир не вникнет в то, что я говорю, — сказал он, глядя прямо в камеру, — ничего хорошего там не будет. Ни там и нигде. Заглотчики пожрут весь мир и самих себя. Все будет захвачено китайцами.

— А если мир вас все же послушает?

— О, тогда, — оживился и вопреки своим принципам заулыбался Симыч, — тогда все будет хорошо. Тогда начнется всеобщее выздоровление, и начнется прежде всего в России.

— Какой вы видите Россию будущего? Надее-

тесь ли вы, что там восторжествует демократическая форма правления?

— Ни в коем случае! — горячо запротестовал Симыч. — Ваша хваленая демократия нам, русским, не личит. Это положение, когда каждый дурак может высказывать свое мнение и указывать властям, что они должны или не должны делать, нам не подходит. Нам нужен один правитель, который пользуется безусловным авторитетом и точно знает, куда идти и зачем.

— А вы думаете, такие правители бывают?

— Может быть, и не бывают, но могут быть, — сказал Симыч многозначительно и переглянулся с Жанетой.

— Я ужасно извиняю, — сказал Джон, подумав. — Вы имеете в виду кого-то конкретно или это только теория?

— Ах, черт! — вдруг возбудился Симыч. Он хлопнул себя по колену, встал и нервно заходил по комнате. — Вот видите, если я вам скажу то, что я думаю, то тут же поднимется ужасный вой, плюралисты всего мира на меня накинутся, как собаки. Скажут: Карнавалов хочет стать царем. А я быть царем не хочу. Я художник. Я думаю художественно. Я мыслю образами. Я беру образ, обмысливаю его и кладу на бумагу. Понятно?

— О да, — сказал неуверенно Джон. — В общем, понятно.

— Ну так вот. Я царем быть не хочу. Я еще не все свои художественные задачи выполнил. Но иногда исторические обстоятельства складываются так, что человек вынужден взять на себя миссию, которую ему господь предназначает. Если другого

такого человека не находится в мире, то он должен это взять на себя.

— Если бы вам выпала такая миссия, вы бы не отказались?

— Я бы отказался, если бы был хотя бы один человек, которому можно было б доверить. Но никого вокруг нет. Вокруг все одна мелочь. И только поэтому, если господь восхочет написать страницу истории этой рукой, — Симыч поднял вверх руку с вилкой, — тогда что ж...

Симыч, не договорив, погрустнел — видимо, усомнился, что господь изберет именно эту руку.

— Ну да ладно, — произнес он со смирением, тут же, впрочем, переходя на повелительный тон. — Как уж будет, так будет, а пока завтрак окончен, пора работать.

Джон спросил Симыча, можно ли будет снять его за работой, Симыч сказал, что, конечно, он будет работать, а они его могут снимать, он привык работать в трудных условиях, и телевидение его не отвлекает.

— Симыч! — кинулся я к нему. — Но пока то да се, может, мы все же поговорим?

— Не могу, — сказал Симыч. — Я и так потерял уже слишком много времени.

На другой день меня вообще не допустили к завтраку, потому что к Симычу приехал конгрессмен Питер Блох и они провели за завтраком короткие переговоры о ядерном разоружении.

Я не выдержал, вспылил и заявил Зильберовичу, что в любом случае уезжаю.

— Ну подожди, подожди, — попросил Зильберович. — Я постараюсь все уладить.

СЕКС-БОЧКА

Через пять минут он вернулся с опечаленным лицом. Нет, сегодня Симыч принять меня не может никак. У него отняли столько времени, что он написал всего лишь четыре страницы. Возможно, ему придется отказаться даже от дневного отдыха и урока со Степанидой. Единственное удовольствие, которое он себе оставляет, это Бах, да и то потому только, что без Баха он не может заснуть. А если он не заснет, то и следующий день испорчен.

Выслушав эту информацию, я ничего не ответил и пошел к себе в келью собирать вещи.

«Сволочи и мерзавцы! — восклицал я мысленно, швыряя в чемодан грязные носки и мятые рубашки. — Ему его время дорого, а мое не дорого. Они думают, что я здесь буду сидеть в ожидании, пока они мне оплатят билет. Дудки! Не нужен мне ваш билет. Сам заплачу, не бедный. Но здесь не останусь больше ни одной секунды. Дураков нет! Хватит!»

Я уже хотел закрыть чемодан, но обнаружил, что в нем не хватает моих домашних шлепанцев. Куда же они запропастились?

Я стал шарить глазами по углам, когда дверь открылась и на пороге с веником и совком в руках появилась Степанида.

— Ой, барин! — воскликнула она. — Вы здеся!

— Чего тебе нужно? — спросил я.

— Да чего ж, прибраться немного хотела. Я-то думала, вы тама, а вы, гляди, здеся. Так я тогда, может быть, опосля?

На лице ее блуждала свойственная ей идиотическая улыбка.

— Погоди, — сказал я, — ты моих тапок случайно не видела?

— Тапок? — переспросила она и стала думать, как будто я задал ей доказывать теорему Пифагора. — А, как же! — сообразила она наконец. — Это ваши эти слиперы[1]. Такие рыжие, без каблуков. Как же, как же, видала. Я их туды под кровать сунула, чтоб не воняли. Джаст э момент[2].

Она стала на коленки и полезла под кровать, нацелившись на меня своим неописуемым задом. Короткая юбка ее задралась, обнажив полупрозрачные трусики с тонкими кружевами.

О боже! Я всегда был неравнодушен к этой части женской конструкции, но такого соблазна никогда в жизни еще не испытывал. Эти два наполненных загадочной энергией полушария притягивали меня, как магнит.

Борясь с соблазном, я попытался отвести глаза и раздраженно спросил, что она там так долго возится.

— Сейчас, барин! — донесся ее певучий голос из-под кровати. — Минуточку, только глаза к темноте привыкнут.

— Да какая там темнота! — сказал я и, нагнувшись, хотел сам заглянуть под кровать, но потерял равновесие и вцепился руками в обе ее половинки, которые тут же затрепетали.

— Ой, барин! — донесся ее испуганный голос. — Да что это вы такое делаете?

— Ничего, ничего, — исступленно бормотал я,

---

[1] Slippers — домашние тапочки *(англ.)*.

[2] Just a moment — минуточку *(англ.)*.

ощущая, как нежные кружева сползают с нее, словно пена. — Ты так и стой. Ты привыкай к темноте. Сейчас будет хорошо! Сейчас ты все увидишь! По-моему, ты уже что-то видишь! — задыхаясь, шептал я, чувствуя, как под моим сумасшедшим напором она слабеет и плавится, как масло.

Должен сказать, что я человек твердых нравственных принципов. И все мои знакомые знают меня как образцового семьянина. Но в тот момент я просто сошел с ума и совладать с собою не мог.

Потом мы кувыркались на широченной кровати, перина лопнула, пух летал по всей комнате и прилипал к потному телу. Я потерял над собою всякий контроль, стонал, выл, скрежетал зубами. И она тоже лепетала мне всякие нежности, называя меня и миленьким, и золотеньким, и разбойником, и охальником, и тешила мою гордость утверждениями, что такого мужчины она в жизни своей не встречала.

Мы отлипли друг от друга только к обеду, на который я, помятый и обессилевший, еле приволок ноги. У меня был такой вид, что Жанета даже спросила, не заболел ли, а ее проницательный братец не сказал ничего, но по его ухмыляющейся роже я видел, что он обо всем догадался.

Мне было неприятно, что он догадался, и я хотел уехать после обеда, но, во-первых, не было сил, а во-вторых, она обещала прийти ко мне ночью. И пришла, как только ее Том заснул, накачавшись бурбоном.

Это была настоящая секс-бомба. Или, учитывая особенности ее сложения, секс-бочка. Бочка, начиненная сексом, как динамитом, без малейшего признака какого бы то ни было интеллекта. Но она

потрясла меня так, что я потерял рассудок и готов был, забыв и семью, и все свои планы, остаться здесь и, впившись пауком в Степаниду, умереть от истощения сил.

Я даже обрадовался, узнав, что во время следующего завтрака Симыч опять поговорить со мною не сможет, потому что из издательства пришла верстка, а другого времени для чтения ее, кроме завтрака, у него нет.

Но перед обедом, когда я только-только отпустил Степаниду, прибежал взволнованный Зильберович и сказал, что Симыч требует меня к себе немедленно.

ХОРОШО

Симыч так увлеченно работал, что не слышал, как я вошел. Склонившись над столом, он что-то писал и, между прочим, вовсе не конторской ручкой, а шариковой фирмы «Паркер». Конторская же, та самая, с обкусанным концом, которая когда-то произвела на меня впечатление, вместе с другими ручками и карандашами торчала из алюминиевой кружки с выцарапанными на ней инициалами «С. К.».

Симыч держал «паркер», зажав в кулаке, как резец, и писал, налегая на ручку плечом и раздирая бумагу. Я не видел, что именно он сочинял, но, начертав какой-то кусок или фразу, он, замахнувшись ручкой, замирал, шевелил губами, перечитывая. Дочитав до конца, встряхивал головой, восклицал:

— Хорошо!

И резким ударом, словно заколачивал гвоздь, ставил точку.

Потом еще фраза и опять:

— Хорошо!

И опять точка.

Я смотрел на него с завистью. Видно было, что работает уверенный в себе мастер. Мне было неловко его прерывать, но и стоять за его спиной тоже было как-то глупо. Я покашлял раз, потом другой. Наконец он меня услышал, вздрогнул, повернулся:

— А, это ты! — И сказал нетерпеливо: — Что тебе нужно?

Я сказал, что мне ничего не нужно, я пришел проститься и выслушать его пожелания.

— Хорошо, — сказал он и взглянул на часы. — У меня для тебя есть семь с половиной минут.

— Симыч! — закричал я вне себя от негодования. — Ты меня извини, но это просто нахальство. Я тут из-за тебя сутками околачиваюсь, а у тебя для меня только семь с половиной минут.

— Было семь с половиной, а теперь, — он опять взглянул на часы, — только семь. Но этого достаточно. И напрасно кипятишься. Для тебя наша встреча тоже будет полезной. Возьмешь с собой «Большую зону».

— «Большую зону»? — удивился я. — С собой в Мюнхен?

— Да не в Мюнхен, а в Москву две тысячи... какого года? Сорок второго? Вот туда и возьмешь.

— Как? Все шестьдесят глыб?

— Шестьдесят, — помрачнел Симыч, — я еще не написал. Меня слишком часто отрывают. Я написал только тридцать шесть.

— И ты хочешь, чтобы я туда, в будущее, тащил тридцать шесть глыб. Зачем? Неужели ты не веришь, что они к тому времени будут уже напечатаны?

— Конечно, будут, — подтвердил Симыч. — Но я боюсь, что они там что-нибудь исказят или поправят. А я хочу, чтобы все было точно.

— Это я понимаю, — сказал я. — Но тридцать шесть глыб я просто не дотащу. У меня грыжа, и я больше пяти никак не осилю.

— Ясное дело, — усмехнулся Симыч самодовольно. — То, что мне под силу, другим невпотяг. Но вот это ты, надеюсь, все же осилишь.

Он открыл пластмассовую коробочку и вынул из нее тонкую, размером с ладонь, черную пластинку. Это был обыкновенный флоппи-диск от домашнего компьютера, но, видимо, с очень большими возможностями.

— Вот, — сказал, усмехаясь, Симыч. — Все тридцать шесть глыб. Не надорвешься.

— И что я с этим буду там делать?

— Это я не знаю, — вздохнул Симыч. — Это зависит от того, что там. Если все это опубликовано, вычитаешь и сверишь ошибки...

«Хрен тебе! — решил я про себя. — Вычитывать тридцать шесть глыб для меня (я читаю медленно) — это год работы, а я еду не больше чем на месяц...»

— Если ошибок нет, сдай диск в музей Карнавалова...

— А если музея нет? — спросил я с осторожным ехидством.

— А если нет, — рассердился он то ли на меня, то ли на неблагодарных потомков, — значит, там

все еще правят заглотчики. Тогда ты... — Тут он прямо весь задрожал, заходил по комнате... — Тогда вот что. Найди какой-нибудь будущий компьютер, вставь в него эту штуку, напечатай как можно больше экземпляров и распространяй, распространяй это, и чем шире, тем лучше. Прямо раздавай всем направо и налево. Пусть люди читают, пусть знают, что собой представляют прожорные их правители.

— Симыч, — сказал я тихо. — Ну, а как же я буду распространять-то? Ведь ежели там все еще правят заглотчики, так они ж меня арестуют, а может, даже и расстреляют...

Это я высказал крайне неосторожно. Я еще не закончил фразы, а он уже побагровел, сжал кулаки и затрясся.

— Молодой человек! — загремел он так, что даже стекла задребезжали. — Стыдно, молодой человек! Россия гибнет! Прожорные заглотчики уже хрустят костями половины мира, нужны жертвы, а вы все беспокоитесь о себе.

Впрочем, видя мое смущение, он быстро сменил гнев на милость.

— Ну ладно, — сказал он, — ладно. Слабость духа — это порок, который свойствен многим людям. А у тебя это потому, что в бога не веруешь. Если б ты верил в бога, то ты бы знал, что страдания укрепляют наш дух и очищают от скверны. И ты бы знал, что земная наша жизнь только временная прогулка, зато там отдохновение от всего и вечное блаженство. Подумай об этом. А сейчас езжай... Да, совсем забыл. Вот тебе записка. Возьми ее с собой тоже и там передашь кому нужно из рук в руки. Но не вздумай открывать и читать.

С этими словами он вручил мне плотный конверт с сургучной печатью. На конверте крупными буквами было написано:

БУДУЩИМ ПРАВИТЕЛЯМ РОССИИ

— Лео! — закричал он.

Тут же дверь отворилась, явился Лео, одетый попросту, в джинсах и в майке, которую американцы называют «ти-шерт». На майке был изображен Симыч.

— Лео, — сказал Сим Симыч, кивнув на меня, — он уезжает. Проводишь его до монреальского большака.

— Симыч, — сказал Лео довольно развязным тоном, — а может, он пообедает с нами и потом поедет?

— Это не нужно, — решительно возразил Симыч. — Пообедает в леталке. Незачем время попусту тратить.

Утром следующего дня я вернулся в Мюнхен и письмо будущим правителям опустил в мусорный ящик. Но флоппи-диск оставил, сам не знаю зачем.

ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ

Не знаю, как у других, а у нас, у русских, принято прощаться долго и всерьез. Уходит ли человек на войну, отправляется ли в кругосветное путешествие, едет ли в соседний город в нескольководневную командировку или, наоборот, в деревню к родственникам, его провожают долго и обстоятельно.

Поэт сказал: «...и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг».

Именно так мы и делаем. Созываем гостей, пьем, произносим тосты за отъезжающих, за остающихся. Перед выходом из дома принято на минутку присесть и помолчать. А потом на вокзале, на пристани или в аэропорту мы долго целуемся, плачем, произносим глупые напутствия и машем руками.

У нас в доме было принято, что, когда кто-нибудь уезжал, мать не подметала полы до тех пор, пока от уехавшего не приходила телеграмма о благополучном прибытии на место.

Может, кто-то считает это дикостью, но мне весь этот ритуал, замешанный на вековых традициях и привычках, нравится и кажется исполненным высокого смысла. Потому что мы никогда не знаем, какое из наших прощаний окажется последним.

«...И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг...»

Короче говоря, проводы мы устроили честь по чести. С блинами, икрой, шампанским и водкой. Народу всякого русского и нерусского скопилось столько, что сидели чуть ли не по двое на одном стуле. Понятно, мы нашим гостям ничего ни о сроках, ни о направлении моего путешествия не говорили, но вели себя при этом так глупо, загадочно и многозначительно, что пришедшие невольно стали строить догадки, что я то ли собираюсь пересечь на воздушном шаре Атлантический океан, то ли провести какое-то время среди африканских повстанцев.

Все эти домыслы я не отрицал и не опровергал, что вызвало еще более нелепые предположения,

включая даже и такое, что я хочу просто запереться дома и, сказавшись отсутствующим, писать новый роман.

Среди гостей был и Руди, который (я должен это отметить особо) вел себя самым деликатнейшим образом, не выдав ни словом, ни намеком своей осведомленности.

Надо сказать, что проводы прошли хорошо, хотя несколько затянулись. Последнего гостя мы вытолкали без четверти три ночи, а в четверть седьмого утра жена уже подняла меня на ноги.

Можете себе представить мое состояние, когда я, нисколько еще не протрезвевший, страдая от головной боли, изжоги и отрыжки, волок к машине чемодан, набитый подарками моим предполагаемым друзьям-потомкам.

Жена забегала вперед, проклиная меня, что я иду слишком медленно, и мне показалось несколько странным, что это она так торопится меня спровадить. Хорошо ей было говорить, если у нее в руках был только маленький чемоданчик типа «дипломат», в который я наспех покидал то, что нужно в самое первое время: майки, трусы, носки и всякие вещи, которыми бреются, причесываются, стригут ногти и чистят зубы.

Собственно говоря, времени у нас было достаточно, но, когда мы дотащились до машины, выяснилось, что накануне я забыл выключить фары и аккумулятор сдох. Вызвали такси, но у самого аэропорта влипли в пробку: полиция перекрыла дорогу из-за двух столкнувшихся автобусов.

Короче, в аэропорт мы попали, когда посадка уже кончалась.

Меня так мутило, что, поднимая чемодан на ве-

сы, я чуть не упал. А когда работница «Люфтганзы» спросила меня, какое мне выписать место, раухен одер нихт раухен[1], я сказал «раухен» и при этом так дыхнул на нее, что она, по-моему, на какое-то время впала в коматозное состояние. Полицейскому, который меня общупывал, тоже, как мне показалось, стало немного не по себе, потому что он, исполняя свой служебный долг, очень усердно от меня отворачивался.

ЛИЦО В ИЛЛЮМИНАТОРЕ

Летательный наш аппарат снаружи я разглядеть не успел. Не только потому, что не было времени, но и потому, что пассажиры входили в него через выдвижной коридор, какие бывают сейчас во всех современных аэропортах.

Внутри же это был самолет как самолет: кресла, ремни, иллюминаторы и стюардессы.

Пассажиров было немного. Человек десять-двенадцать или пять-шесть (у меня в глазах все двоилось).

Я занял место у окна, перешагнув через колени прыщавого молодого человека. Лицо его, несмотря на то, что он был в больших темных очках, мне показалось знакомым, но я не придал этому никакого значения. Когда я бываю надравшись, по крайней мере половина встречаемых мною людей кажутся мне знакомыми.

Пристроив «дипломат» в ногах, я стал смотреть

---

[1] Rauchen oder nicht rauchen — для курящих или некурящих (*нем.*).

в окно. Там шли обычные предполетные приготовления. Люди в синих комбинезонах что-то там осматривали и заправляли, а один с переносной рацией и в наушниках с кем-то говорил в микрофон.

Кажется, я задремал.

Когда я первый раз очнулся, наш фантастический драндулет уже плыл, покачиваясь, по рулежной дорожке.

Остановился, двинулся, снова остановился.

Я глянул в иллюминатор и определил, что мы находимся в центре довольно длинной очереди самолетов, ожидающих разрешения занять свое место на взлетной полосе. Передняя половина очереди загнулась вправо, что давало мне возможность видеть машины, идущие впереди. Первыми шли два самолета «Люфтганзы», затем «Алиталия», за ним самолет израильской компании «Эль Аль», потом болгарский «Ту-154», английская «Каравелла» и еще один немецкий «Боинг». Когда же наконец и мы завернули, я увидел, что непосредственно за нами, припадая к земле дельфиньим носом и словно принюхиваясь к нашему следу, рулит гордость советского «Аэрофлота» — «Ил-62», бортовой номер 38276.

Несмотря на общее в результате алкоголизма ухудшение памяти, я этот номер запомнил без труда. Первая часть числа умножается на серединную цифру, получается простое произведение: 38×2=76. Чтобы не запомнить такое, надо уж быть совсем маразматиком, а я им, слава богу, еще не стал.

Конечно, разглядеть, что находилось внутри «Ила», было просто немыслимо, да я к этому и не стремился. Я просто разглядывал сам самолет, общие его очертания, когда увидел или мне показа-

лось, что увидел, за одним из иллюминаторов прилипшее к стеклу и расплывшееся лицо... ну кого бы, вы думали? Ну, конечно, Лешки Букашева.

Глядя на него, я невольно усмехнулся. Я вспомнил то время, когда в Москве меня постоянно сопровождали машины, набитые агентами КГБ. У них были мощные форсированные моторы, и мне почти никогда не удавалось от них оторваться.

Но теперь ситуация изменилась. Теперь, если бы даже Букашев и захотел следить за мной, это ему вряд ли бы удалось. Он еще будет озирать окрестности Мюнхена, когда наш летательный аппарат уже выйдет за пределы Солнечной системы.

Мои мысли прервало сообщение по радио. Капитан корабля херр Отто Шмидт, поприветствовав пассажиров, просил пристегнуться и воздержаться временно от курения. Он пожелал пассажирам и самому себе счастливого полета и выразил надежду, что там, куда мы вскоре прибудем, нас вместе с нашим замечательным космопланом не сожрут какие-нибудь динозавры или чудовищные мутанты, расплодившиеся на Земле после всеобщей ядерной катастрофы. Все пассажиры, само собой, похихикали, и я тоже, но, честно признаюсь, мне от этой шутки стало немного не по себе.

Тем временем пришло разрешение на взлет. Наш аппарат загудел на месте, раскручивая крыльчатки своих турбин, затем тяжело тронулся с места и с ужасным воем и скрежетом начал подминать под себя взлетную полосу.

Проплыла мимо очередь самолетов, промелькнули аэродромные постройки, ухнула, провалилась забитая разноцветными машинами автострада. Я увидел излучину реки Изар, четырехцилинд-

ровое здание фирмы «БМВ», двуглавую церковь Фрауэн Кирхе, а дальше подробности размывались, смазывались, очертания лесов и озер сжимались, словно я смотрел в перевернутый бинокль, быстро увеличивая фокусное расстояние.

Прощай, Мюнхен! Прощай, Германия! Прощай, моя прошлая жизнь! Прощай, проклятый двадцатый!

ЧАСТЬ II

ПОЛЕТ

Я подозреваю, что читателей этой книги интересуют подробности космического путешествия: перегрузки, звездные пейзажи, столкновения с метеоритами, встречи и сражения с представителями иных цивилизаций.

Увы, ничего подобного в нашем путешествии не было. Кому такие вещи интересны, пусть читают научно-фантастические романы, к которым лично я никакого отношения не имею. Я описываю только то, что было, и ничего лишнего.

А то, что было на самом деле, даже не очень удобно рассказывать. Некоторые детали я охотно бы опустил, только моя исключительная правдивость не позволяет мне ни на шаг отступить от правды фактов.

Так вот, говоря по правде, я о самом полете имею весьма смутные воспоминания. Потому что, как только мы оторвались от земли, я тут же опять заснул. Потом меня разбудила стюардесса, толкавшая перед собою тележку с напитками. Улыбнувшись в полном соответствии со служебной инструкцией, она спросила меня, что я буду пить. Разумеется, я сказал: водку. Она опять улыбнулась, протянула мне пластмассовый стаканчик и игрушеч-

ную (50 граммов) бутылочку водки «Смирнофф». Она собралась уже двигать свою тележку дальше, когда я нежно тронул ее за локоток и спросил, детям примерно какого возраста дают такие вот порции. Она понимала юмор и тут же, все с той же улыбкой, достала вторую бутылочку. Я тоже улыбнулся и довел до ее сведения, что, когда я брал билет и платил за него солидную сумму наличными, мне было обещано неограниченное количество напитков. Она удивилась и высказала мысль, что неограниченных количеств чего бы то ни было вообще в природе не водится. Поэтому она хотела бы все-таки знать, каким количеством этих пузырьков я был бы готов удовлетвориться.

— Хорошо, — сказал я, — давайте десять. — Названное мной количество вовсе не относится к числу невообразимых. Однако, порывшись в тележке, стюардесса нашла в ней еще пять пузырьков «Смирнофф», а за остальными сбегала в головную часть нашего аппарата.

Когда я выставил все бутылочки перед собой, мой сосед, заказавший стакан томатного сока, снял темные очки и стал следить за моими действиями не без интереса. Потом извинился и спросил, неужели я действительно готов в себя вместить все это ужасное количество водки. Я объяснил, что пол-литра водки для русского человека есть первоначальная и, я бы даже сказал, естественная норма.

Его лицо без очков показалось мне еще более знакомым, чем прежде. Где-то я его определенно видел. Высосав два пузырька, я точно вспомнил, где именно. В Мюнхене, на главном вокзале. Там, у билетной кассы, висели портреты левых террори-

стов, за каждого из которых полиция обещала пятьдесят тысяч марок.

Сейчас пятьдесят тысяч сидели рядом со мной. Конечно, полиция всегда предупреждает население быть с террористами осмотрительными и самим их не трогать, но я подумал, что этого сморчка мог бы придавить без всякой полиции. Если у него даже и есть оружие, он вряд ли сможет его употребить. Впрочем, нужды в немецких марках у меня сейчас не было, поэтому, выдув еще пару бутылочек, я сказал соседу, что я его узнал. Он начал отпираться.

— Брось свистеть, — сказал я ему. — Я вас, террористов, насквозь вижу, но выдавать тебя не собираюсь, поскольку, во-первых, не стукач, а во-вторых, ввиду отсутствия здесь немецкой полиции.

Он потупил глаза и скрытно пожал мне руку. Потом вполголоса сказал, что их партия ценит в людях благородство и никогда не забудет оказанной мною услуги. Я спросил, что за партия, и он охотно мне объяснил, что называется их партия «Мысль — идея — действие». Она ставит своей целью ниспровержение прогнившего капиталистического строя и замену его прогрессивным коммунистическим. Понимая, что пропаганда передовых идей должна быть действенной и наглядной, члены Исполнительного комитета партии провели несколько исключительно успешных операций: совершили нападение на американскую военную базу, казнили по приговору революционного подпольного суда двух известных промышленников и одного прокурора.

— К сожалению, — сообщил мне террорист, — наши действия пока не находят достаточного по-

нимания у народных масс. Развращенные хитроумными уступками капиталистов и продажностью профсоюзных лидеров, рабочие и крестьяне не дошли еще до осознания своих классовых интересов и не хотят подниматься на всеобщую борьбу за окончательное торжество коммунистических идеалов.

— Да-да, — поддержал я соседа. — Люди бороться не хотят, потому что живут слишком хорошо. Зажрались.

— Не только это, — возразил террорист. — Пассивному отношению народа к революции в значительной степени способствует антикоммунистическая пропаганда. Она ловко использует ошибки, допущенные в Советском Союзе и странах Восточной Европы, и изображает коммунизм только черными красками. Я надеюсь, что мне удастся положить конец этим злобным измышлениям.

— Каким образом? — спросил я.

Молодой человек охотно ответил, что так решили его товарищи по борьбе. Узнав о возможности путешествия во времени, они решили послать одного из самых активных своих членов в будущее, чтобы он одновременно мог ускользнуть от полицейских ищеек и в то же время увидеть коммунизм своими глазами и привезти убедительные доказательства его полного и безусловного превосходства над всеми остальными системами.

На мой вопрос, где он достал деньги на билет, он, усмехнувшись, напомнил мне о недавнем дерзком ограблении Дюссельдорфского банка, когда были убиты один кассир и двое полицейских.

Не дожидаясь моего следующего вопроса, он

объяснил, что убийства практикуются их партией как исключительная мера, допустимая лишь в период обострения классовой борьбы и ради высоких целей. Но как только коммунистический строй победит, все тюрьмы будут немедленно уничтожены, а смертная казнь навеки упразднена.

Естественно, я спросил его, какой приблизительно представляется ему жизнь в будущем коммунистическом обществе.

Молодой человек представлял эту жизнь не приблизительно, а совершенно ясно. И тут же рассказал, что люди будущего будут жить в небольших, но уютных городах, каждый из которых будет размещаться под огромным стеклянным шатром. В этом городе круглый год будет светить солнце (когда естественное солнце будет исчезать, тогда автоматически будут включаться заменяющие его кварцевые светильники). Понятно, что в таком городе будет много замечательной растительности, улицы будут засажены пальмами и платанами.

— При коммунизме, — сказал он, — все люди будут молодыми, красивыми, здоровыми и влюбленными друг в друга. Они будут гулять под пальмами, вести философские беседы и слушать тихую музыку.

— А что, — поинтересовался я, — старости, болезней и смерти не будет?

— Вот именно что не будет! — горячо заверил молодой человек. — Я же вам говорю, все люди будут молодые, здоровые, красивые и, конечно, бессмертные.

— Очень интересно, — сказал я. — А как же вы этого всего собираетесь добиться?

— Мы никак не собираемся, — быстро возразил террорист. — Мы люди действия. Мы заняты борьбой. А проблемы здоровья и вечной молодости пусть решают ученые.

Возвращаясь к разговору о климате в будущих городах, я заметил, что жить в идеальных условиях при постоянно светящем солнце и пальмах, вероятно, очень приятно, но как быть тем людям, которые любят снег, мороз и всякие зимние развлечения?

Для таких людей, сказал он, тоже будут созданы все условия. Для них в специально отведенных частях солнечного города будут насыпаны мягкие горки из искусственного снега. На горках можно будет сколько угодно кататься, сидя в укрепленных на лыжных полозьях креслах-качалках.

Я его еще спросил, можно ли будет при коммунизме свободно читать книги. Он был таким вопросом слегка удивлен и сказал, что книги высокоидейные и высоконравственные, конечно, будут доступны каждому при помощи разветвленной сети общественных библиотек.

Тем временем принесли обед (курица, салат, сыр, печенье, апельсиновый сок). Под такую закуску грех было не выпить. Опорожнив еще три пузырька, я прошелся по салону и познакомился с другими пассажирами.

Женщина лет сорока с желтым лицом надеялась в будущем излечиться от рака.

Представитель одной очень важной фирмы хотел выяснить, будет ли еще через шестьдесят лет действовать газопровод Уренгой — Западная Европа.

В очереди к туалету я встретил одного соотечественника, который летел в будущее, надеясь, что там восстановлена монархия.

Пообщавшись с разными людьми, я вернулся на свое место и принял еще два «Смирноффа». Возможно, от выпитого или от неощутимой, но имевшей место космической качки сознание мое несколько помутилось, так что дальнейшую часть полета я зафиксировал в своей памяти тоже урывочно. Временами я настолько ничего не соображал, что, к стыду своему, проплывшую в иллюминаторе Проксиму Центавра принял за Полярную звезду. Впрочем, все эти космические тела — большие, средние и малые — вообще не произвели на меня должного впечатления.

На своем веку я видел немало удивительных творений природы и человека. Я видел Эльбрус и Монблан, Московский Кремль, Пизанскую башню, Кельнский собор, Букингемский дворец и Бруклинский мост. Хотя я знал, что, рассматривая эти вещи, надо испытывать что-то необыкновенное и произносить, соответственно, возвышенные слова, я ничего необыкновенного не испытывал, но слова, конечно, произносил.

Помню, как-то, когда я был в Париже, мне показали здание и говорят: «Смотри, это Лувр!» Я посмотрел и подумал: «Ну Лувр, ну и что?»

То же самое я думал, глядя на пролетавшие мимо нас звезды, планеты, астероиды и каменные глыбы: ну и что?

Но один космический объект все же поразил мое воображение, и о нем я, пожалуй, сейчас расскажу.

ВИДЕНИЕ

Почти в самом конце полета, когда мы вошли уже в зону земного притяжения и плелись со скоростью восемь километров в секунду, херр Отто Шмидт вдруг передал по радио, что справа по борту находится космический объект, вероятно, искусственного происхождения. Пассажиры прильнули к окнам. Я тоже (я справа как раз и сидел). Я увидел шарообразную глыбу, что-то вроде гигантского аквариума метров шестьдесят-семьдесят в диаметре, а может, и больше (в космосе все размеры весьма относительны), с какими-то причудливыми антеннами, колышущимися на космическом ветру простынями солнечных батарей и очень большими иллюминаторами, похожими на лунные кратеры.

Все иллюминаторы были темны, кроме одного. Но за этим одним было видение, которое мне показалось поистине фантастическим. Там была видна обширная круглая комната, ярко освещенная многоярусной хрустальной люстрой. Вся площадь пола была покрыта восточным ковром, а стены — ореховыми панелями. Недалеко от иллюминатора стоял широкий письменный стол очень хорошей старинной работы, а на нем несколько телефонных аппаратов разного цвета. С одной стороны стола стоял большой глобус, с другой — телевизор. Были еще какие-то предметы, размещавшиеся у стен: кожаный диван, журнальный столик, бюст Ленина на красной подставке. Все это вместе напоминало служебный кабинет какого-то очень важного советского начальника, правда, кабинет довольно-таки необычной формы.

Мне сначала показалось, что в кабинете никого не было, но вдруг я увидел, что откуда-то из глубины выплыла и стала приближаться к иллюминатору огромных размеров рыба. Вернее, мне показалось, что рыба, но при ближайшем рассмотрении рыба оказалась человекообразным существом, заросшим густой бородой. Существо, на котором были старые кеды, потертые джинсы и малиновый свитер, лениво взмахивая плавниками рук, медленно передвигалось в пространстве, постепенно приближаясь к иллюминатору, но не глядело в него. Устремив взор куда-то вниз, существо шевелило губами, видимо разговаривая то ли с кем-то, то ли само с собой.

Наша скорость относительно этого странного сооружения была равна почти что нулю, и поэтому было видно очень отчетливо, как этот человек шевелит губами, хмурится и иногда кому-то на что-то повелительно указывает пальцем.

Вдруг он поднял голову (может быть, случайно), вздрогнул и, барахтаясь в пространстве, как неопытный пловец, приблизился к иллюминатору.

— Эй! Эй! — закричали ему хором пассажиры нашего аппарата (как будто он мог слышать!) и замахали руками.

Он кое-как справился с проблемой передвижения, ухватился за какую-то держалку и расплющил лицо по стеклу иллюминатора. Он смотрел в нашу сторону с выражением такого отчаяния, какое можно увидеть только на лице человека, ожидающего казни.

Но что больше всего меня сбило с толку и ошеломило, это то, что этот изможденный, плешивоватый и обросший неопрятной бородой человек был

чем-то похож на упитанного, благополучного, бритого и уверенного в себе Лешку Букашева. Конечно, я понимал, что это никак не мог быть Букашев. Тот остался где-то в далеком прошлом. Но едва я так подумал, как заметил, что взгляд этого человека остановился на мне. Боже мой! У меня мурашки прошли по коже. Это никак не мог быть Букашев, но я себе представить не мог, что это не он. Он меня явно узнал. Увидев меня, он весь задрожал, встрепенулся и стал отчаянно жестикулировать, словно хотел мне что-то сказать. Моя рука инстинктивно дернулась, чтобы ему ответить, но в это время у нас включились, видимо, тормозные двигатели, потому что космический дом с бородатым узником вдруг подпрыгнул в пространстве и стал стремительно удаляться, резко уменьшаясь в размерах, как выпущенный из рук воздушный шарик.

Я хотел обсудить увиденное со своим соседом, но он, кажется, ничего не видел. Во всяком случае, когда я к нему повернулся, он с карандашом в руках читал какую-то брошюру, что-то в ней подчеркивая и делая пометки на полях. Я заглянул снизу, чтобы посмотреть название брошюры. Это было известное сочинение Ленина «Государство и революция» в переводе на немецкий язык.

Вид этого человека, занимающегося столь мирным и обыкновенным делом, успокоил меня, и я решил, что, видимо, задремал и спьяну мне что-то такое вот примерещилось.

Надеясь прийти в себя, я прикончил последний пузырек «смирновки», но от него меня так развезло, что сознание мое вскоре опять помрачилось, и я заснул.

БОРТОВОЙ НОМЕР — 38276

Я очнулся от тишины и не сразу понял, что происходит. Наш аппарат уже не гудел, не свистел, не дрожал. Многие пассажиры, покинув места, со своими портфелями, сумками и чемоданами молча толпились в проходе. Спьяну и спросонья я не мог сразу вспомнить, откуда, куда и зачем летел. Но, посмотрев в окно, сразу вспомнил.

За стеклом иллюминатора я увидел покрытое выжженной травой поле, потрескавшиеся рулежные дорожки и невдалеке большое здание из стекла и бетона. На верхней части здания я увидел выложенное большими буквами слово:

МОСКВА

Под надписью были размещены в ряд какие-то портреты, а над крышей, в лучах жаркого июльского солнца, ярко полыхала рубиновая звезда.

Мог ли я оставаться спокойным? Необычайно волнуясь, я вскочил на ноги, но в это время по радио объявили, что работники местной аэродромной службы не могут найти для нашей машины подходящего трапа, поэтому пассажиров просят не волноваться и не толпиться в проходе, высадка будет объявлена особо.

— Этого следовало ожидать, — вернувшись на свое место, сказал мой юный сосед. — Наверное, наш космоплан для них уже техника вчерашнего дня, и у них для него нет подходящих приспособлений.

Я не ответил. Я смотрел в окно и не мог оторваться от того, что увидел. Рядом с нашим аппа-

ратом на соседней стоянке стоял ободранный и сильно накрененный на левую сторону самолет «Ил-62», бортовой номер... 38276.

Что бы это могло значить?

Я ничего не соображал. Я не понимал, как могло случиться, что этот допотопный тихоход, который не способен развить даже скорость звука, оказался здесь раньше нас.

И тут меня осенила догадка: провокация!

Да, конечно, весь этот полет в будущее был сплошной и ловко подстроенной провокацией.

Надо же, как сработали!

Значит, и Руди, который уверял меня в возможности путешествий во времени, и фройляйн Глобке, и Джон, и арабские похитители, и Лешка Букашев, и весь экипаж самолета, который они выдавали за космоплан, действовали по одному и тому же тщательно разработанному в КГБ сценарию и привезли меня в Москву, но не две тысячи какого-то года, а в сегодняшнюю.

А я, дурак (мало меня учили), так легко попался на эту примитивную удочку.

Сразу протрезвев, я стал лихорадочно искать выход из положения. Но что я мог придумать?

Я подавил в себе первый панический импульс куда-то бежать, спрятаться в туалет, забиться под сиденье. Я всегда знал, что в критические минуты нелепые действия — это ускоренный путь к гибели. Но что же мне было делать? «Напасть на экипаж! — подсказал мне мой черт не очень уверенно. — Напасть на экипаж, захватить заложников и потребовать немедленного возвращения самолета в Мюнхен». Эту идею я тут же отверг как совершенно неосуществимую. У меня не было с собой ни

бомбы, ни пистолета, ни даже перочинного ножа, ничего такого, чем я мог бы угрожать экипажу. Обдумывая положение, я продолжал смотреть в окно и вдруг заметил, что портреты на фронтоне аэровокзала вовсе не те, с которыми я простился, улетая отсюда несколько лет тому назад. Сквозь запотевшее стекло они были плохо видны, но что-то в них было непривычное.

Их было пять.

На левом с краю был нарисован человек, похожий на Иисуса Христа, но не в рубище, а во вполне приличном костюме с жилеткой, галстуком и даже, кажется, с цепочкой от часов. Рядом с ним помещался Карл Маркс. Два портрета справа изображали Энгельса и Ленина. Но меня потрясли портреты не основоположников единственно правильного научного мировоззрения и даже не Иисус Христос (хотя он в этой компании выглядел не совсем своим), а лицо, запечатленное на среднем портрете. Этот бородатый человек в просторной армейской робе с маршальскими погонами и слегка распахнутым воротом был похож... Ну на кого бы, вы подумали?.. Да, да! Все на того же Лешку Букашева, с которым я пил пиво в Английском парке, который три часа тому назад следил за моим вылетом в Мюнхенском аэропорту и которого я вроде бы только что видел в диковинном космическом аппарате. Этот Лешка, хотя и с бородой, был больше похож на настоящего Лешку, потому что вид был такой же благополучный и самоуверенный, как в жизни, правда, взгляд у этого был намного пронзительнее, чем у живого.

Я схватился за голову и застонал.

«Боже! — подумал я. — Ну что же все это зна-

чит? Почему мне все время мерещится этот проклятый Букашев? Неужели я уже допился до белой горячки?

Ну, хорошо, — сказал я себе самому. — Допустим, я ни в каком космосе не был, а летел на самом обыкновенном «Боинге». Допустим, Проксима Центавра и космический аквариум, внутри которого плавал Букашев, были всего лишь оптическими трюками, разработанными в лабораториях КГБ. Но что означает вся эта мешанина портретов? Тоже трюки, только для того, чтобы ввести меня в заблуждение? Этого быть не может».

К тому же, где, какие и в каком порядке вешать портреты, власти на моей родине всегда относились с предельной серьезностью, за всякие вольности в этом деле в прежние времена давали довольно-таки большие сроки. Поверить в то, что их повесили всего лишь ради примитивного обмана попавшего в ловушку растяпы, я, честно говоря, просто не мог. Но тогда что же это все-таки может значить? Что я должен был предположить? Что Лешка на своем «Иле» летел быстрее, чем я на «Боинге»? Что за три часа полета он успел дослужиться до маршала, отрастить бороду, захватить власть и развешать свои портреты? Предположения дикие, но ничего более правдоподобного мне в голову не приходило.

Пока я напрягал свою одуревшую голову, к нашей машине подкатили два громоздких транспортных средства лягушиного цвета. Какая-то странная комбинация бронетранспортера с паровозом. Во всяком случае, передвигались они, вероятно, с помощью пара, густые клубы которого вырывались из расположенной на носу трубы. Как только

бронетранспортеры остановились между нами и перекошенным «Илом», из откинутых люков один за другим, как грибы из корзинки, посыпались военные в коротких штанишках и с короткими автоматами. Они тут же рассредоточились и стали вокруг самолета, направив на него стволы своего оружия.

Как раз в это время захрипело радио, и херр Отто Шмидт сообщил, что московские власти трапа так и не нашли и пассажирам придется воспользоваться аварийной веревочной лестницей, за что он, капитан корабля, от имени экипажа и всей компании «Люфтганза» приносит свои глубочайшие извинения.

Впрочем, людям уже так не терпелось покинуть аппарат, что они готовы были спускаться не то что по веревочной лестнице, а даже и просто по веревке. Тем более что портреты, как я заметил, никого, кроме меня, нисколько не взволновали.

Очередь стала продвигаться вперед. Я схватил свой «дипломат» и оказался последним в очереди. Предпоследним был мой юный сосед.

У открытого люка две стюардессы, устало улыбаясь, желали пассажирам счастливого времяпрепровождения и напоминали, что обратный рейс состоится ровно через месяц.

Откровенно говоря, я очень волновался, не зная, что ждет меня там, внизу. Поэтому, поравнявшись с одной из стюардесс, я спросил ее, не может ли она выдать мне еще пару бутылочек «Смирнофф», и, широко открыв рот, показал, что там все горит.

Она сначала не поняла, а когда поняла, довольно холодно объяснила, что компания обслуживает

пассажиров только во время полета, а полет закончен.

Я опять открывал рот, хлопал себя по груди, словами и знаками объяснял, что очень нужно, поскольку имею небольшой копфшмерце, то есть головную боль, но она к моим объяснениям осталась равнодушной, как природа.

Между тем, пока я объяснялся, остальные пассажиры уже покинули самолет. Я подошел к распахнутому люку, глянул вниз и отшатнулся. Земля была далеко, а веревочная лестница казалась очень ненадежной. И вообще, с какой стати, платя такие деньги, я должен лазить по каким-то веревкам, как обезьяна? Но когда я посмотрел, что творится внизу, мне и вовсе стало не по себе. Пассажиры, спустившиеся до меня, стояли, окруженные плотным кольцом военных, направивших на них автоматы. Военные подгоняли пассажиров и поодиночке чуть ли не вталкивали в один из бронетранспортеров.

— Давай, давай, поживее! — покрикивал коренастый офицер с четырьмя звездочками на погонах, видимо капитан.

Машина скрипела, пыхтела, заглатывая пассажиров, которые повиновались безропотно. Только один пытался воспротивиться. Это был мой сосед-террорист.

— Геноссе! — кинулся он к капитану. — Их бин айн коммунист. Не надо давай-давай, надо дружба-мир. Давай-давай не надо.

— Как это не надо давай-давай? — удивился капитан. — Надо давай-давай. — Он засмеялся и дал бедняге пинка, от которого тот влетел в машину, как мяч в ворота.

Капитан вопросительно посмотрел на меня.

Мне стало не по себе, и я невольно попятился внутрь космоилана, но тут же наткнулся на что-то железное. Я оглянулся и вздрогнул. Сзади, упираясь в меня автоматом, стоял неизвестно как оказавшийся здесь коротконогий солдат и, не мигая, смотрел на меня своими раскосыми азиатскими глазами.

Я все понял и двинулся к выходу, чтобы спускаться, когда услышал снизу фразу, меня удивившую.

— Рамазаев! — крикнул капитан. — Писателя не трогай, он не наш.

— Слушаюсь! — отозвался Рамазаев и мимо меня сиганул вниз, на лету перебирая перекладины веревочной лестницы.

Не успел я подумать, откуда они узнали, что я писатель, как Рамазаев и его командир вскочили в плюющуюся паром машину, и она отвалила, дав резкий тревожный гудок.

Не понимая, что происходит, я оглянулся на стюардессу. Та улыбнулась и вдруг быстро протянула мне пузырек «Смирнофф».

— Данке шен, — сказал я и хотел сразу раскупорить полученное, но увидел, что внизу появилась новая группа военных: трое мужчин и две женщины. Они были тоже в коротких штанах и юбках, но лучшего качества, чем те, первые. И все, кроме одного, в кепках. У всех троих мужчин и у одной женщины звезды на погонах были явно генеральского достоинства, другая женщина, помоложе, была всего лишь капитаном. Один из генералов был, видимо, духовного звания. На нем была темная, но очень короткая, до колен, ряса с лампасами в нижней части, на голове монашеский кло-

бук, тоже с большим козырьком, а на груди крупная и, может быть, даже серебряная звезда. На концах каждого луча звезды были кресты. Такая же звезда с крестами была и на клобуке. У женщины-генерала были лампасы на юбке, но в целом форма ее особого удивления не вызывала.

У генералов на груди было много орденов, а у женщины-капитана всего две какие-то медали. Видимо, они были очень коротко пострижены, потому что даже у женщин волосы из-под кепок не выбивались.

СЕРДЕЧНАЯ ВСТРЕЧА

Приблизившись к нижнему краю веревочной лестницы, они остановились и смотрели па меня снизу вверх, слегка жмурясь от слепящего солнца и приветливо улыбаясь. Я им тоже неуверенно улыбнулся и продолжал стоять, не зная, что делать. Так мы и играли в гляделки, пока из группы военных не вышел вперед, видимо, главный из генералов. Он был из них самый высокий, самый упитанный, и па погонах у него было не по одной звезде, как у других, а по две.

— Ну что ж вы, Виталий Никитич? — сказал он низким рокочущим голосом. — Спускайтесь, мы вас ждем.

Из этого обращения явствовало, что они не только осведомлены о моей профессии, но и имя мое для них не секрет.

Я колебался, не представляя, как приступить к спуску. Затем, решившись, лег на живот и весьма унизительным способом — ногами вперед — мед-

ленно пополз к открытому люку. Представляю, как смешно это выглядело снизу. Впрочем, и сверху тоже (одна из стоявших надо мной стюардесс не выдержала и хихикнула).

Когда ноги мои уже повисли над бездной, я вдруг панически испугался, почувствовал, что сползаю, но не могу найти беспомощно свисающими ногами никакой точки опоры. Я вцепился ногтями в резиновый коврик, но он был слишком скользкий. Возможно, я бы ухнул вниз и на том закончилась бы моя авантюра, но стюардессы завизжали не своим голосом, на их крик выскочил из своей кабины лично херр Отто Шмидт и в последнюю минуту ухватил меня за руки.

Пока он меня держал, я наконец нащупал ногою перекладину.

— Форзихт, форзихт[1], — волновался херр Шмидт. Он отпустил сначала одну мою руку, а когда я ухватился ею за веревку, отпустил и вторую.

Я начал свой осторожный спуск, а те, которые стояли внизу, вдруг зааплодировали. Я подумал, что они надо мной издеваются, и разозлился. Злость придала мне сил, и остаток пути я проделал уже гораздо увереннее, тем более что приближение к земле делало мой спуск все менее опасным. Следом за мной был спущен на веревке мой «дипломат».

Спускаясь, я не исключал того, что буду немедленно арестован. Но ничего подобного не случилось. Как только я почувствовал под ногами твердую почву, военные приблизились, и я заметил, что украшавшие их значки и ордена были сделаны из пластмассы. Главный генерал подошел первым, подал мне свою пухлую руку и сказал с улыбкой:

---

[1] Vorsicht — осторожно (*нем.*).

— Слаген.

Думая, что «Слаген» это его фамилия, я ему назвал и свою, хотя он ее знал и так. Затем ко мне приблизился другой генерал, протянул руку и тоже сказал «Слаген». Полагая, что второй Слаген приходится братом первому, я представился и ему. К моему удивлению, обе женщины и священник тоже оказались Слагенами.

После того как я всем представился, возникла неловкая пауза, но затем главный генерал дал знак своим спутникам, они перестроились, и женщина-капитан оказалась между главным и мной.

— Ну что ж, Виталий Никитич, — сказал генерал, по-прежнему улыбаясь. — Позвольте от имени нашей небольшой комписовской делегации сердечно поздравить вас с возвращением. Как говорилось в старину, добро пожаловать на родную землю! — Он широко раскинул руки, как будто хотел меня обнять, но тут же опустил их.

Я не успел ответить, как заговорила женщина-капитан:

— Виталий Никитич, комсор Смерчев сердечно поздравляет вас с прибытием и говорит: «Добро пожаловать на родную землю!»

— Я это понял, — сказал я, — я не глухой.

— Он говорит, что он не глухой, — сказала капитан генералу.

— Скажи ему, — передал генерал, — что восхищен тем, что он в его возрасте так прекрасно выглядит и даже не утратил слуха.

Пока женщина непонятно зачем повторяла его слова, я смотрел на них удивленно: почему они считают, что я в свои сорок неполных лет должен был оглохнуть? Выразив свое восхищение моим

состоянием, генерал попросил разрешения представить мне всех членов делегации.

— Меня, — сказал он, — зовут Смерчев Кому-Не-Иванович.

— Кому-Не-Иванович? — повторил я удивленно.

Капитан перевела (если можно было назвать повторение тех же слов на том же языке переводом) мои слова генералу, тот засмеялся (другие генералы его поддержали) и объяснил, что некоторые подчиненные действительно зовут его за глаза Кому-Не-Иванович, хотя на самом деле он не Кому-Не, а Коммуний Иванович. А еще он сказал, что он генерал-лейтенант литературной службы, Главкомпис республики и председатель юбилейного Пятиугольника.

Тут же Коммуний Иванович представил мне других членов делегации, которых имена и должности я располагаю в порядке представления:

1. Сиромахин Дзержин Гаврилович, генерал-майор БЕЗО, первый заместитель Главкомписа по БЕЗО, второй член юбилейного Пятиугольника.

2. Коровяк Пропаганда Парамоновна, генерал-майор политической службы, первый заместитель Главкомписа по политическому воспитанию и пропаганде, третий член юбилейного Пятиугольника.

3. Отец Звездоний, генерал-майор религиозной службы, первый заместитель Главкомписа по духовному окормлению, четвертый член юбилейного Пятиугольника.

4. Полякова Искрина Романовна, капитан литературной службы, пятый член и секретарь юбилейного Пятиугольника.

Хотя Искрина Романовна слово в слово повторяла все, что говорили члены делегации, я понимал далеко не все. Я не очень понял, что означают все эти звания и должности, почему у них такие странные имена, кто такой Главкомпис, о каком юбилейном Пятиугольнике идет речь и вообще, что это такое. Да и в самом русском языке, как я заметил, за время моего отсутствия появилось много новых слов, понятий и выражений. Представив себя и своих спутников, Коммуний Иванович спросил (а капитан перевела), есть ли у меня какие-нибудь вопросы.

Вопросов у меня было так много, что я не знал, с какого начать. И спросил для начала, что такое юбилейный Пятиугольник и чей юбилей собирается он отмечать.

Коммуний Иванович охотно мне разъяснил, что юбилейный Пятиугольник — это специально назначенный творческим Пятиугольником комитет, которому поручено подготовить и провести на высоком идейном уровне мой юбилей.

— Мой юбилей? — переспросил я недоуменно. — А, ну да, мне же на днях исполнится сорок лет. Я совсем выпустил это из виду.

— Вы говорите, сорок лет? — Смерчев переглянулся со своими спутниками. — Да нет, Виталий Никитич, — улыбнулся он снисходительно. — Вам не сорок. Вам сто лет исполняется.

Я сначала удивился, но тут же все понял.

— Ну да, — сказал я. — Ну конечно, сто лет. А мне это, честно говоря, почему-то даже и в голову не пришло, хотя если бы я подумал, то мог бы и сам догадаться.

Я даже рассмеялся, и весь Пятиугольник доброжелательно посмеялся вместе со мной. Думая о причудах времени, я все еще бормотал какие-то бессмысленные слова и междометия вроде «ах!», «ну и ну!», «надо же!».

— Скажите, — спросил я генерала, — а откуда вы меня вообще знаете?

Все они на сам вопрос никак не реагировали, словно не слышали, но после того, как Искрина Романовна повторила его, тут же дружно заулыбались, а Коммуний Иванович развел руками.

— Ну что вы, Виталий Никитич, ну как же мы вас можем не знать, когда мы ваши произведения тщательно изучали еще в предкомобах.

— Комсор Смерчев говорит, — повторила переводчица, — как же мы вас можем не знать, когда мы ваши произведения тщательно изучали еще в предкомобах.

— Где? Где? — переспросил я.

— В предкомобах, — повторила она. — Разве вы не учились никогда в предкомобе?

— А что это такое?

— Предкомоб — это значит предприятие коммунистического обучения.

— Понятно, — сказал я. — И вы лично тоже изучали мои произведения в предкомобе?

— Ну как же, Виталий Никитич, у нас каждый предкомобовец в обязательном порядке изучает предварительную литературу.

Нет, все-таки моя жена права, утверждая, что постоянное употребление алкоголя разрушительно влияет на умственные способности человека. Задавая вопросы и получая ответы, я все меньше что-либо понимал, а сведение о том, что существует,

оказывается, какая-то предварительная литература, повергло меня в уныние.

— Ну хорошо, — сказал я. — Я очень рад, что вы в предкомобах так хорошо усвоили предварительную литературу, но я не могу понять, каким же все-таки образом вы узнали о моем приезде.

Члены делегации переглянулись между собой, а Коммуний Иванович улыбнулся и развел руками:

— Что ж вы, Виталий Никитич, так плохо о нас думаете? Мы не отрицаем, в работе нашей разведки есть еще некоторые недостатки, но неужели вы думаете, что за шестьдесят лет она не могла справиться с такой, прямо скажем, несложной задачей?

— Однако нам пора идти, — вмешался молчавший до того Дзержин Гаврилович. — А то жарко. Прямо как в Гонолулу, — добавил он и, усмехнувшись, посмотрел на Коммуния Ивановича.

— Ну, в Гонолулу, — подхватил Коммуний, — я думаю, может быть, даже и попрохладнее. Там все-таки климат морской, влажный и постоянно дует океанский бриз. А у нас климат континентальный.

Намек их я понял и осведомленность оценил. И только сейчас сообразил, что именно произошло. Я самонадеянно думал, что оставил Букашева далеко позади, а на самом деле он на своем допотопном «Иле» прилетел сюда шестьдесят лет назад и, конечно, давным-давно умер. Но его отчет о встрече со мной в Мюнхене и о задуманном мной путешествии был подшит к делу и учтен.

Нет, странная и загадочная все-таки эта штука — время.

Тут мне вспомнилось мое видение в космосе, и

я подумал, что это была, конечно, всего-навсего галлюцинация.

Меня смущал еще портрет на фронтоне аэровокзала, уж очень напоминал он Букашева. Но, с другой стороны, и члены юбилейного Пятиугольника мне тоже кого-то напоминали. Забегая вперед, скажу, что потом в Москве будущего я встречал много людей, очень похожих на встреченных в прошлом. Иногда настолько похожих, что я кидался к ним с распростертыми объятиями и каждый раз попадал, конечно, впросак. Как я понял впоследствии, набор внешних черт человека в природе, в общем-то, ограничен, только внутренняя суть личности неповторима. Впрочем, и в прошлом, и в будущем, и в настоящем я встречал много людей очень даже повторимых. Пока я так размышлял, мне было предложено пройти в здание аэровокзала, где меня (так сказал Коммуний Иванович) с нетерпением ждут мои читатели и почитатели.

Мы двинулись в путь. Между мной и Коммунием Ивановичем шла Искрина Романовна, слева от Коммуния Ивановича переваливалась, как утка, коротконогая и жирная Пропаганда Парамоновна, по правую руку от меня, расправив плечи, вышагивал Дзержин Гаврилович, а за ним шкандыбал, ударяя одной ногою в бетон, и одновременно весь дергался, кособочился, тряс всклокоченной бороденкой и при этом как-то как бы гримасничал и подмигивал отец Звездоний.

По дороге я спросил Коммуния Ивановича, почему он обращается ко мне не прямо, а через переводчицу.

— Разве, — спросил я, — мы говорим с вами не на одном и том же языке?

Он вежливо подождал перевод, потом объяснил, что хотя мы действительно пользуемся приблизительно одним и тем же словарным составом, но каждый язык, как известно (мне это как раз не было известно), имеет не только словарное, но и идеологическое содержание, и переводчица для того и нужна, чтобы переводить разговор из одной идеологической системы в другую.

— Впрочем, — добавил он тут же, — если это вас смущает, давайте попробуем обойтись без перевода. Но в случае затруднений Искрина Романовна к вашим услугам. У вас есть еще какие-нибудь вопросы?

— Скажите, пожалуйста, — сказал я, ужасно волнуясь, — а какой политический строй существует сейчас в вашем государстве?

Смерчев переглянулся с остальными спутниками, остановился и, положив руку мне на плечо, торжественно сообщил:

— Никакого политического строя, Виталий Никитич, у нас не существует. Впервые в истории нашей страны и всего человечества у нас построено бесстроевое и бесклассовое коммунистическое общество.

— Что вы говорите! — всплеснул я руками. — Неужели вы построили самый настоящий коммунизм?

— Ну конечно же, самый настоящий, — подтвердил Смерчев.

— Не игрушечный же, — вставил свое слово Дзержин Гаврилович и посмотрел па меня как-то странно.

— Неужели, неужели, неужели это случилось? — бормотал я. — А я-то не верил! А я-то со-

мневался! И сколько я глупостей по этому поводу наговорил!

— Да уж, наговорили, — строго заметила Пропаганда Парамоновна.

— Ну, наговорил так наговорил, — защитил меня энергично Дзержин Гаврилович. — Это было давно, и, возможно, в те времена Виталий Никитич находился под сильным посторонним влиянием.

Это утверждение меня удивило, и я возразил, что посторонних влияний я в прошлой жизни, в общем, более или менее избегал.

— Это мы знаем, — сказал Дзержин Гаврилович. — Вы, конечно, всегда отличались самостоятельностью суждений, но в жизни, знаете ли, встречаются люди, которые действуют на нас гипнотически. Вы можете относиться к такому человеку даже весьма иронически, но стоит ему сказать слово, и вы, проклиная самого себя, готовы нестись на край света.

— Даже в какую-нибудь такую дыру вроде Торонто! — весело подхватил Смерчев.

Черт подери, подумал я, на что это они намекают? На то, что они про меня все знают? Ну да, ну правильно, у них было времени достаточно, чтобы собрать на меня большое досье. Но зачем они перебирают это давно прошедшее прошлое и что хотят из него извлечь?

— Значит, вы говорите, — вернулся я к прерванной теме, — что коммунизм все-таки построен? А я, признаться, этого не ожидал и не предвидел. Дело в том, что по части передового мировоззрения я всегда был слабоват. У меня был ум такой, знаете, ненаучный, и по марксистской теории у меня всегда были очень плохие отметки. Но вы не думайте, я

очень рад, что все получилось не так, как я думал. Слава богу, что я ошибся.

— Кому слава? — удивленно переспросила Пропаганда Парамоновна.

— Он сказал: «Слава богу», — повторила мои слова Искрина Романовна.

— А никакого бога нет, — подскочил вдруг отец Звездоний и стукнул правой ногою в землю. — Совершенно никакого бога нет, не было и не будет. А есть только Гениалиссимус, который там, наверху, — Звездоний ткнул пальцем в небо, — не спит, работает, смотрит на нас и думает о нас. Слава Гениалиссимусу, слава Гениалиссимусу, — забормотал он как сумасшедший и стал правой рукой производить какие-то странные движения. Вроде крестился, но как-то по-новому. Всей пятерней он тыкал себя по такой схеме: лоб — левое колено — правое плечо — левое плечо — правое колено — лоб.

Все другие тоже остановились и тоже стали, повторяя те же движения, бормотать: «Слава Гениалиссимусу, слава Гениалиссимусу».

Я смотрел на них с удивлением и даже с некоторой опаской. Мне показалось, что все они, может быть, от жары слегка тронулись.

— Виталий Никитич, — услышал я озабоченный шепот. — Вам тоже следует перезвездиться.

Это шептала мне переводчица. Я посмотрел на нее и ужимками показал, что звездиться не умею. Но перехватив удивленный взгляд Пропаганды Парамоновны, я тоже как-то так подергал рукой, чем ее, видимо, удовлетворил не совсем.

Завершив этот странный и не очень понятный

мне ритуал, все сразу успокоились, и мы пошли дальше.

По дороге Коммуний Иванович разъяснил мне, что построение реального коммунизма стало практически возможным в результате Великой Августовской коммунистической революции, подготовленной и осуществленной под личным руководством и при участии Гениалиссимуса.

— Надеюсь, вы поняли, — сказал он, — что Гениалиссимус — это наш любимый, дорогой и единственный вождь.

— Да-да, — сказал я. — Я догадываюсь. Только я не очень понимаю, что означает это слово «Гениалиссимус». Что это, имя, фамилия, звание или должность?

— Это все вместе, — сказал Смерчев. — Видите ли, у нас, комунян, у всех были имена, данные нам при рождении, а потом мы их заменили на те, которые получили во время звездения, то есть звездные имена. Эти имена отражают направление основной деятельности каждого человека. А имя Гениалиссимус возникло совершенно естественно. Дело в том, что Гениалиссимус является одновременно Генеральным секретарем нашей партии, имеет воинское звание Генералиссимус и, кроме того, отличается от других людей всесторонней такой гениальностью. Учитывая все эти его звания и особенности, люди называли его «наш гениальный генеральный секретарь и генералиссимус». Но, как известно, кроме прочих достоинств, наш вождь отличается еще исключительной скромностью. И он много раз просил нас всех называть его как-нибудь попроще, покороче и поскромнее. Ну и в конце

концов привилось такое вот простое и естественное имя — Гениалиссимус.

Казалось, далеко ли было от места нашей встречи до аэровокзала, но на этом пути Смерчев рассказал, как и для чего была совершена Великая Августовская революция.

От него я узнал, что Гениалиссимус, будучи еще только простым генералом госбезопасности, часто задумывался, почему так хорошо и научно разработанное построение коммунизма все-таки не удается. Многократно и самым тщательным образом проработав все научные первоисточники и теоретические расчеты, он выявил ошибки, которые были совершены при строительстве коммунизма. Прежние руководители партии и государства, иногда вульгаризируя великое учение, пытались построить коммунизм без учета местных и общих условий. В свое время даже великий Ленин полагал, что коммунизм можно построить сразу на всей планете, произведя для этого мировую революцию. Затем было выдвинуто положение, что первую стадию коммунизма — социализм — можно построить и в одной отдельно взятой стране. Так и было сделано. Однако переход от социализма к коммунизму оказался делом гораздо более сложным, чем казалось вначале. Все попытки построения в одной стране коммунизма оказались безуспешными. Проанализировав эти попытки и революционно развивая теорию, будущий Гениалиссимус уже тогда пришел к единственно правильному выводу, что корень неудач заключался в том, что прежние строители, руководствуясь вульгаризаторскими идеями, проявляли поспешность, не учитывали ни масштабов страны, ни неблагоприятных погодных усло-

вий, ни отсталости значительной части многонационального населения. В конце концов будущий Гениалиссимус пришел к простому, но гениальному решению, что коммунизм можно и нужно для начала построить в одном отдельно взятом городе.

И это свершилось! В исторически сжатый период коммунизм построен в пределах Москвы, которая стала первой в мире отдельной коммунистической республикой (сокращенно МОСКОРЕП).

— Простите, — сказал я, — я не совсем понял. Москва больше не входит в состав Советского Союза?

— Не только входит, но по-прежнему является его географической, исторической, культурной и духовной столицей, — гордо сообщил Смерчев. — Но наш любимый Гениалиссимус со свойственной ему прозорливостью разработал теорию, по которой возможно мирное сосуществование двух общественных систем в пределах одного государства.

— Ага! — обрадовался я тому, что начал кое-что понимать. — Это, значит, как в Китае. Они тоже в свое время разработали теорию двух систем.

Видимо, я сказал что-то не то. Члены делегации как-то странно переглянулись.

— Ну зачем же так говорить? — возразил отец Звездоний.

— Да, — улыбнулась Пропаганда Парамоновна, — от вашего заявления попахивает метафизикой, гегельянством и кантианством.

— Ну почему же, почему же? — вмешался немедленно Дзержин Гаврилович. — Виталий Никитич высказывает только то, что думает. Правильно, Виталий Никитич?

— Да, конечно, правильно, — быстро согласился я, благодарно посмотрев на Дзержина.

— А что касается Китая, — снисходительно сказал Смерчев, — то сравнивать эту страну с великим Советским Союзом, право, никак не стоит. Китай включает в себя социалистические территории и такие зловредные очаги капиталистического разложения, как Гонконг, Тайвань и остров Хонсю. В то время как Советский Союз, являясь в целом социалистическим континентом, имеет коммунистическую сердцевину, которая стала могучим и вдохновляющим примером для всех народов, еще пока этой стадии не достигших. Разница, согласитесь, принципиальная.

По мере нашего приближения к аэровокзалу я все пристальнее вглядывался в висевшие на фронтоне портреты и спросил Смерчева, кто этот человек, похожий на Иисуса Христа.

— Как кто? — удивился Смерчев. — Это и есть Иисус Христос.

— Но мы поклоняемся ему, — завертелся и стукнул ногой отец Звездоний, — не как какому-то там сыну божьему, а как первому коммунисту, великому предшественнику нашего Гениалиссимуса, о котором Христос правильно когда-то сказал: «Но идущий за мною сильнее меня!»

Я совершенно точно знал, что эти слова принадлежали не Христу, а Иоанну Крестителю, но на всякий случай возражать не стал.

На кирпичной стене аэропорта я увидел старую, полустертую надпись: «Внимание! Двери открываются автоматически!» Но никаких дверей вовсе не оказалось, проем в стене был ничем не закрыт.

Смерчев приостановился, пропуская меня вперед. Я шагнул в проем, и тут сразу грянула музыка, и огромная толпа людей дружно стала размахивать красными флажками, транспарантами, портретами Гениалиссимуса и... я глазам своим не поверил... моими.

Дзержин сразу выскочил вперед и плечом стал проламываться сквозь толпу, за ним, тоже отпихиваясь от народа, шел Смерчев, а за Смерчевым — я.

Лозунги на транспарантах были примерно такие:

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ГЕНИАЛИССИМУС!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
МЫ ЛУЧШЕ ВСЕХ!
НАША СИЛА В ПЯТИЕДИНСТВЕ!
СЛАВА КПГБ!
ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЛИТЕРАТУРУ ВЫУЧИМ И ПЕРЕВЫУЧИМ!

Еще не успев ни в чем разобраться, я оказался на каком-то возвышении вроде сцены, за столом, покрытым красной бумагой. В том же примерно порядке, в котором мы только что шли, расположились по обе стороны от меня члены комиссовской делегации. Искрина Романовна, устроившись за моим левым плечом, шепнула мне на ухо, что готова мне помочь, если чего непонятно.

Коммуний Иванович встал и поднял руку. Музыка смолкла. Раздались бурные аплодисменты. Смерчев знаками остановил и их.

— Дорогие комуняне и комунянки! — взволнованно начал Смерчев. — Гениалиссимус лично поручил мне представить вам нашего дорогого, ува-

жаемого, запоздалого гостя. — Тут опять раздались дружные аплодисменты. — Шестьдесят лет, мужественно преодолевая исключительные трудности, добирался он сюда из своего отдаленного прошлого, чтобы увидеть своими глазами нас и наши свершения и от имени ушедших поколений глубоко поклониться нашему любимому Гениалиссимусу за его неутомимую деятельность на благо нашего народа и всего человечества.

Честно говоря, я уже плохо помню все, что он говорил. Помню только, что он очень высоко отозвался о моих литературных достижениях, в которых я, как он выразился, смело бичевал пороки современного мне социалистического общества, за что я был несправедливо наказан культистами, волюнтаристами, коррупционистами и реформистами, пробравшимися в ряды партии. Тем не менее моя мужественная и нелицеприятная критика отдельных недостатков сыграла свою скромную, но все-таки положительную роль в том движении, которое в конце концов закончилось Великой Августовской революцией.

Речь Смерчева многократно прерывалась самыми бурными аплодисментами, и при этом публика каждый раз скандировала имена Гениалиссимуса и мое.

Вообще, в целом это была такая трогательная встреча, что я даже не могу передать. Один за другим поднимались на трибуну разные люди — рабочие, инженеры, студенты.

Под гром барабанов в зал было внесено знамя гвардейской части, которая, как выяснилось, носит мое имя.

Пионеры поднесли мне огромный букет цветов, повязали на шею красный галстук и прочли стихи, из которых я запомнил только такое четверостишие:

Здесь, в Москорепе, каждый пионер,
Читая ваши славные страницы,
Старается брать с Карцева пример,
По-карцевски работать и учиться.

Собственно говоря, все выступавшие, приветствуя меня, обещали работать, учиться, нести воинскую службу и жить по-карцевски. Возможно, некоторые из них немного переборщили в своих похвалах, но признаюсь, мне их слова были тем не менее очень и очень приятны, а иногда даже у меня на глазах проступали слезы.

Все они очень часто цитировали Гениалиссимуса (Гениалиссимус сказал, Гениалиссимус заметил, Гениалиссимус неоднократно указывал), но при этом, как ни странно, приписывали ему высказывания, крылатые выражения и поговорки, которые (я знал это наверняка) впервые были сказаны вовсе не им.

Среди выступавших были Дзержин Гаврилович и отец Звездоний. Первый, произнеся в мой адрес самые лестные комплименты, призвал москореповцев по случаю моего приезда к еще большей коммунистической бдительности.

— Мы, — сказал он, — нисколько не сомневаемся, что Виталий Никитич приехал к нам с чистыми намерениями. Но мы должны помнить, что таким же образом к нам могут проникнуть и скрытые враги.

Речь отца Звездония была пересыпана цитата-

ми из Священного Писания, которое, если верить батюшке, было сочинено Гениалиссимусом.

Примитивные коммунисты прошлого, сказал Звездоний, не будучи знакомы с основополагающим учением Гениалиссимуса, без достаточных оснований отвергали возможность таких, теперь уже совершенно неоспоримых явлений, как непорочное зачатие, воскресение, вознесение и второе пришествие. Теперь возможность таких явлений убедительно доказана современными достижениями науки и религии. Наглядный пример мы видим перед собой. Виталий Никитич, как мы знаем, давно умер. Но теперь он воскрес и явился к нам. И если теперь среди нас найдется какой-нибудь, говоря словами Гениалиссимуса, Фома Неверный, что ж, он может подойти, потрогать Виталия Никитича и убедиться, что он явился к нам во плоти.

Затем выступил руководитель отряда космонавтов Прогресс Анисимович Миловидов. Он сообщил о проведенном во время моего отсутствия уникальном космическом эксперименте. Оказывается, около девяти месяцев тому назад космонавты Ракета и Гелий Солнцевы под наблюдением находящегося вместе с ними доктора Пирожкова произвели зачатие в состоянии невесомости и теперь со дня на день ожидают младенца, который, по мнению доктора Пирожкова, должен быть мальчиком. Они надеются родить его к 67-му съезду партии и уже заранее приготовили ему имя Съездий. Миловидов прочел радиограмму, присланную космонавтами мне: «Любимого предварительного писателя поздравляем с возвращением. Заканчиваем важный биолого-генетический эксперимент. Слава Гениалиссимусу. Солнцев, Солнцева, Пирожков».

Все, что я увидел и услышал на этом митинге, было ужасно интересно, но немного утомительно. Поэтому я обрадовался, когда Смерчев сказал, что основная часть митинга окончена и ему остается только огласить Указ Верховного Пятиугольника.

Поскольку этот указ самым непосредственным образом относился ко мне, я запомнил его слово в слово. Вот что в нем было сказано:

«Учитывая выдающиеся заслуги в деле создания предварительной (докоммунистической) литературы, отсутствие наличия в его действиях преступного умысла, отсталость его мировоззрения и за давностью лет Карцева Виталия Никитича:

1. Полностью реабилитировать и отныне считать полноправным гражданином Московской ордена Ленина Краснознаменной Коммунистической республики.

2. Реабилитированного Карцева произвести в чин младшего лейтенанта литературной службы с присвоением ему звездного имени Классик.

3. В связи с приближающимся столетием со дня рождения Классика Никитича Карцева объявить его юбилей всенародным праздником.

4. Обязать юбилейный Пятиугольник организовать подготовку к юбилею на высоком идейно-политическом уровне, а во всех трудовых коллективах провести торжественные митинги, собрания, читательские конференции с обязательным повторным изучением основных трудов юбиляра».

Указ, естественно, был подписан лично Гениалиссимусом. Тут же под музыку мне были вручены паспорт, военный билет и еще какие-то книжечки и бумажки, которые я запихнул к себе в «дипломат».

Этот удивительный митинг завершился небольшим концертом, который вела девушка в чине лейтенанта. Стайка девочек в марлевых пачках исполнила танец маленьких лебедей. Затем выступили два акробата — братья Неждановы. Пока они носили друг друга на руках, прыгали и делали сальто, к сцене приблизилась полная дама с румяными щеками и заплывшими глазками.

Клянусь, я ее сразу узнал! Я знал ее на протяжении всей своей прошлой жизни от рождения и до отъезда в эмиграцию. Она никогда не менялась, всегда была того же возраста, той же комплекции и в том же самом черном бархатном платье. Сейчас это платье было гораздо короче, чем раньше, значительно выше колен, но зато с таким же, как в прошлом, большим декольте.

Встреча с этой дамой меня так взволновала, что я позабыл о братьях Неждановых и смотрел исключительно на нее. Как только акробаты закончили свой номер, дама в черном поднялась на сцену, стала посередине и положила оголенные руки на свою большую и пышную грудь.

— А теперь, — сказала ведущая, — в исполнении народной артистки Москорепа Зирки Нечипоренко прозвучит украинская народная песня...

— «Гандзя-рыбка»! — закричал я и захлопал в ладоши. Члены президиума посмотрели на меня недоуменно. Я заметил, что как-то удивилась и публика. Оглянулась на меня и певица. Но ведущая не растерялась и одарила меня улыбкой.

— Правильно. «Гандзя-рыбка»! — объявила она.

Зирка Нечипоренко избоченилась, сделала мне глазки и, заламывая руки, жизнерадостно заверещала:

Як на мэнэ Гандзя глянэ,
В мэнэ зразу сэрце въянэ.
Ой, скажите ж, добри люды,
Що зи мною тепер будэ...

Внимая певице, я чувствовал себя одновременно утомленным и растроганным до умиления. Наконец-то, пусть поздно, пришло ко мне оно, заслуженное признание. Ну в самом деле, что я заслужил, чего добился в прошлой жизни? Только того, что меня обзывали хулиганом, алкоголиком, контрабандистом, сексуальным разбойником, прислужником иностранных разведок, лакеем международного империализма, спекулянтом, фарцовщиком, паразитом-клеветником, свиньей под дубом, волком в овечьей шкуре, шавкой, которая лает из подворотни, Иваном, не помнящим родства, Иудой, продавшим Родину за тридцать сребреников. Я сейчас, право, даже затрудняюсь припомнить все оскорбительные эпитеты, которыми наградили меня в прошлом культисты, волюнтаристы, коррупционисты и реформисты. Теперь я был полностью вознагражден за все любовью и широким признанием, встреченным мною у комунян и у членов комписовской делегации, которые тут же стали называть меня моим новым именем Классик (кроме, впрочем, Дзержина Гавриловича, который стал называть меня «дорогуша»). Поэтому, когда мне предложили выступить с ответным словом, я ужасно разволновался.

Я вышел на трибуну, помолчал, всмотрелся в эти красивые, пытливые и одухотворенные лица.

— Здравствуй, племя младое, незнакомое... — начал я и вдруг, не выдержав, разревелся.

Вероятно, сказались волнение, усталость и по-

следствия перепоя. От всего этого со мной случилась самая настоящая истерика. Я одновременно плакал, смеялся и дергался. Я попытался взять себя в руки, напрягся, и вдруг со мной что-то случилось. Тело мое утратило вес, я взмыл к потолку и медленно поплыл над головами.

КАБЕСОТ

Я очнулся от резкого запаха. Кто-то вливал мне в рот холодную воду, кто-то совал в нос клок ваты, пропитанной нашатырным спиртом.

Открыв глаза, я увидел склоненное надо мной лицо Дзержина Гавриловича. Увидев, что я пришел в себя, он наклонился еще ближе и быстро прошептал:

— Только один вопрос: где ключ от сейфа?

Я повел глазами из стороны в сторону и увидел, что мы находимся в какой-то маленькой комнатушке, что-то вроде медпункта, тут же были и все остальные компсы.

— Извините, — сказал я ужасно слабым голосом. — Кажется, я немного переволновался.

— Ничего, ничего, — сказал Смерчев. — Это бывает. Сейчас мы вас отвезем в гостиницу, в самую лучшую нашу гостиницу, там вы успокоитесь, отдохнете и придете в себя.

Кажется, они торопились. Мне неудобно было их задерживать, но у меня в результате всех волнений (ну и время подошло) возникла потребность, вернее — две потребности, и я, слегка, в общем-то, смущаясь, спросил, где у них тут уборная.

— Уборная? — Смерчев наморщил лоб и вопросительно посмотрел на Искрину Романовну.

— Классик Никитич имеет в виду кабесот, — улыбнулась Искрина Романовна.

— Ах, кабесот, — вздохнул Смерчев. — Ну да, действительно, кабесот. Ну как же я сразу не догадался! Ну это понятно, это естественно. Как говорит Гениалиссимус, ничто человеческое нам не чуждо, — сказал он и захихикал.

Искрина Романовна вызвалась меня проводить, и я пошел, захватив с собой свой «дипломат», потому что по социалистической привычке боялся, как бы его не сперли. По дороге Искрина Романовна объяснила мне, что кабесот означает Кабинет Естественных Отправлений. Подведя меня к дверям кабесота (там имелась соответствующая надпись), Искрина Романовна заботливо осведомилась, для какой надобности нужно мне это заведение, для большой или малой. Я покраснел и спросил, чем вызван ее интерес к такой, в общем-то, интимной подробности. Она ответила, что спрашивает не из праздного любопытства, а потому, что хочет помочь мне в оформлении моего отправления. Что это значило, я понял только потом.

Войдя вместе со мной внутрь кабесота, Искрина Романовна обратилась к сидевшей в углу интеллигентного вида даме в белом халате и в очках, привязанных к ушам шнурками от ботинок. Дама выдала мне какой-то бланк из серой бумаги, в котором я должен был указать фамилию, звездное имя, год и место рождения и цель посещения кабесота (в этой графе по указанию Искрины Романовны я написал: «сдача продукта вторичного»). Я расписался, поставил дату, после чего Искрина Рома-

новна вышла, а мне было разрешено приступить к своему делу, для чего тут, прямо перед глазами дамы, имелся длинный ряд необходимых отверстий.

Эта дама меня смущала, потому что я собирался делать не только то, о чем сообщил в анкете. Дело в том, что, если читатель не забыл (я-то не забыл), у меня в кармане должна была быть выданная мне на прощанье стюардессой бутылочка «Смирнофф», которую самое время было употребить. Но когда я отошел к самому дальнему отверстию и, повернувшись к дежурной противоположным боком, сунул руку в карман, я там никакой бутылочки не обнаружил. В другом кармане ее тоже не было. Я даже вывернул оба кармана и посмотрел, нет ли там дырки. Никакой дырки не было.

Мне оставалось только горько усмехнуться. Коммунизм они построили, а по карманам все-таки шарят. Какой-то негодяй воспользовался моментом, когда я был без сознания. Не зря я беспокоился о своем «дипломате». Я так расстроился, что перестал стесняться и, поставив чемоданчик перед собой, приступил к исполнению своего дела под наблюдением дежурной.

Прямо передо мной была давно не крашенная стена со всевозможными рисунками на ней. Там же был начертан химическим карандашом призыв: «Пролетарии всех стран, подтирайтесь!»

Надо сказать, что лично меня эта надпись весьма и весьма покоробила. Я никак не мог подумать, что люди, дожив до коммунизма, останутся способны на такого рода шутки. Но надпись была очень бледная, и я подумал, что, может быть, она сделана не сейчас, а еще в мои времена. И мне стало немного неловко за ушедшее поколение, которое не мог-

ло придумать чего-нибудь поостроумнее. Под надписью я разглядел еще одно слово из трех букв. Оно было написано неразборчиво, или кто-то даже пытался его замазать, но не совсем успешно, потому что сквозь замазку оно упрямо все-таки проступало. Это было слово «СИМ». Разобрав его, я даже засмеялся, чем вызвал удивленный взгляд дежурной.

— Мне смешно, — сказал я ей, — потому что здесь написано «Сим», а у меня был знакомый с таким именем.

Мне показалось, что мое высказывание как-то удивило ее, а может быть, даже и испугало. Она посмотрела на меня как-то странно, оглянулась на дверь и приложила палец к губам.

Я ничего не понял, но подумал, что, по существу, автор этого настенного сочинения прав и его призыву придется последовать.

«А есть ли у них бумага?» — подумал я с тревогой. Во времена развитого социализма, насколько я помнил, в общественных уборных никакой бумаги никогда не бывало, и строителям светлого будущего приходилось преодолевать определенные затруднения. Я с сомнением огляделся и убедился немедленно, что за время моего отсутствия здесь действительно произошли коренные изменения к лучшему. Была бумага! Причем не то что там какие-нибудь обрывки, а целый рулон, намотанный на специально прикрученную к полу вертушку. Вот что значит коммунизм! Правда, бумага была газетная. Но тем более, я подумал, если кто-то газету разрезал, склеивал, значит, забота о человеке в коммунистическом обществе стоит на высоком уровне. Я ухватил бумагу за конец и потянул к се-

бе. И тут увидел такое, к чему, откровенно говоря, был не очень-то подготовлен. Нет, этот рулон не был сделан из газеты. Это сама газета была напечатана в виде рулона.

Не могу даже передать своего потрясения. Отправляясь в дальнее путешествие, я, естественно, готов был к самым разным неожиданностям. Я ожидал узнать здесь о каких-то невообразимых научных достижениях, о высадке космонавтов на Марсе или Юпитере, я предполагал, что облик Москвы значительно изменится. Вознесутся к небесам чудесные светлые здания, между которыми будут сновать необыкновенные летательные аппараты, ну и другие чудеса техники будущего мне было сравнительно нетрудно вообразить. Но я никогда не думал, что люди будущего найдут такой простой до гениальности выход из затруднений с туалетной бумагой.

Разумеется, я стал нетерпеливо разматывать газету, чтобы почерпнуть из нее как можно больше сведений об обществе, в котором я оказался. Газета называлась, как и прежде — «Правда». Около полуметра занимали изображения орденов, которыми газета была награждена за многолетнюю неутомимую деятельность по перевоспитанию трудящихся. Под названием газеты было написано, что она является органом Коммунистической партии государственной безопасности. Так вот что означала виденная мною на одном из лозунгов аббревиатура: КПГБ!

Примерно полтора метра были посвящены Гениалиссимусу. Сначала его большой поясной портрет в полной форме с орденами, украшавшими всю его грудь от подбородка до живота. Под портретом

был помещен краткий медицинский бюллетень о состоянии здоровья Гениалиссимуса. Я сначала встревожился, думая, что с Гениалиссимусом что-то случилось, но потом увидел, что бюллетень содержал положительные сведения, которые публикуются, видимо, каждый день. В бюллетене было сказано, что после плодотворной рабочей ночи Гениалиссимус чувствует себя хорошо. Сердце, желудок, почки, печень, легкие и другие органы функционируют отлично. После выполнения ряда рекомендованных физических упражнений и принятия скромной вегетарианской пищи Гениалиссимус вновь приступил к своему каждодневному титаническому труду на благо всего человечества. Затем шли указы, подписанные Гениалиссимусом. О переименовании реки Клязьма в реку имени Карла Маркса. О награждении орденами и медалями исправительно-трудовых учреждений. Там было написано примерно так: «За большие заслуги в деле перевоспитания трудящихся и внедрение в их сознание коммунистических идеалов наградить...» И дальше следовал длинный список каких-то лагерей общего, строгого и особого режимов, учреждений по надзору и всяких тюрем, среди которых оказалась и Лефортовская Краснознаменная Академическая тюрьма имени Ф. Э. Дзержинского. Печатались различные телеграммы, которые Гениалиссимус в большом количестве рассылал в адреса каких-то съездов, конференций и совещаний. Мне было, в общем-то, некогда, но одну такую телеграмму я прочел. Она была адресована конгрессу каких-то заслуженных доноров, которые, как было сказано, своей благородной и жертвенной деятельностью весьма способствуют выполнению наме-

ченного партией курса на всемерную экономию и всеобщую утилизацию. Вся газета была исключительно интересной. Статья о пользе бережливости. Фельетон о молодых людях, которые носят длинные брюки и юбки и увлекаются буржуазными танцами. Карикатуры, басни, заметка фенолога. Для чтения всего этого у меня времени не было, поэтому я пытался ухватить главное. Например, из статьи «За что мы любим Гениалиссимуса» я узнал, что он является всенародным вождем и занимает пять высших должностей: Генеральный секретарь ЦК КПГБ, Председатель Верховного Пятиугольника, Верховный Главнокомандующий, Председатель Комитета государственной безопасности и Патриарх всея Руси. Из газеты я узнал, что, находясь в каких-то трех кольцах враждебности, страна переживает временные трудности, а ограниченный контингент советских войск временно расположен на территории Афгано-Пакистанской народно-демократической республики.

Узнал я и о том, как вся страна успешно залечивает раны, нанесенные ей в результате недавно закончившейся Великой Бурят-Монгольской войны.

Больше я ничего прочесть не успел, потому что в кабесот вбежала Искрина Романовна.

— Классик Никитич, вы все еще сидите! Там вас люди ждут, а вы здесь газету читаете.

Я ужасно смутился.

— Искрина Романовна, — сказал я, — да что же это вы сюда входите без разрешения? Мне же неудобно с вами разговаривать, находясь в таком положении.

— Что значит неудобно? — сказала она. —

У нас нет таких понятий, удобно или неудобно. А вот люди вас ждут, и это действительно неудобно.

Я все же попросил ее немедленно удалиться и заторопился. Мне жаль было расставаться с газетой, и я с удовольствием прихватил бы ее с собой, но эта противнейшая мадам не сводила с меня глаз, да и девать газету, собственно говоря, было некуда. За пазухой такой рулон не спрячешь, а мой «дипломат» и без того был набит до отказа.

Употребив портрет Гениалиссимуса и часть бюллетеня о его здоровье, я подхватил свой чемоданчик и поспешил к выходу.

В КОЛЬЦАХ ВРАЖДЕБНОСТИ

В очищенном от публики помещении меня действительно дожидались и, кажется, нервничали Смерчев и его заместители.

— Все в порядке? — спросил Смерчев и, не выслушав ответа, сказал, что нам пора ехать в город, мол, и так слишком долго здесь задержались.

Я поинтересовался своим багажом, и мне было сказано, что чемодан я получу в другом месте.

Мы вышли наружу.

Солнце висело в зените и пекло неимоверно. У растрескавшегося тротуара готовилась к отправлению колонна, состоявшая из двух бронетранспортеров (один спереди, один сзади) и четырех парогрузовиков с высокими обшарпанными бортами, на каждом из них крупными буквами было написано: «ДЕЛЕГАЦИОННЫЙ». В кузовах стояли люди, видимо, те самые, которые только что столь сердечно встречали меня внутри аэровокзала. Их

натолкали так плотно, что они выглядели одним многоголовым организмом с отрешенными и ко всему равнодушными лицами. Я помахал им руками, но никто из них даже не попытался ответить, может быть, потому, что им было трудно выпростать руки.

Передний бронетранспортер дал гудок, и вся колонна, выпустив клубы дыма и пара, медленно отчалила от тротуара. В заднем грузовике я увидел прижатую грудью к борту бедную Гандзю-рыбку. Ее страдающее лицо было покрыто крупными каплями пота и выражало покорную терпимость. Мы встретились с ней взглядом, я помахал ей отдельно. Она ответила мне кислой улыбкой и отвернулась, ей явно было не до меня.

Колонна отошла, дым рассеялся, и на открывшейся площади остались несколько бронетранспортеров и десятка полтора легковых машин, частично паровых, частично газогенераторных.

Смерчев мне объяснил, что на паровое и газогенераторное топливо пришлось перейти после того, как культисты, волюнтаристы, коррупционисты и реформисты в результате хищнической эксплуатации природных ресурсов окончательно истощили запасы бакинской и тюменской нефти. Теперь бензиновые двигатели используются только в военной технике и в транспортных средствах особого назначения.

Мы подошли к бронетранспортеру, у открытых дверей которого стоял молодой человек в коротком застиранном комбинезоне и танкистском шлеме.

Он был водителем этого неуклюжего транспорта, и звали его, как ни странно, просто Вася.

Внутри было полутемно и жарко, как в сауне. Устроившись рядом с Васей, я сразу взмок и испу-

гался, что этого последнего путешествия просто не вынесу.

Смерчев и его спутники расположились сзади на длинных деревянных скамейках, протянутых вдоль борта.

Вася задраил бронированную дверь, дал длинный гудок, передвинул какие-то рычаги, и мы отправились в путь.

Проделав какие-то сложные петли на той части дороги, которая называется развязкой, Вася вывел наконец свою боевую машину на широкое шоссе, которое в прежней жизни мне было известно как Ленинградское. С тех пор шоссе заметным образом пришло почти что в полную негодность. Асфальт местами потрескался, местами вздыбился, а кое-где и вовсе отсутствовал. Наш Вася искусно лавировал между всеми колдобинами, но иногда то ли зазевывался, то ли не мог справиться с управлением, мы ухали в какие-то ямы, потом вновь выныривали.

Шоссе с обеих сторон было огорожено сплошным железобетонным забором высотой метра примерно два с половиной, три ряда колючей проволоки были натянуты поверху.

Дорога в целом выглядела пустой и спокойной. Но время от времени из-за забора летели на дорогу довольно-таки приличные куски кирпича или булыжник. Один кирпич попал в крышу нашего бронетранспортера и разбился с таким грохотом, как будто это был артиллерийский снаряд.

— Семиты балуют, — сказал Вася без всяких эмоций.

— Семиты? — переспросил я. — То есть евреи?

— Кто? — удивился Вася.

— А это такой народ был в прошлые времена, —

перегнулся через спинку сиденья и объяснил Васе отец Звездоний. — Очень плохие люди. Они Иисуса Христа распяли. Но у нас их, слава Гениалиссимусу, нет. А вот в Первом Кольце еще попадаются.

Я спросил, что это — Первое Кольцо? Тут же включился Смерчев и сказал, что коммунизм, построенный в пределах Большой Москвы, естественно, вызывает не только восхищение, но и зависть отдельных групп населения, живущего вовне. От этого, понятно, в отношениях комунян и людей, живущих за пределами Москорепа, возникают некоторая напряженность и даже враждебность, имеющие, как точно заметил Гениалиссимус, кольцеобразную структуру. В Первое Кольцо враждебности входят советские республики, которые комуняне называют сыновними, во Второе — братские социалистические страны и в Третье — вражеские, капиталистические.

— В обиходе, — объяснил мне Смерчев, — мы для краткости называем эти кольца Сыновнее Кольцо Враждебности, Братское Кольцо Враждебности, ну и, естественно, Вражеское Кольцо Враждебности. А еще чаще мы говорим просто: Первое Кольцо, Второе и Третье.

— А вот насчет этих семитов, — спросил я, — если они не евреи, то кто же?

— Ну, во-первых, — улыбнулся Смерчев, — не се-, а симиты, а во-вторых, это такие люди, что о них даже не стоит и говорить.

— Ну, кому стоит, кому не стоит, — с сомнением заметил Дзержин, но дальше мысль свою не развил.

Наш транспортер двигался небыстро. То ли дорога была забита, то ли что-то еще, но мы довольно часто останавливались, а потом со скрежетом кати-

ли дальше. Бывшая передо мною смотровая щель не давала возможности широкого обзора, а на стене, ограждающей нашу дорогу от Первого Кольца, я видел бесчисленные портреты Гениалиссимуса, чаще даже не целиком, а отдельные части. То бороду, то сапоги, то лампасы.

Я видел много всяких лозунгов, призывов и здравиц, среди которых были давно мне известные, но были и новые. Вроде, допустим, такого:

СОСТАВНЫЕ НАШЕГО ПЯТИЕДИНСТВА:
НАРОДНОСТЬ, ПАРТИЙНОСТЬ,
РЕЛИГИОЗНОСТЬ, БДИТЕЛЬНОСТЬ
И ГОСБЕЗОПАСНОСТЬ!

Я спросил Смерчева, с каких это пор религиозность считается совместимой с коммунистической идеологией. Вмешался отец Звездоний и сказал, что привлечение к строительству коммунизма религии было одной из задач, поставленных Гениалиссимусом во время Августовской революции. Вульгаризаторы в прошлом не считались с огромными воспитательными возможностями церкви, а на верующих оказывали постоянное давление. Теперь церковь считается младшей сестрой партии, ей даны огромные права и возможности, с одним только условием: церковь проповедует веру не в бога, которого, как известно, нет, а в коммунистические идеалы и лично в Гениалиссимуса.

Еще я спросил, зачем у них существуют органы госбезопасности (или БЕЗО, как они говорят), если сама партия, судя по ее теперешнему названию, занимается госбезопасностью.

— Нет ли в этом какого-то противоречия? — спросил я.

— Никакого противоречия, — решительно возразил Смерчев. — Партия является руководящей и направляющей силой нашего общества, а БЕЗО — это служба. Понятно?

Сейчас, вспоминая этот свой первый день в Москорепе, я думаю, что, хотя на меня сразу обрушилось столько противоречивых и совершенно неожиданных сведений, я довольно скоро начал кое в чем разбираться. Я, например, сам без посторонней помощи догадался, что слово «комсор» означает «коммунистический соратник», «компис» — «коммунистический писатель», приветствие «слаген» расшифровывается как «Слава Гениалиссимусу», ну, а почему они вместо «О боже!» говорят: «О Гена!» — это, по-моему, и объяснять нечего. Но один вопрос для меня был существенным: каким образом соблюдается в Москорепе основной принцип коммунизма: от каждого по способностям, каждому по потребностям. Я спросил об этом Смерчева, и он сказал, что, конечно, именно этот принцип самым непосредственным образом и соблюдается.

— Значит, — спросил я, — каждый человек может войти в любой магазин и совершенно бесплатно взять там все, что хочет?

— Да, — сказал Смерчев, — каждый человек может войти куда угодно и выйти оттуда совершенно бесплатно. Но никаких магазинов у нас нет. У нас есть прекомпиты, иначе говоря, предприятия коммунистического питания, вроде бывших столовых. Они располагаются в меобскопах, то есть местах общественного скопления. Кроме того, мы имеем широкую сеть пукомрасов — пунктов коммунистического распределения по месту служения комунян. Там каждый комунянин получает все, в

чем имеет потребность, в пределах полного удовлетворения.

— Понятно, — сказал я. — А кто определяет его потребности? Он сам?

— Чистейшей воды метафизика, гегельянство и кантианство! — радостно воскликнула Пропаганда Парамоновна.

Но Смерчев бросаться ярлыками не стал, хотя и сказал, что вопрос мой ему кажется просто странным.

— Ну зачем же самому человеку определять свои потребности? Для этого он, может быть, недостаточно подготовлен. Может быть, у него какие-нибудь, так сказать, несбыточные желания, которые он считает потребностями. Может, он луну с неба захочет взять. Нет, так нельзя. Для определения потребностей каждого у нас повсюду существуют Пятиугольники, как Верховный, так и местные. В них входят наши партийные, религиозные активисты, работники БЕЗО и другие. Прежде чем определить, какие у того или иного человека потребности, надо выяснить его индивидуальные физические и моральные особенности, его вес, рост, идейные взгляды, отношение к труду, степень участия в общественной жизни. Естественно, что у человека, который хорошо трудится, выполняет производственные задания, ведет общественную работу, прилежно изучает труды Гениалиссимуса, у такого человека, понятно, потребности гораздо выше, чем у какого-нибудь лентяя или нарушителя общественной дисциплины.

— Ну, нарушителей у нас, в Москорепе, практически не бывает, — сказал Дзержин Гаврилович.

— Нарушителей не бывает, — согласился Смер-

чев. — Но все-таки трудятся не все одинаково. Одни выполняют план на двести процентов, а другие только на сто пятьдесят, и считать, что у них одинаковые потребности, было бы просто, я бы сказал, даже несправедливо.

ВТОРИЧНАЯ ПРОВЕРКА

Если я правильно определил, то примерно на скрещении нашего шоссе со старой, построенной еще в мое время Кольцевой дорогой движение замедлилось. Приложившись к смотровой щели и жмурясь от разъедавшего глаза пота, я увидел, что полотно дороги здесь было широкое и на нем в несколько рядов выстроились длинные очереди паро- и газомобилей, причем подбирались, видимо, по сортам: крупные бронетранспортеры в одном ряду, помельче в другом, а совсем мелкие легковушки в третьем.

Однако наша полоса по-прежнему оставалась свободной. Я сначала подумал, что нам просто повезло, но потом догадался, что эта полоса предназначена, очевидно, не для всех, а может быть, только для таких важных персон, как я.

Впрочем, я тут же понял, что бывают особы и поважнее. Неожиданно раздался дикий вой. Вася немедленно кинул нашу тяжелую колымагу на обочину, и мы стали на самом краю, едва не свалившись в кювет.

Между тем вой быстро нарастал, и я увидел транспорт, знакомый мне по прошлой жизни. Мимо нас на огромной скорости, окруженная эскортом мотоциклистов и выкрикивая что-то по гром-

коговорителю, пронеслась с полыхающими мигалками длинная вереница автомобилей старой конструкции. Первая и вторая машины были похожи на «Зилы» моего времени, но второй «Зил» был соединен с идущим следом за ним черным автобусом красными и желтыми шлангами. За автобусом шел еще один «Зил» с торчащими в разные стороны стволами пулеметов.

При проезде этой кавалькады все мои спутники перезвездились, а Смерчев вздохнул и шепнул мне благоговейно:

— Сам проехал!

— Кто сам? — переспросил я. — Гениалиссимус?

При этих моих словах Вася громко засмеялся, а Смерчев ответил очень серьезно:

— Ну что вы! Гениалиссимус сам не ездит. Это председатель Редакционной комиссии.

Мы двинулись дальше. Вскоре снова остановились, и Смерчев сказал, что нам придется выйти для исполнения неких формальностей.

Я вылез из этой душегубки, обливаясь потом и еле живой. При мне был «дипломат», а огромный мой чемодан был поручен попечению Васи. Утираясь платком, я увидел, что мы находимся перед не очень высоким, но длинным зданием; небольшие окна плотно занавешены, а у железной двери стоят два автоматчика. Тут же была и вывеска:

ПУНКТ ВТОРИЧНОЙ ПРОВЕРКИ

Перед входом пыхтел большой паровик с прицепом, с заднего борта которого свешивались сырые сосновые доски. Одно колесо прицепа было снято, и два человека в коротких промасленных комбине-

зонах трудились над тоже снятой рессорой: один держал большое зубило, другой колотил по нему кувалдой. При этом они вели не вполне понятный мне разговор. Тот, который держал зубило, неестественно вывернув шею, взглянул из-под длинного козырька на небо и сказал:

— Видать, сегодня обратно кина не будет.

Другой тоже вывернул шею и согласился:

— Да, небо чересчур ясное.

Сделав такое заключение, он промахнулся и ударил держателя зубила по пальцу. Тот вскочил, закрутился волчком и на знакомом мне до последнего слова предварительном языке произнес такую красочную тираду, что сердце мое не могло не порадоваться.

Мои спутники переглянулись. Вася хмыкнул, Смерчев насупился, женщины сделали вид, что не слыхали, а отец Звездоний пробормотал что-то осуждающее и перезвездился.

Тем временем Дзержин подошел к автоматчикам, один при виде его взял на караул, а другой открыл дверь.

Просторное помещение за дверью напоминало холл какой-то большой гостиницы, где ожидается важная, может быть, даже международная конференция. Справа располагался ряд столиков с выставленными на них буквами русского алфавита.

Мы со Смерчевым подошли к столику с буквой «К». Женщина-подполковник, не глядя на меня, записала фамилию, звездное имя, отчество и спросила год рождения.

— Тысяча девятьсот сорок второй, — сказал я.

— Тысяча девятьсот сорок... — стала она писать и тут же взорвалась. — Вы что тут дурака ва-

ляете? Вы думаете, нам тут делать нечего? Я из-за вас целый лист бумаги испортила. Я напишу по месту вашего служения, чтобы с вас за эту бумагу взыскали.

Она уже собралась выкинуть лист в корзину, но Смерчев остановил ее и что-то шепнул ей на ухо.

Она слушала хмуро, затем на лице ее отразилось крайнее изумление, она посмотрела на меня и всплеснула руками.

— О Гена! Неужели это вы! То-то я смотрю, лицо вроде знакомое. Да я же вас только что по телевизору видела. Надо же! А как вы выглядите! Неужели сто лет! На вид больше шестидесяти никак не дашь. Небось в Третьем Кольце одними витаминчиками питаетесь.

— В Третьем Кольце, — заметила, подойдя, Пропаганда Парамоновна, — трудящиеся питаются исключительно вторичным продуктом.

— Ну да, да, конечно, — поспешила согласиться с ней регистраторша. — Конечно, вторичным. Но у них он, я слышала, витаминизирован.

После того как я заполнил короткую анкету, мне было предложено пройти в дальний угол, где стоял длинный оцинкованный стол, на каких, по моим представлениям, патологоанатомы разделывают покойников. На этом столе в роли покойника находился мой чемодан, уже раскрытый и отчасти даже распотрошенный. Вскрытие производил крупный и довольно-таки упитанный майор таможенной, как я понял, службы.

Майор узнал меня сразу. Говорил он со мной очень заискивая и многократно извиняясь.

— Прошу прощения, виноват, очень извиняюсь за беспокойство, в принципе мы вас ни в коем

случае не стали бы проверять, но исключительно по незнанию вы можете провезти что-нибудь такое, что, понимаете, извините.

И еще несколько раз извинившись, сообщил, что в моем багаже обнаружены некоторые предметы, к ввозу в Москореп не разрешенные.

— Например? — спросил я, стараясь держаться невозмутимо.

— Например, вот это, — сказал таможенник и, взяв мой фотоаппарат «Никон», тут же его раскрыл.

— Что вы делаете! — закричал я. — Вы же засветили пленку! Разве у вас нельзя фотографировать?

— Что вы! Что вы! — испугался майор. — Ну конечно же, можно. Особенно вам. Вам можно делать все, кроме того, что нельзя. Пожалуйста. — Он пододвинул ко мне аппарат. — Фотографируйте на здоровье. Я только вот это вынул, а этим вы можете пользоваться сколько угодно.

— Вы что, ненормальный? — спросил я. — Что я буду делать этим без этого? Гвозди забивать? Или колотить орехи?

— Ради Гениалиссимуса! — Он приложил руку к груди. — Вы с этой вещью можете делать все, что вам угодно в пределах ваших потребностей. Но у нас, извиняюсь почтительно, фотографическими аппаратами пользоваться разрешается, а светочувствительными элементами — нет.

С этими словами он тут же выкинул на стол еще шесть комплектов пленки, которые я перед отъездом купил в Кауфхофе.

— Интересно, — сказал я, — что за глупые правила. У вас что же, в Москорепе вашем вообще ничего нельзя фотографировать?

Таможенник недоуменно посмотрел на Смерчева и опять на меня.

— Извините, не понял, — сказал он. — У нас в Москорепе можно фотографировать что угодно, где угодно и кого угодно. Но только без пленки.

— Ну как же так? — сказал я растерянно. — Я видел вашу газету. И там фотографии. Они же делались не без пленки.

— Совершенно справедливое замечание! — захихикал таможенник. — Но снимки в газетах делаются для государственных потребностей, а у вас потребности личные. Они знают, что можно заснять на пленку, а вы, я ужасно извиняюсь, можете и не знать. И по незнанию можете отобразить какие-нибудь такие, понимаете ли, теневые стороны нашей действительности и тем самым привлечь внимание службы БЕЗО. Зачем же вам это нужно?

При упоминании службы БЕЗО я оглянулся на Сиромахина. Он стоял как раз позади меня.

— Уступите ему, дорогуша, — сказал мне Дзержин Гаврилович. — Лучше уступить часть и сохранить целое, чем потерять все.

Считая спор оконченным, таможенник отодвинул пленки в сторону и продолжил свою работу. Мне пришлось тут же узнать, что я могу сколько угодно пользоваться своим магнитофоном, но не кассетами и не батарейками. Батарейки были вынуты и из моего портативного приемника фирмы «Грюндиг». Насчет имевшихся у меня блокнотов и шариковых ручек майор совещался с кем-то по телефону, и мне эти предметы были великодушно оставлены. Но после этого майор вытащил на свет божий флоппи-диск с симовскими глыбами.

— А это что?

— Это? — удивился я. — Разве вы не знаете?

Переглянувшись с генералами, таможенник пожал плечами.

— Нет, такого никогда не видел.

— Но компьютеры у вас есть?

— Конечно, есть, — сказал Смерчев. — Но у нас не такие, у нас большие компьютеры.

— Но это же не компьютер, — попытался я объяснить. — Это пленка для компьютера.

— А для чего она нужна? — спросил таможенник.

Я сказал, что пленку вкладывают в компьютер и на нее записывают всякие там программы или тексты.

— А на этой что записано? — спросил таможенник и стал рассматривать флоппи-диск на просвет, очевидно, надеясь разглядеть там какие-то буквы.

— А на этой записаны романы одного предварительного писателя. Да вы наверняка его знаете. Его фамилия Карнавалов.

— Карнавалов? — таможенник вопросительно посмотрел на Смерчева, который ответил ему пожатием плеч.

— Как? — удивился я. — Неужели вы никогда не слышали фамилию Карнавалов?

Таможенник смутился, Коммуний Иванович покраснел.

— Ну как же, — сказал я, — неужели вы даже в предкомобах Карнавалова не проходили?

Оказывается, нет, не слышали. И не проходили.

«Надо же! — подумал я. — Да кто бы мог себе это представить! Я в свое время думал, что люди в будущем могут забыть кого угодно, но только не Симыча. Бедный Симыч! Стоило ли, ворочая глы-

бы, так напрягаться, чтобы через каких-то шестьдесят лет они стали совершенно безвестными?»

Ну, а раз так, что ж мне бороться за вещь, которая со временем утратила всякую цену? И когда таможенник отложил флоппи-диск в сторону, я не стал возражать. В конце концов, я не для того сюда приехал, чтобы раскидывать глыбы, которые никому не известны. Лучше уж я дам почитать кому-нибудь свои книги.

Тут как раз до моих книг и дошло. Они были у меня уложены на самом дне чемодана. Таможенник поинтересовался, что это за книги, и я не без гордости сказал, что это мои собственные книги.

— Ваши собственные? — переспросил он.

— Ну да, — сказал я. — Мои собственные. А что вас удивляет?

— Видите ли, — стал помогать мне Коммуний Иванович, — Классик Никитич...

— Слушайте, — перебил я его, — да перестаньте же вы называть меня этим идиотским именем. Если уж вы вообще не можете обойтись без подобных кличек, называйте меня просто Классик, но без всяких Никитичей.

В другое время я мог бы и промолчать. Но тут я был очень уж раздражен всеми этими странными и непонятными церемониями, от которых я за время своей жизни в диком капиталистическом обществе немного отвык.

— Хорошо, хорошо, — сразу же согласился Смерчев. — Если вы не хотите отчества, мы будем называть вас просто Классик. Я только хотел сказать, дорогой Классик, что в нашем обществе нет частной собственности. У нас все принадлежит

всем. И эти книги тоже не могут считаться вашими собственными.

Я был ужасно измучен. У меня болела голова. От усталости, от жары, от того, что я не выспался и целую вечность не похмелялся. И от всех противоречивых впечатлений этого дня.

— Вы понимаете, — сказал я Смерчеву, — что бы вы ни говорили, эти книги — мои собственные. Не только потому, что они принадлежат мне как вещи. Но и потому, что я их сам собственной своею вот этой рукой написал. — Для убедительности я даже потряс рукой у самого смерчевского носа. — Надеюсь, вы согласны, что эта рука моя собственная и принадлежит мне, а не всем.

— А вы, оказывается, собственник! — кокетливо заметила и покачала головой Пропаганда Парамоновна.

— Слушайте, — взмолился я, обращаясь одновременно и к таможеннику, и ко всем компсам. — Что вы меня с ума сводите? Почему вы не разрешаете взять с собой мои книги? Я же не собираюсь торговать ими или как-то на них наживаться. Но может быть, мне захочется их кому-нибудь подарить.

— Вы собираетесь их распространять? — в ужасе спросила Пропаганда Парамоновна.

— Что значит распространять? — возразил я. — Не распространять, а дарить. Хотите, я вам подарю экземпляр?

— Мне? Зачем? — отшатнулась Пропаганда в испуге. — Мне это не надо, я на предварительном языке вообще не читаю.

Я видел, что и они все взвинчены и возбуждены. Разговор наш давался им трудно. Но ведь и я

не железный. Тем более что день у меня был такой тяжелый. Не выдержав всей этой глупости, я просто сел на пол, обхватил голову руками и заплакал. Надо сказать, это со мной нечасто бывает. Я с детства не плакал, а эти комуняне за один день довели меня до слез дважды.

Я видел, Смерчев толкнул в бок Искрину Романовну, и она кинулась ко мне.

— Ну что вы! Что с вами! Ну зачем же плакать? Ну успокойтесь же! Не надо плакать. Не надо, миленький, дорогой, Клашенька...

Клашенька? Я понял, что это уменьшительное от слова «классик». И вдруг мне стало так смешно, что у меня плач сам собой перешел в хохот. Я не мог удержаться, давился от смеха, катался по полу. Все компсы растерянно топтались надо мной, и кто-то из них сказал что-то про доктора.

— Не надо никакого доктора, — сказал я, поднимаясь и отряхивая колени. — У меня уже все прошло. Я все понял и ни на что не претендую. Вы можете выкинуть все мои книжки хоть на помойку, только объясните, почему вы их так боитесь? Вы же сами мне сказали, что читали их в предкомобах.

— Не читали, а проходили, — ласково улыбнулся Смерчев. — То есть некоторые знакомились и подробнее, но другим учителя вкратце пересказывали затронутые вами темы и идейно-художественное содержание.

— Ага! — понял я разочарованно. — Вы мои книги проходили. Но читать их запрещено, как и раньше.

— Ни в коем случае! — решительно возразил Смерчев. — Ну зачем же вы так плохо о нас думае-

те? У нас ничего не запрещено. Просто наши потребности в предварительной литературе полностью удовлетворены.

— Тем более что идейно предварительная литература часто была очень не выдержанна, — заметила Пропаганда Парамоновна. — В ней было много метафизики, гегельянства и кантианства.

— И много даже кощунства против нашей коммунистической религии, — поддержал ее молчавший до того отец Звездоний.

— И метод социалистического реализма, которым пользовались предварительные писатели, — сказала Пропаганда Парамоновна, — партия давно осудила как ошибочный и вредный. Правилен только один метод — коммунистического реализма.

— Да и вообще, — сказал Смерчев, — вы должны понять, дорогой наш Классик, что за тот исторический промежуток, который отделяет наше время от вашего, наша литература настолько выросла, что по сравнению с ней все писания ваши и ваших современников выглядят просто жалкими и беспомощными.

— Да, да, да, да, — сказал Звездоний, и все они грустно закивали головами.

— Ну все-таки не все, — опять защитил меня Сиромахин. — У него есть одна замечательная книга, которая по своему уровню приближается даже, я бы сказал, к ранним образцам компреализма. К сожалению, — повернулся он ко мне, — вы ее с собой почему-то не привезли. Но мы ее найдем...

— И поправим, — подсказал Смерчев.

— Ну да, немножко поправим и, может быть, даже переиздадим.

О какой книге шла речь, я не понял. Но спра-

шивать мне уже ничего не хотелось. И бороться не хотелось. Поэтому, когда у меня изымали планы Москвы, майки с надписью «Мюнхен» и жвачки, я даже не стал спрашивать, почему, мне все надоело до чертиков.

И когда мне дали расписаться под списком изъятых вещей, я подмахнул его, не глядя.

НА ТРОИХ

Но это было не последнее мое испытание. После таможенного досмотра мы двинулись дальше и вскоре приблизились к двери с вывеской:

ПУНКТ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Смерчев извинился и сказал, что санитарная обработка совершенно мне необходима, поскольку в Москорепе принимаются самые строгие меры против завоза из колец враждебности эпидемических заболеваний.

Искрина Романовна предложила взять на хранение мои ценные вещи, и я отдал ей сильно полегчавший «дипломат», часы и бумажник.

Компсы остались за дверью, а я вошел в помещение, которое оказалось предбанником с длинными деревянными скамейками. На одной из них в углу раздевались уже виденные мною шоферы паровика-лесовоза и вполне дружелюбно разговаривали между собою на чистейшем, без всяких примесей предварительном языке, поминутно поминая Гениалиссимуса и его родственников по материнской линии.

Большой палец одного из шоферов был перевязан черной изоляционной лентой.

Глядя на шоферов, я тоже стал раздеваться. Как ни странно, несмотря на невыносимую жару снаружи, здесь было просто холодно, мое тело сразу стало синеть и покрываться гусиной кожей.

Женщина в белом халате скучала за деревянной перегородкой.

Шоферы сдали ей свою одежду, получили взамен каждый по деревянной шайке и пошли дальше. Я тоже подошел к тетке, сдал белье и получил шайку. Она была мокрая, скользкая и без ручки.

В следующей комнате я встретил женщину с большой машинкой, созданной, вероятно, для стрижки овец, а не людей. Женщина предложила мне постричься. Я сел, прикрываясь тазиком, и попросил подстричь меня под полубокс. Она, ничего не ответив и ничем меня не накрыв, тут же провела мне широкую просеку посреди темени.

— Мадам! — вскочил я. — Что это такое вы делаете? Да вы с ума сошли! Я же просил сделать мне полубокс.

Она сначала даже не поняла, чего я от нее хочу, а потом объяснила, что все граждане Москорепа стригутся исключительно только под ноль в порядке борьбы с ненужными насекомыми, а волосы сдаются на пункты вторсырья для дальнейшей утилизации.

Потерять ни с того ни с сего мою замечательную прическу было обидно, но, как говорят, снявши голову, по волосам не плачут.

Я проследовал дальше и вскоре оказался перед дверью с вывеской:

ЗАЛ ПОВЕРХНОСТНОГО ПОМЫВА

Сбоку от вывески был помещен документ, который назывался «ПРОЧТИ И ЗАПОМНИ». Это были правила поведения для моющихся. Они были составлены в возвышенных выражениях и сопровождены эпиграфом из какого-то якобы произведения Гениалиссимуса: «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и тело».

Правила начинались с сообщения об огромной и неустанной заботе, которую Гениалиссимус и руководимая им партия изо дня в день проявляют по отношению к гражданам коммунистической республики. Благодаря этой заботе практически каждый комунянин получил возможность полностью и регулярно удовлетворять свои потребности в поверхностном помыве.

Однако, как постоянно учит Гениалиссимус, бережливость должна войти в привычку, должна стать второй, а то и первой натурой каждого комунянина. Приступая к помыву, следует избегать расточительности и расходовать воду лишь в пределах естественной потребности, которую вычислить совсем нетрудно. Для этого надо умножить свой вес в килограммах на рост в сантиметрах и полученное произведение разделить на коэффициент 2145. В результате получим соответствующее реальным потребностям индивидуума количество шайкообъемов воды горяче-холодной. Я несколько обеспокоился, что, прежде чем приступить к поверхностному намыву, мне придется произвести непосильные для меня математические вычисления, но приведенная тут же таблица меня успокоила, там было все подсчитано заранее. При моем росте 165 санти-

метров и весе 78 килограммов моя потребность удовлетворялась ровно шестью шайко-объемами.

Правила также указывали, что потребителям пунктов помыва запрещено:

1. Мыться в верхней одежде.
2. Играть на музыкальных инструментах.
3. Отправлять естественные надобности.
4. Портить коммунистическое имущество.
5. Категорически запрещается разрешать возникающие конфликты с помощью шаек и других орудий помыва.

Читая инструкцию, я краем глаза заметил, что мимо меня сначала прошли двое мужчин, потом одна женщина, потом целая семья — муж, жена и мальчик, потом еще две женщины, все, естественно, голые. Я все же как-то заколебался и спросил подошедшего толстяка, где здесь мужское отделение.

Тот удивился:

— А ты, малый, из какой деревни приехал?

— Из Штокдорфа, — сказал я.

— Из Шатурторфа?

— Не из Шатурторфа, а из Штокдорфа, — поправил я.

— Такого названия я что-то вроде и не встречал, — сказал толстяк. — А где это? Далече?

— Да так, — сказал я. — Лет шестьдесят отсюда.

Он посмотрел на меня совсем как на идиота и сказал, что разделение различных предприятий на мужские и женские еще существует только в кольцах враждебности, а здесь полное равенство и разница между женщиной и мужчиной практически стерта.

Я невольно скосил глаз и убедился, что у толстяка разница и в самом деле основательно стерта.

Изнутри зал поверхностного намыва ничего особенно интересного собою не представлял. Баня как баня. Длинные каменные лавки, краны вдоль стен, пар, гул голосов. Мужчины и женщины мылись вместе, меня это удивляло только потому, что происходило в Москве. Но такое свободное смешение полов мне приходилось видеть и за шестьдесят лет до этого еще в Третьем Кольце.

Зал был большой, с колоннами. На одной из колонн я увидел стрелку и под ней надпись: «Удовлетворение сексуальных потребностей за углом». Все-таки сколько удивительных перемен произошло за время моего отсутствия! Между прочим, ниже упомянутой надписи гвоздем было нацарапано слово «СИМ». Я опять вспомнил Симыча и подумал, что хорошо бы его завести сюда, в эту смешанную баню, чтобы он посмотрел, до чего эти заглотчики только додумались. Представляю, как бы он тут плевался.

Я прошел несколько шагов в направлении, указанном стрелкой, и передо мной возникли из пара те самые шоферы, которых я уже дважды видел. Держа в руках пластмассовые стаканчики с чем-то темным, они, явно с низменными целями, наседали на щуплую девицу, которая, как ни странно, была почти одета. Причинное место у нее было прикрыто клеенчатым лепестком, а на сосках были какие-то звездочки. Несмотря на игривые цели, лица у всех троих были сердитые.

Я хотел пройти мимо, но шофер с перевязанным пальцем остановил меня вопросом:

— Отец, третьим будешь?

В другой раз я на обращение «отец» мог бы

обидеться, а то и в рожу заехать. Но сейчас я обрадовался, узнав, что святая традиция пить на троих дожила вместе со мной до коммунизма. Аромат болтавшейся в стаканчиках жидкости достигал моих ноздрей, но, прямо сказать, был не очень-то аппетитен. Но дело не в аромате. От одного только запаха того, что мне приходилось лакать, лошади падали в обморок. И сейчас я выпил бы хоть керосин. Но я до того устал, что от одной рюмки чего угодно мог бы просто свалиться и не встать. Поэтому я себя пересилил и, приложив руку к груди, сказал шоферам наставительно:

— Извините, ребята, завязал. Сам не пью и вам не советую. Алкоголь разрушает печень и влияет отрицательно на умственные способности.

Шоферы переглянулись.

— Да мы вроде тоже не алкаши, — неуверенно сказал перевязанный. — Мы же тебя не пить приглашаем.

— А чего делать? — спросил я удивленно.

Мужики опять переглянулись, а девица хихикнула.

— Надо же! — озадаченно сказал перевязанный. — Чего делать, говорит. Ты что, не знаешь, что вот с такими-то, — он указал на девицу, — делают? Пойдем за угол, удовлетворимся.

— Втроем с одной женщиной? — Я не верил своим ушам. — Да это же свальный грех! Да как же можно допускать такое безобразие и бесстыдство? Ведь вы живете при коммунизме, за который люди гибли под пулями, сгорали на кострах, замерзали в болотах!

Несмотря на усталость, я вкратце рассказал им об Октябрьской революции, о Великой Отечест-

венной войне, о блокаде Ленинграда и строительстве разных крупных сооружений.

— И ничем этим вы не дорожите, — сказал я и, плюнув, двинулся дальше.

— Слушай, папаша! — догнал меня перевязанный. — Ты чего это раскипятился? Псих, что ли? Да какие же мы развратники? Это не мы, это девки эти развратницы. Раньше они мыло это, — он показал на стаканчик, — по полбанки брали. Это было еще ничего. И потребность удовлетворишь, и помоешься. А теперь меньше трех банок не берут, вот и приходится скидываться.

Мне стало неловко оттого, что я чего-то здесь не понял. Я извинился, но сказал, что в их общем деле участвовать, к сожалению, не могу, потому что, во-первых, жене своей обычно не изменяю, а во-вторых, мыла нет, забыл в чемодане. На что шофер мне сказал, что мыльные потребности удовлетворяются здесь же, и указал на какую-то будку в углу, где голая толстуха выдавала подходившим стаканчики. Мы с моим новым знакомым подошли, я получил свой стаканчик, понюхал и отдал шоферу.

Уж как он меня благодарил!

— Ты, отец, — сказал он, — я вижу, приезжий и в нашей жизни не разбираешься. Так если чего будет нужно, обращайся прямо ко мне. Я в седьмой комколонне работаю, меня там все знают. Мое новое имя Космий, но все меня Кузей кличут, по-старому. Так что, если тебе чего нужно, кардан какой или кривошип, приходи прямо в колонну, я тебе все, чего хочешь, достану.

Поблагодарив его, я пошел искать воду. Везде на стенах и на колоннах были несмывающиеся надписи такого примерно рода:

ВОДА — ИСТОЧНИК ЖИЗНИ
ВОДА — НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ
КТО РАСТОЧАЕТ ВОДУ, ТОТ ВРАГ НАРОДА
ОДНИМ ШАЙКО-ОБЪЕМОМ МОЖНО
НАПОИТЬ ЛОШАДЬ

А приблизившись к стенке с кранами, я увидел плакат, с которого кто-то, похожий на красноармейца времен Гражданской войны, наставил на меня палец со словами: «Ты израсходовал лишнюю шайку!»

— Не я, — сказал я. — Я вообще еще ни одной шайки не брал.

Конечно, красноармеец был всего-навсего нарисован, но выглядел так натурально, что под его взглядом я невольно ежился. Потребность свою я удовлетворил лишь на треть, то есть из положенных мне шести шаек использовал только две. Я подумал, что за такую экономию мне, может быть, даже полагается какой-нибудь орден. Впрочем, ордена я требовать не стал и пошел к выходу.

На выходе мне вернули мою одежду. Она была горячая после прожарки. Пуговицы пиджака расплавились. Но молния на брюках осталась цела, она у меня металлическая.

КЛЯТВА

В просторном и светлом зале Дзержин Гаврилович Сиромахин поздравил меня с легким паром. Он был один. Остальные, он сказал мне, уехали.

— Ну, а теперь, дорогуша, последняя формальность — и едем отдыхать.

Мы вошли в дверь с вывеской «Кабинет удов-

летворения ритуальных потребностей». Я испугался, что там опять окажется что-нибудь неприличное, но ошибся.

За длинным столом на стульях с высокими спинками, под большим портретом Гениалиссимуса сидели три толстые тетки, все три генеральского звания. Видимо, они представляли собою какой-то суд. Вид у них был достаточно строг, но при этом старшая (она сидела посередине) даже сказала мне уже слышанный мною комплимент, что я для своего возраста хорошо сохранился.

Впрочем, она тут же посуровела и объявила мне, что, вступая на основную священную территорию Москорепа, я должен произнести клятву гражданина коммунистической республики.

— Повторяйте за мной! — приказала она.

Всю клятву я, конечно, не помню. Помню только, что начиналась она с благодарности Гениалиссимусу за оказанную мне честь. Как коммунистический гражданин, я должен был соблюдать строжайшую дисциплину на производстве, в быту и общественной жизни, выполнять и перевыполнять производственные задания, бороться за всемерную экономию и всеобщую утилизацию, свято хранить государственную, общественную и профессиональную тайны, тесно сотрудничать с органами государственной безопасности, сообщая им обо всех известных мне антикоммунистических заговорах, действиях, высказываниях или мыслях.

Почти все предыдущее я повторял послушно, но тут остановился, посмотрел на судей.

— Вы знаете, — сказал я, — это как-то не того. Я, в общем-то, доносить не умею.

— Как это не умеете? — удивилась главная судья. — Вы, я слышала, даже романы писать умеете.

— Ну да, — сказал я, — романы-то это что. Романы все-таки не доносы.

— Что вы! — успокоила меня она. — Доносы писать гораздо проще. Ничего такого особенного не надо выдумывать, а чего услышали, то и доносите. Кто где какой анекдот рассказал, кто как на него реагировал. Это же очень просто.

— Для вас, может быть, просто, — вспыхнул я, — а для меня нет. Я и в прошлой жизни стукачом не был, а теперь не буду тем более.

Все три женщины переглянулись.

— Дзержин Гаврилович, — сказала сердито старшая, — что это вы к нам такого зеленого комсора приводите? Почему вы его предварительно не обработали? Вы уж сначала поговорите с ним, а потом, когда уговорите, тогда мы его послушаем снова.

Я видел, что Дзержин смущен. Когда мы опять оказались в зале, он схватил меня за руку и поволок куда-то в угол.

— Вы с ума сошли, дорогуша! — зашептал он, боязливо оглядываясь. — Что же это вы такое со мной делаете? Разве можно такие слова говорить?

— А что я такого сказал? — спросил я.

— Неужели вы даже не понимаете, что сказали? Вы демонстративно отказались сотрудничать с органами и даже произнесли какое-то слово «стукач». Я даже не знаю, где вы его слышали. Это устарелое, это гадкое слово. У нас здесь, конечно, полная свобода в пределах разумных потребностей, но за такие слова не только в кольцах враждебности, а

и у нас наказывают. Так что давайте вернемся туда, но без фокусов.

— Нет, — сказал я твердо. — Нравится вам или не нравится, но я прибыл сюда вовсе не для того, чтобы на кого-то стучать.

— О Гена! — пробормотал он. — Глубоко же в вас сидят социалистические предрассудки. Неужели трудно повторить какие-то слова! Это же не больше чем ритуал. Поклянетесь, что будете доносить, а сами не будете. Или будете писать ложные доносы и сдавать лично мне. А я их куда-нибудь под сукно.

— Ну знаете! — возмутился я. — За кого же вы меня принимаете? Если у вас такой коммунизм, что без доносов никак нельзя, то я вообще в вашей Московской репе не желаю оставаться ни одного лишнего часа. Я немедленно возвращаюсь к себе в Штокдорф.

— Ну и езжайте, — сказал он, вдруг рассердившись. — Сейчас я прикажу вернуть вам ваши вещи, и можете возвращаться. Если вам неинтересно посмотреть, как мы живем... А собственно говоря, вам это и не нужно. Вы привыкли свои романы из головы выдумывать, вот и про нас можете насочинять разных нелепиц и небылиц. Что ж, нас этим не удивишь. Про нас много всякой клеветы наворочено. На одну больше, на одну меньше...

Он отвернулся к окну с видом обиженным и огорченным. Мне тоже было неприятно. Не люблю зазря обижать людей. А кроме того, я подумал, ну что ж, действительно, тащился я сюда, рискуя, можно сказать, своей жизнью, и у самого порога повернуть обратно, даже не заглянув, что за ним?

— Ну ладно, — сказал я. — Черт с вами. Я вам уступаю. Но это в последний раз.

— Ну и молодец! — Сиромахин даже подпрыгнул от радости. — Я знал, что вы человек мудрый и поступите правильно. А что касается этих самых доносов, то я вам скажу по секрету: их писать не на чем. У нас в Москорепе с бумагой... — он провел ребром ладони по горлу, — полный зарез.

ЧАСТЬ III

НАСЛАЖДЕНИЕ ЖИЗНЬЮ

— Здорово вы меня все-таки вчера разыграли, — сказал я, поглядывая на Смерчева снизу и сбоку. — Я думал, у вас и правда коммунизм такой, какой я видел вчера, а он совсем не такой.

— Ну да, мы же знали, что вы юморист. Мы хотели вам показать, что и мы не без юмора.

Мы шли со Смерчевым вдоль широкой пальмовой аллеи. На этот раз он был не в форме, а в легком светлом костюме и в таких же светлых сандалиях. Солнце стояло в самом зените и светило ярко, но не слепило, грело, но не пекло. На ветвях пальм сидели какие-то невиданной красоты птицы и пели поистине райскими голосами.

Мы, собственно говоря, даже не шли, а летели, лишь время от времени отталкиваясь от земли. Во всем теле я чувствовал необыкновенную легкость, о чем и сказал Смерчеву.

— А вы не догадываетесь, почему? — спросил, улыбаясь, Смерчев.

— Почему? — спросил я.

— Наши ученые изобрели устройство, сильно ослабляющее уровень земного тяготения.

— Неужели они даже до такого додумались? — спросил я. — А для чего же они это сделали?

— Просто так, — сказал Смерчев. — Чтобы людям было приятно жить.

Мы летели вдоль светлых высоких зданий. Они напоминали мне некоторые небоскребы Нью-Йорка, но были гораздо светлее и как бы воздушнее. Все они были соединены между собою прозрачными галереями, в которых тоже росли пальмы и глицинии.

Всюду слышался смех детей и влюбленных.

Навстречу нам так же легко, как мы, летели молодые и румяные парни и девушки с одухотворенными лицами.

Девушки все до одной были в коротких теннисных юбочках, с загорелыми и стройными ногами. Они все ели мороженое-пломбир и бросали на меня влюбленные взгляды, все желали меня, и я желал тоже поговорить с ними о чем-то возвышенном.

Люди вертелись на установленных вдоль аллеи каруселях, качались на качелях и летали по воздуху на каких-то оранжевых лодках.

В небе парил длинный голубой транспарант, на котором было написано:

НАСЛАЖДЕНИЕ ЖИЗНЬЮ ЕСТЬ
ОСНОВНАЯ И ЕДИНСТВЕННАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
КАЖДОГО КОМУНЯНИНА

Мы шли уже несколько часов, а солнце по-прежнему стояло в зените, не сдвигалось, не слепило и не пекло.

Я спросил Смерчева, что это значит, и он посмотрел на меня с добрейшей улыбкой.

— Вы разве не поняли? Это искусственное солнце.

— Искусственное? — переспросил я.

— Да, конечно, искусственное. И весь климат у нас тоже искусственный.

— Как же вам этого удалось достичь? — спросил я.

— Очень просто, — сказал Смерчев. — Это совсем просто. Весь город покрыт колпаком из горного хрусталя.

— И что же, у вас не бывает смены времен года?

— Ни смены времен года, ни смены времен суток, ничего этого у нас не бывает. У нас всегда день и всегда лето.

— А как же люди спят при таком свете?

— А очень просто. Те, кто хочет спать, могут задернуть шторы. Впрочем, — уточнил он, — у нас люди обычно не спят.

На мой вопрос почему, Смерчев объяснил, что люди у них не спят, потому что им жаль времени. Жизнь настолько хороша, что они ею ежеминутно и ежесекундно наслаждаются.

— А когда же они работают? — спросил я.

— Они никогда не работают, — был ответ.

Среди встречавшихся нам прохожих было много людей, которых я знал по прежней своей жизни и даже при мне еще умерших. Они дружелюбно махали мне руками, и я им тоже помахивал, встрече с ними нисколько не удивляясь. Я понимал, что нахожусь в раю, пусть сотворенном не богом, а людьми. Я понимал, что если эти люди сумели построить искусственное солнце и ослабить земное тяготение, то ничего удивительного нет в том, что они научились воскрешать мертвых. Между про-

чим, аллея эта была одновременно похожа на какой-то гигантский супермаркет, и по бокам ее стояли бесконечной длины прилавки, а на них разложены и лоснились всяких сортов колбасы, сыры, белужьи бока, разрезанная на тонкие ломтики семга, икра красная, икра черная, икра паюсная и баклажанная.

А еще всякие там фрукты и овощи, диковинные и недиковинные, всякие апельсины, мандарины, артишоки, авокадо, бананы и ананасы.

И, само собой, разные вина, коньяки, водки, воды, соки, шипучие напитки и всевозможные сорта пива в бутылках, в банках, в бочонках — словом, всяких товаров, как у нас в штокдорфском супермаркете, ну, может, немножко поменьше.

Но у нас в супермаркете обычно хоть сколько-нибудь народу бывает (иной раз по субботам и очередь скапливается человек до шести), а тут никто ничего не берет, все идут мимо и на прилавки даже не смотрят. Только девушки хватают по дороге пломбир или финики и со смехом летят себе дальше.

— А почему это здесь никто ничего не берет? — спросил я у Смерчева, всем увиденным весьма потрясенный. — Денег ни у кого, что ли, нет?

— Ну конечно же, нет, — отвечал Смерчев, загадочно улыбаясь.

— Ага, — сказал я, — это дело понятное, у меня лично денег и при социализме не было, да и при капитализме было негусто.

Эти мои слова Смерчева развеселили, и он стал смеяться, только почему-то беззвучно. И, смеясь, вежливо мне объяснил, что у людей денег нет, потому что они не нужны. Здесь каждый берет, чего сколько хочет, и совершенно бесплатно, но никто

ничего не берет, потому что люди все свои потребности уже давным-давно и полностью удовлетворили, и от всех этих яств их просто воротит. Они ничего другого есть не хотят, кроме пломбира и фиников.

— Значит, и я могу взять чего хочу и сколько хочу? — поинтересовался я недоверчиво.

Смерчев отвечал утвердительно.

Тогда я приблизился к прилавку и сначала неуверенно, а потом все больше входя во вкус, стал набирать продукты: две литровых бутылки шведской водки «Абсолют», палку краковской колбасы, длинную булку, несколько штук форелей, пачку очищенных креветок, связку бананов и какие-то банки с паштетом, икрой, сгущенкой, зеленым горошком, спаржей и еще с чем-то. Что-то я пихал в карманы, что-то за пазуху, уже на руках держал я выше головы, и что-то уже валилось, а мне все было мало и мало.

Я поднял голову, чтобы посмотреть, как бы там еще устроить банку сгущенного молока, когда вдруг увидел Руди, который плыл по воздуху на своем «Ягуаре» и одной рукой махал мне, а другой обнимал фройляйн Глобке.

Я тоже хотел махнуть Руди рукой и сделал такое движение, отчего вся эта Вавилонская башня, которую я держал на руках, рухнула, все эти банки-склянки посыпались, правда, без всякого грохота. Я испугался и стал это все подбирать, боясь, что меня немедленно арестуют или станут стыдить. «Гражданин, — скажут, — как же это вам не стыдно так варварски обращаться с народным добром».

— Да брось ты подбирать с полу! — услышал я

знакомый насмешливый голос. — Это негигиенично.

Я посмотрел снизу вверх и увидел перед собой Лешку Букашева в белом костюме и без бороды. А рядом с ним, прижимаясь к нему, стояла Жанета во всем прозрачном. Он рассказывал ей анекдот про Вовку-морковку, а она громко и развратно смеялась.

— А где Лео? — спросил я ее.

— А вон он, — сказала она, и я увидел Лео, который на лавочке целовался с моей женой.

Мне стало как-то неприятно, но не очень неприятно, а только немножко неприятно. Я слегка подпрыгнул и, паря в воздухе, приблизился к ним.

— Ну как же тебе не стыдно, — сказал я жене, — при живом-то муже целоваться с другим! Ты же знаешь, что он от этого даже и удовольствия никакого не получает.

— Чепуха! — сказал Зильберович голосом Симыча. — Раньше, когда я жил при социализме, я ни от чего не получал удовольствия, кроме твоих романов. А теперь я получаю удовольствие от всего, кроме твоих романов.

— Вот видишь, — сказал я жене. — Он меня обижает и не читает моих романов, а ты с ним целуешься.

Тут ко мне наклонился Смерчев и сказал шепотом:

— Классик Классикович, вы напрасно ведете себя как отсталый собственник. У нас здесь нет собственности ни у кого ни на что. У нас все жены принадлежат всем, и ваша жена тоже принадлежит всему нашему обществу. Пойдем, киска, в ба-

ню, — сказал он и, взяв мою жену на руки, поплыл с ней куда-то в сторону.

Я кинулся за ними вдогонку, но почувствовал, что я уже не лечу, а еле-еле бегу по какой-то пахоте, ноги мои расползаются в раскисшей почве, а земное притяжение, видимо, опять включилось на полную мощность.

Смерчев с моей женой на руках летел над землей, а я уже даже не бежал, а плыл по какой-то грязи, но все-таки постепенно их догонял, когда передо мною появился отец Звездоний в длинной ночной рубашке и со свечою в руке.

— Никакого бога нет, — сказал он тихо. — Есть только Гениалиссимус, один Гениалиссимус, и никого, кроме Гениалиссимуса.

— Пошел ты со своим Гениалиссимусом! — сказал я, пытаясь сдвинуть его со своего пути.

Но он не сдвигался и, приближая ко мне свое лицо, тряс жидкой своей бороденкой, подмигивал, скалился. Я никак не мог его обогнуть, а жена моя улетала все дальше и дальше со Смерчевым, и тогда в полном отчаянии я притянул Звездония за бороду, укусил в нос и проснулся с подушкой в зубах.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Проснувшись, я долго еще грыз эту подушку, пока не опомнился. Придя немного в себя, огляделся. Вокруг меня было темно и тихо, тихо и темно. Темно, хоть глаз выколи.

Я перевернулся на спину и стал думать: господи, ну что ж это в самом деле такое? Почему, когда

мне снится родина, со мной на ней происходит всегда что-то нехорошее, неприятное, от чего я хочу бежать и просыпаюсь в поту?

Мне было так не по себе, что я решил разбудить жену и спросить, что сей сон мог бы значить. Жена моя — большой толкователь снов и вообще верит, что снов бессмысленных не бывает, что они всегда несут нам какое-то сообщение, которое надо только правильно разгадать.

Я протянул руку и пошарил рядом с собой, но там никого не оказалось. Я хотел было удивиться, что это такое, почему среди ночи ее нет со мной, куда она могла деться?

Но тут же я кое-что вспомнил и сам себе не поверил. «Чепуха, — сказал я себе самому. — Все это чистая чепуха, ничего подобного не было и быть не могло. Я лежу в Штокдорфе на своей собственной кровати, там окно, там свет пробивается из-за шторы. Сейчас я откину штору и увижу свой двор, три кривых березки возле забора и петуха, который разгуливает по двору».

Я подошел к окну, отдернул штору и увидел перед собой площадь Революции и памятник Карлу Марксу. Правда, узнать Маркса было довольно трудно. За шестьдесят лет моего отсутствия голуби его голову так обработали, что она казалась совсем седой.

Прямо через дорогу от Маркса, в скверике у Большого театра, стоял во весь рост другой бородач в военной форме и с перчатками в руках, это был, конечно, Гениалиссимус. Здание Большого театра чем-то меня удивило. Я даже не сразу понял, чем именно, а потом сообразил: на его фронтоне отсут-

ствовали кони, как будто их никогда там не бывало. Солнце стояло уже высоко.

По проспекту Маркса, окутанные клубами дыма и пара, катили разных размеров машины, а по тротуарам плыла толпа людей в укороченных военных одеждах. Мало кто из них шел с пустыми руками. Почти все они несли в руках или на плечах или волокли по земле какие-то предметы.

Кажется, я неплохо выспался и отдохнул. Теперь можно было выйти, прогуляться и посмотреть, что же собой представляет этот город через шестьдесят лет после моего отъезда.

Я быстро оделся, заскочил в ванную. К горячему крану была привязана табличка: «Потребности в горячей воде временно не удовлетворяются». Я ополоснулся холодной водой и выглянул в коридор. Пожилая дежурная спала, положив голову на тумбочку. На полу валялась уроненная ею книга. Я поднял книгу и посмотрел название. Книга называлась: «Вопросы любви и пола». Автором этого сочинения был сам Гениалиссимус. Я осторожно положил книгу на тумбочку и, стараясь ступать как можно мягче, пошел к лифту.

Лифт, однако, был закрыт на большой висячий замок. Рядом с замком к сетке лифта была привязана шпагатом картонная табличка: «Спускоподъемные потребности временно не удовлетворяются».

Я нашел лестницу и с ее помощью удовлетворил свою спускную потребность. Очевидно, лестница была не главная, потому что я попал не на улицу, а во двор.

ДЛИННОШТАННЫЙ

Я предвкушал глоток свежего воздуха, но в нос мне шибанул запах, от которого я чуть не свалился с ног. Не буду описывать подробно, но пахло, как в давно не чищенном, но часто употребляемом нужнике.

Во дворе змеей вилась длинная очередь к темно-зеленому киоску, и военные обоего пола, в основном нижние чины, дышали друг другу в затылки, держа в руках пластмассовые бидончики, старые кастрюли и ночные горшки.

Над крышей киоска был водружен плакат в грубо сколоченной раме. Плакат изображал рабочего с лицом, выражавшим уверенный оптимизм. В мускулистой руке рабочий держал огромный горшок. Текст под плакатом гласил:

КТО СДАЕТ ПРОДУКТ ВТОРИЧНЫЙ,
ТОТ СНАБЖАЕТСЯ ОТЛИЧНО

— Что дают? — спросил я у коротконогой тетеньки, только что отошедшей с бидончиком от киоска. В ушах у нее висели большие пластмассовые кольца.

— Не дают, а сдают, — сказала она, оглядев меня с ног до головы слишком подробно.

— А что сдают? — спросил я.

— Как это чего сдают? — удивилась она моему непониманию. — Говно сдают, чего же еще!

Я подумал, что она шутит, но, учитывая запах, к которому постепенно начинал привыкать, рабочего на плакате и общий вид очереди, склонился к тому, что она говорит всерьез.

— А для чего это сдают? — спросил я неосмотрительно.

— Как это — для чего сдают? — закричала она дурным голосом. — Ты что, дядя, тронулся, что ли? Не знает, для чего сдают! А еще штаны надел длинные. Надо ж, распутство какое! А еще про молодежь говорят, что они, мол, такие-сякие. Какими ж им быть, когда старшие им такой пример подают!

— Точно! — приблизился сутуловатый мужчина лет примерно пятидесяти. — Я тоже смотрю, он вроде как-то одет не по-нашему.

Тут еще освободившийся народ подвалил, а некоторые и с хвоста очереди тоже приблизились. Все выражали недовольство моим любопытством и длинными штанами и даже склонялись к тому, чтобы по шее накостылять. Но тетка выразила мнение, что хотя по шее накостылять и стоит, но все же лучше свести меня просто в БЕЗО.

— Да что вы, граждане! — закричал я громко. — При чем тут БЕЗО и зачем БЕЗО? Ну не понимаю я в вашей жизни чего-то, так я же в этом не виноват. Я только что приехал и вообще вроде как иностранец.

Из толпы кто-то выкрикнул, что если иностранец, тем более надо в БЕЗО, но другими призыв поддержан не был, и толпа вокруг меня при слове «иностранец» стала рассасываться.

Только тетка с кольцами успокоиться не могла и пыталась вернуть народ, уверяя, что я вовсе не иностранец.

— Я по-иностранному понимаю! — обращалась она к примолкшей очереди. — Иностранцы

говорят «битте-дритте», а он точно по-нашему говорит.

Пока очередь обдумывала ее слова, я, не дожидаясь худшего, бочком-бочком оторвался и через проходной двор выкатился на улицу, которая когда-то называлась Никольской, а потом улицей 25 Октября. Я был очень горд, что сразу узнал эту улицу. Я поднял глаза на угол ближайшего дома, чтобы убедиться в своей правоте, и просто остолбенел. На табличке, приколоченной к стене, белым по синему было написано: «Улица имени писателя Карцева»! Несмотря даже на сердечную встречу, которой накануне растрогали меня комуняне, я все-таки не мог поверить, что мои заслуги потомками оценены столь высоко. Я даже подумал, что, может быть, это всего лишь чья-то неуместная шутка и табличка с моим именем висит на одном-единственном доме. Но, пройдя улицу до самой Красной площади, я увидел такие же таблички и на всех других зданиях. Я был очень горд и одновременно настроен воинственно. У меня даже возникла идея вернуться к месту приемки продукта вторичного, разыскать ту мерзкую тетку, которая понимает по-иностранному, притащить сюда и показать ей, на кого она нападала со своими идиотскими подозрениями. Впрочем, будучи ленивым и незлопамятным, я тут же эту идею оставил. Тем более что меня ожидали новые впечатления.

Если бы я подробно описал свои чувства, увидев то, что попалось мне на пути в первый день моего пребывания в Москорепе, мне пришлось бы слишком часто утверждать, что я был удивлен, изумлен, поражен, потрясен, ошеломлен и так далее. И в самом деле, представьте себе, что вы выхо-

дите на Красную площадь и не находите на ней ни собора Василия Блаженного, ни Мавзолея Ленина, ни даже памятника Минину и Пожарскому. Есть только ГУМ, Исторический музей, Лобное место, статуя Гениалиссимуса и Спасская башня. Причем звезда на башне не рубиновая, а жестяная или слепленная из пластмассы. И часы показывают половину двенадцатого, хотя на самом деле еще только без четверти восемь. Приглядевшись к часам, я понял, что они стоят.

Я остановил какого-то комсора, который вез на тачке мешок с опилками, и спросил, куда подевалось все, что здесь было. Тот удивился моему вопросу, оглядел меня с ног до головы и особенно долго разглядывал мои брюки. А потом спросил, из какого кольца я приехал. Уклоняясь от прямого ответа, я сказал, что я латыш.

— Оно и видно, — сказал комсор. — Акцент сразу чувствуется.

К моему удовольствию, он оказался (что, как я потом заметил, редко бывает у комунян) довольно осведомлен и словоохотлив. Оглядываясь по сторонам, он объяснил мне, что все эти вещи, о которых я спрашиваю, еще во времена существования денег были проданы американцам не то коррупционистами, не то реформистами.

— Как? — закричал я. — Неужели эти враги народа даже Мавзолей Ленина продали?

— Тише! — Он приложил палец к губам, но, прежде чем сбежать, шепотом сказал, что не только Мавзолей, а и того, кто в нем лежал, тоже продали какому-то нефтяному магнату, который скупает мумии по всему свету и уже собрал коллекцию, в которую, кроме Владимира Ильича, входят Мао Цзэ-

дун, Георгий Димитров и четыре египетских фараона.

Я хотел спросить, что за магнат и как его фамилия, но человек вдруг чего-то испугался и, подхватив тачку, быстро покатил ее в сторону здания, где раньше помещалась гостиница «Москва». Пожав плечами, я пошел в ту же сторону, намереваясь выйти к Большому театру, перед которым я еще из окна гостиницы видел заинтересовавший меня памятник Гениалиссимусу.

Несмотря на то, что основная толпа рабочих и служащих, видимо, уже схлынула, на проспекте Маркса (кстати, он и сейчас назывался так же) людей было еще препорядочно. Как и во сне, многие из них казались мне похожими на кого-то из моих прежних знакомых. Иногда даже настолько похожими, что я чуть ли не кидался к ним с распростертыми объятиями, но потом тут же приходил в себя и вспоминал, что своих знакомых я могу найти (если повезет) только на кладбищах.

Как я заметил еще из окна, каждый из них что-то нес. Кто горшок, кто авоську, кто кошелку. Один комсор таранил перед собой старый телевизор без экрана, другой сгибался под тяжестью мешка с углем, а какая-то дама передвигалась, держа на голове полосатый матрас с желтыми пятнами и торчащей из дыр соломой. Тут же, обгоняя прохожих, бежали дети школьного возраста. За плечами у них были ранцы, а в руках метелки, которыми они дружно махали, поднимая такую пыль, что дышать было нечем.

Не выдержав, я ухватил одного из школьников за шкирку.

— Ты что, — сказал я, — негодяй, бегаешь тут с веником и пылищу поднимаешь?

— А чего ж мне делать? — пытаясь вырваться, заорал он плаксиво. — Я в предкомоб тороплюсь, а до занятий осталось десять минут.

— Ну и беги себе, занимайся, — сказал я. — А пылищу гонять нечего. На то дворники есть.

— Кто? — удивился мальчишка. — Какие еще дворники?

Я понял, что, видимо, опять попадаю впросак.

— Обыкновенные дворники, — пробурчал я, но мальчишку отпустил и приблизился к площади Свердлова, которая теперь называлась площадью имени Четырех Подвигов Гениалиссимуса. Пластмассовое изваяние свершителя четырех подвигов возвышалось посреди площади. Это был памятник высотой метра примерно три с половиной, не считая постамента. Гениалиссимус стоял в хорошо начищенных сапогах и шинели, распахнутой скульптором, вероятно, для того, чтобы открыть зрителю многочисленные ордена, которыми была украшена широкая грудь монумента. Как бы похлопывая по правому голенищу перчатками, Гениалиссимус с доброй улыбкой смотрел на проспект, на движение паровиков и на застывшего на другой стороне Карла Маркса. Я обошел статую вокруг, попробовал сосчитать ордена на ее груди, досчитал до ста сорока с чем-то, а потом сбился, махнул рукой и пошел по улице, которая в мои времена называлась Пушкинской, а теперь — имени Предварительных Замыслов Гениалиссимуса.

Уже во время этой первой своей прогулки я заметил, что наряду с проспектами, улицами, переулками и проездами, сохранившими свои прежние

названия, появилось много названий, отражавших новейшие достижения комунян, и очень много посвященных тем или иным сторонам деятельности Гениалиссимуса. Поэтому я даже не очень удивился, обнаружив, что бывшая Пушкинская площадь теперь называется площадью имени Литературных Дарований Гениалиссимуса. И памятник на площади стоял, естественно, не Пушкину, а Гениалиссимусу. Пушкин там, впрочем, тоже был.

Здешний пластмассовый Гениалиссимус был, я думаю, такого же калибра, что и тот, что перед Большим театром, но в летней форме и без перчаток. В левой руке он держал пластмассовую книгу, на которой можно было прочесть слово: «Избранное». Правая рука автора книги покоилась на курчавой голове юноши Пушкина, который был совершенно лилипутского роста, но другие лилипуты, составлявшие групповой портрет, были еще меньше. Из других представителей предварительной литературы все-таки выделялись Гоголь, Лермонтов, Грибоедов, Толстой, Достоевский и всякие другие из более поздних времен. Мне приятно сообщить, что себя в этой группе я тоже нашел. Я стоял сзади Гениалиссимуса, держась одной рукой за его левое голенище. Не найдя среди лилипутов Карнавалова, я еще раз убедился, что в двадцать первом веке его никто уже даже не знает. Одного бородача размером не больше полевой мыши я обнаружил в группе предварительных писателей моего времени, но это был явно не Карнавалов, а скорее всего профессор Синявский.

Обойдя памятник, я оказался вновь перед носками Гениалиссимуса и на пьедестале прочел давно знакомые мне слова:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

В это время на площади остановился большой красный паробус. Из него вывалила целая орда мальчиков и девочек во главе с женщиной с погонами лейтенанта. Дети тут же начали кричать и толкаться, но женщина (я понял, что она была их учительницей), отойдя чуть-чуть вбок, вытянула в сторону правую руку и скомандовала:

— В две шеренги становись!

Дети дисциплинированно построились, подравнялись, вытянулись по команде «смирно» и расслабились по команде «вольно».

— Итак, дети, — сказала учительница, — перед вами памятник нашему любимому вождю, учителю, отцу всех детей и другу всего прогрессивного человечества Гениалиссимусу. Памятник выполнен из высококачественной пластмассы коллективом Краснознаменного отряда народных коммунистических скульпторов и одобрен Редакционной комиссией и Верховным Пятиугольником. Иванов, сколько всего в Москве памятников Гениалиссимусу?

— Сто восемьдесят четыре! — выкрикнул Иванов.

— Правильно! Сто восемьдесят четыре. И сто восемьдесят пятый сейчас воздвигается на Ленинских горах имени Гениалиссимуса. Все имеющиеся памятники нашему любимому вождю отражают те или иные стороны его гениальности. Один памятник воздвигнут ему как гениальному революционеру, другой — как гениальному теоретику на-

учного коммунизма, третий — как гениальному практику, и так далее. Настоящий памятник воздвигнут в честь его гениального литературного дарования. Семенова, из скольких томов состоит собрание сочинений Гениалиссимуса?

— Из шестисот шестнадцати, — охотно отвечала Семенова.

— Неправильно. Вчера вышли еще два новых тома. Комков, перестань вертеться. Так вот, дети, этот памятник представляет собой скульптурную группу, центральной фигурой которой является сам Гениалиссимус. Второстепенные фигуры — это его литературные предшественники, представители предварительной литературы. Причем, что интересно, каждая фигура предварительного автора выполнена в строгом соответствии с отношением масштаба дарования данного автора к масштабу дарования Гениалиссимуса.

Услышав такое, я еще раз забежал за спину Гениалиссимуса и опять нашел там свою жалкую фигурку. В общем, я был разочарован. Отношение моей массы к массе Гениалиссимуса было для меня, честно скажу, не очень-то лестным.

Вернувшись назад (то есть вперед), я стал дальше слушать учительницу и извлек много полезных сведений. Я узнал, что общая масса всех предварительных писателей в сумме равна массе одного Гениалиссимуса. Кроме того, Гениалиссимус представляет собой как бы могучее дерево, выросшее на отживших свое побегах. Как дерево влагу, Гениалиссимус впитал в себя и переработал все лучшее, что было создано предварительной литературой, после чего потребность в последней совершенно отпала.

— В самом деле, — сказала учительница, — возьмите хотя бы эти слова, которые высечены на пьедестале: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал...» Кто из предварительных писателей мог бы сказать так просто, так скромно и гениально?

— Пушкин мог бы сказать, — неожиданно для самого себя ляпнул я.

Кто-то из детей хихикнул, но тут же смолк. Учительница недобрым взглядом окинула меня с ног до головы и повернулась к ученикам:

— Дети, быстро в машину! Сейчас мы поедем осматривать памятник имени Научных Открытий Гениалиссимуса.

Дети один за другим влетели в паробус, как пчелы в улей.

Прежде чем нырнуть за ними, учительница повернулась ко мне, еще раз осмотрела меня с ног до головы.

— А вам, длинноштанный, — выговорила она очень четко, — я бы посоветовала держать язык за зубами.

И, слегка вихляя выпирающим из-под короткой юбки задом, скрылась в паробусе.

Я посмотрел на свои брюки и опять не понял, чем они здешним людям не нравятся. Брюки как брюки. Очень даже приличные. Если им хочется ходить в коротких штанах, я не возражаю, но что они ко мне пристают?

СВИНИНА ВЕГЕТАРИАНСКАЯ

Тут я почувствовал, что проголодался, и стал смотреть вокруг себя, где бы можно было подзакусить.

На другой стороне улицы я увидел заведение, дверь которого все время хлопала, потому что люди входили и выходили. В этом доме, между прочим, когда-то была пивная, а потом кафе-молочная, и сейчас в нем, кажется, находилось что-то подобное.

Высоко под крышей дома я увидел изображение уже знакомого мне рабочего, который в одной мускулистой руке держал ложку, а в другой вилку. На вилке даже было что-то насажено, но что именно, я не разобрал. Рабочий приветливо улыбался, а слова под ним были такие:

КТО СДАЕТ ПРОДУКТ ВТОРИЧНЫЙ,
ТОТ ПИТАЕТСЯ ОТЛИЧНО

Вывеска у входа была: ПРЕКОМПИТ «ЛАКОМКА». Немного подумав, я вспомнил, что слово «Прекомпит» означает Предприятие Коммунистического Питания.

Перебегая через дорогу, я чуть было не попал под огромный парогрузовик с прицепом. Нажав на все тормоза, водитель остановил свою огнедышащую машину и покрыл меня таким отборным матом, по которому трудно было не узнать моего банного знакомого Кузю. Кажется, он не собирался ограничиваться словами и уже летел ко мне с занесенной над головой заводной ручкой.

— Кузя! — закричал я ему в испуге. — Не узнаешь, что ли?

— Ах, это ты, папаша. — Кузя опустил ручку, но был, кажется, разочарован, что такой замах пропал даром. — Чего ж ты ходишь по дороге, хлебальник раззявя. Тут, отец, того и гляди, либо задавят, либо башку проломят. Это у вас там, при капи-

тализме, все же попроще было. Там у вас по улицам небось только ослы да верблюды ходят, а здесь, видишь, техника.

Он спросил меня, как дела, не нужна ли какая помощь, и еще раз напомнил, что, если мне понадобятся какие-нибудь вещи, вроде парового котла, цилиндров или чего-то подобного, я могу смело к нему обращаться. После этого он укатил, а я на этот раз благополучно пересек проспект и приблизился к Прекомпиту.

Очередь была не длинная, человек шестьдесят, не больше.

Пожилой сержант в дырявой гимнастерке и с красной повязкой на рукаве стоял у входа и дырявил компостером протягиваемые ему бумажки серого цвета.

Стоя в очереди, я прочел вывешенное на стене объявление, в котором было сказано, что общие питательные потребности удовлетворяются только по предъявлении справки о сдаче вторпродукта.

Тут же были помещены и «Правила поведения в Предприятиях Коммунистического Питания». В них было сказано, что благодаря неустанной заботе КПГБ и лично Гениалиссимуса о регулярном и качественном питании комупян в этом деле достигнуто много знаменательных успехов. Пища становится все лучше, качественнее и диетичнее. В результате научной разработки рационального питания комунян достигнуты большие успехи по борьбе с тучностью.

Ниже говорилось, что в Прекомпите запрещено:

1. Поглощать пищу в верхней одежде.
2. Играть на музыкальных инструментах.
3. Становиться ногами на столы и стулья.

4. Вываливать на столы, стулья и на пол недоеденную пищу.

5. Ковырять вилкой в зубах.

6. Обливать жидкой пищей соседей.

7. Категорически запрещается разрешать возникающие конфликты с помощью остатков пищи, кастрюль, тарелок, ложек, вилок и другого государственного имущества.

Справедливости ради надо сказать, что очередь двигалась довольно быстро. Люди один за другим совали сержанту с повязкой свои бумажонки, он делал дырку, люди входили внутрь.

Когда моя очередь приблизилась, я пошарил в кармане, но не нашел в нем ничего, кроме случайно завалявшегося обрывка газеты «Зюддойче цайтунг» шестидесятилетней давности. Я сложил этот обрывок вдвое и сунул сержанту, который не глядя его продырявил.

Довольный тем, что мои социалистическо-капиталистические уловки все еще успешно действуют, я вошел внутрь.

Мне показалось, что первичный продукт пахнет примерно так же, как и вторичный.

На противоположной от входа стене висел большой портрет Гениалиссимуса и его изречение: «Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить».

Прекомпит был похож на социалистическую столовую самообслуживания: высокие столы без стульев и пол усыпан опилками. Вдоль левой стены, за легкой перегородкой из пластмассовых трубок тянулся длинный прилавок с выставленными

на нем блюдами, при одном только виде которых хотелось сразу выйти на свежий воздух. Но, во-первых, я сильно проголодался, а во-вторых, я приехал сюда изучать все подробности жизни, в том числе и систему питания.

Я встал в очередь к прилавку и, двигаясь вместе со всеми, достиг вскоре вывешенного на стенке меню, которое прочел с большим любопытством. Оно состояло из четырех блюд, перечисленных в таком порядке:

1. Щи питательные «Лебедушка» на рисовом бульоне.

2. Свинина вегетарианская витаминизированная «Прогресс» с гарниром из тушеной капусты.

3. Кисель овсяный заварной «Гвардейский».

4. Вода натуральная «Свежесть».

Я прошу у читателя прощения, что привожу так подробно все прочитанные мною правила, списки и меню, но мне кажется, что это необходимо для более или менее полного представления об обществе, в котором я находился.

Две молодые комсорки в не очень чистых халатах обслуживали клиентов быстро, без задержки. Мне, как и другим, был выдан пластмассовый поднос с набором всех перечисленных блюд. Две тарелки, две чашки и ложка (все это тоже пластмассовое) были прикованы к подносу стальными цепочками. Еще две цепочки (может быть, для вилок и ножей) были оборваны. Понюхав выданную мне пищу, я, откровенно говоря, немного поморщился и подумал, что в некоторых случаях утолять голод можно одним только запахом.

Однако, повторяю, мною руководил не только голод, но и исследовательское любопытство.

Я нашел столик, за которым одна только дама медленно поглощала овсяный кисель. Я попросил разрешения стать рядом и, когда она что-то невнятно пробормотала, узнал в ней ту самую тетку, которая понимала по-иностранному. Судя по брошенному на меня неприязненному взгляду, она меня, кажется, тоже узнала.

Отведав щей, я сразу догадался, что их гордое имя произведено не от длинношеей птицы, а от лебеды, которую в период расцвета колхозной системы мне приходилось вкушать и раньше. В состоянии сильного голода пару ложек я кое-как осилил, а вот вегетарианская свинина «Прогресс», изготовленная из чего-то вроде прессованной брюквы, откровенно говоря, не пошла. То есть сначала немного пошла, но потом тут же стала рваться обратно, так что я еле-еле донес ее до кабесота, и там мой капризный организм безжалостно исторг ее из себя.

ДВОРЕЦ ЛЮБВИ

Выйдя из кабесота, я нос к носу столкнулся с теткой, которая понимала по-иностранному. Похоже, что она дожидалась меня здесь специально. Потому что как только меня увидела, так закричала на весь зал визгливо и недружелюбно:

— Что, не нравится наша пища?

Я, ничего не ответив, вышел на улицу. Она выкатилась следом. Я пошел вниз по бывшей улице Горького, которая теперь называлась проспектом имени Первого тома Собрания Сочинений Гениа-

лиссимуса. (Потом я узнал, что в коммунистической Москве имеются 26 проспектов имени отдельных томов сочинений данного автора.)

Тетка увязалась за мной.

— Ишь ты какой! — бормотала она, плетясь сзади. — Штаны длинные носит, говно сдавать не хочет, пищей нашей брезгует.

— Слушай, тетенька, — сказал я, к ней повернувшись, — оставь меня, ради бога, и без тебя тошно.

Кажется, ей только этого было и надо.

— Ого-го-го! — закричала она, пытаясь привлечь внимание прохожих. — Штаны длинные носит, говно сдавать не хочет, пищей брезгует, да еще бога какого-то поминает! Тошно ему! От свинины от нашей тошно!

— А иди-ка ты в ж...! — сказал я, не выдержав, и перешел на другую сторону.

Прошу меня простить за столь грубое выражение. В прежней жизни я никогда ничего подобного дамам не говорил. Но эта грымза меня просто вывела из себя.

Я шел вниз по проспекту Первого тома в несколько расстроенных чувствах. Как-то мне в этом коммунистическом царстве было неуютно. Конечно, я приехал сюда всего лишь на месяц, но я боялся, что на свинине вегетарианской и этого срока выдержать не смогу.

Нет, я вовсе не хотел каких бы то ни было преимуществ. Я хотел быть здесь как все. И уж ни в коем случае ни во что не вмешиваться. Мое дело быть объективным и бесстрастным регистратором фактов. И ради этого я готов был к любым самым неожиданным и рискованным испытаниям. И во-

обще, я никогда не был особенно привередлив в еде, но эту коммунистическую свинину и щи «Лебедушка» мой организм просто не переваривал.

Возможно, виной всему мое мировоззрение. Оно у меня было отсталое, еще когда я жил при социализме. А потом, когда я попал в капитализм и подвергался ежедневно тлетворному и разлагающему влиянию буржуазной пропаганды и пищи, это, возможно, отразилось не только на образе мыслей, но и на работе желудка. Он разнежился.

Может быть, я объясняю все это не очень научно, но настроение у меня, прямо скажу, было неважное.

В этом настроении я двигался вниз, по той стороне проспекта, где при социализме был Елисеевский магазин.

Несмотря на мрачное настроение, я поглядывал по сторонам, кое-что замечал и кое-что отмечал.

Меня, например, удивило, что улица Немировича-Данченко осталась непереименованной, хотя этот древний деятель был, как известно, одним из родоначальников метода социалистического реализма, который партией был решительно осужден и заменен реализмом коммунистическим. Но когда я подошел к бывшей Советской площади, я был удивлен еще больше. Знакомого мне по старым временам памятника Юрию Долгорукому на лошади там не было. То есть сама лошадь была, но на ней сидел не Юрий Долгорукий, а Гениалиссимус. В одной руке он держал свою книгу, а в другой меч. Причем площадь теперь называлась: имени Научных Открытий Гениалиссимуса.

Откровенно говоря, мне не очень было понятно, какое отношение имеет этот памятник к научным

открытиям. Ну, книга, это допустим. Но при чем тут лошадь и меч?

Тут мое внимание переключилось на здание, в котором раньше был ресторан «Арагви». Теперь никакого «Арагви» там, разумеется, не было, но на фронтоне здания под самой крышей аршинными буквами было написано:

ДВОРЕЦ ЛЮБВИ

Признаться, я не сразу понял, что это значит. Но, приблизившись к зданию, увидел справа от массивных дверей вывеску, на которой прочел буквально следующее:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
ОРДЕНА ЛЕНИНА
ПУБЛИЧНЫЙ ДОМ ИМЕНИ Н. К. КРУПСКОЙ

— Ого! — сказал я себе самому. — Вот это, я понимаю, коммунизм!

Настроение мое заметно улучшилось. Я думал, что это заведение работает только по вечерам, но тут же прочел, что сексуальное обслуживание населения производится с 8.30 до 17.30, перерыв на обед с 13 до 14 часов.

Я посмотрел на часы. Было точно девять часов сорок две минуты утра. Время для таких дел не самое подходящее, но, впрочем, почему бы и нет?

На уровне второго этажа висел плакат, изображавший рабочего с поднятым вверх кулаком. Надпись под плакатом была мне почти знакома:

КТО СДАЕТ ПРОДУКТ ВТОРИЧНЫЙ,
ТОТ СЕКСУЕТСЯ ОТЛИЧНО

Ниже были вывешены и правила поведения в ГЭОЛПДИК (так сокращенно называлось это странное предприятие). В них было сказано, что сексуальное обслуживание посетителей производится как по коллективным заявкам предприятий, учреждений и общественных организаций, так и в индивидуальном порядке.

Я невольно вспомнил шофера Кузю и его товарища, которые в пункте помыва пытались склонить меня к безобразнейшей оргии. Вот дикие люди! Зачем же столь интимным делом заниматься сообща, когда существуют вполне узаконенные формы индивидуального удовлетворения потребностей?

Так я думал, продолжая скользить глазами по правилам, из которых узнал, что обслуживание производится только по предъявлении справки о сдаче вторичного продукта и что в ГЭОЛПДИК запрещено:

1. Приводить с собой и обслуживать партнеров со стороны.

2. Обслуживаться в верхней одежде.

3. Обслуживаться в коридорах, на лестницах, под лестницами, в кабесоте и других местах, кроме специально отведенных.

4. Пользоваться самодельными противозачаточными средствами, а также орудиями садизма и мазохизма.

5. Играть на музыкальных инструментах.

6. Портить коммунистическое имущество.

7. Категорически запрещается разрешать возникающие конфликты с помощью сексоборудования.

Здесь, так же как и в прекомпите, стоял дядя с повязкой на рукаве и с компостером. Я сунул ему тот же клочок газеты, но с другой стороны, и он, как и прекомпитский страж, проткнул газету не глядя.

Внутри это было что-то вроде поликлиники. Широкий коридор с линолеумным полом и стенами, покрытыми темно-синей масляной краской. С каждой стороны на равном расстоянии располагались бежевые двери кабинетов, а слева от входа, сразу за выщербленной лестницей, была деревянная загородка и стеклянное окошечко с надписью:

РЕГИСТРАТУРА

Навстречу мне, неся кучу канцелярских папок, шла девица в белом халатике, едва прикрывавшем ее орудие производства.

— Слаген! — сказала она мне.

— Слаген, — сказал я и попытался ухватить ее за что-нибудь.

Но она ловко увернулась, посмотрела на меня, по-моему, очень удивленно и недовольно и стала подниматься по лестнице, предоставив мне возможность рассмотреть ее с лучшей ее стороны.

— Не хочешь — не надо, — сказал я и приблизился к регистратуре, где сидела пожилая женщина в очках с оправой, вырезанной из картона. Она что-то вязала. Мне было немного неловко, но, преодолев смущение, я обратился к ней и сказал, что хотелось бы как-нибудь обслужиться.

Ничего не говоря, она мне сунула клочок бумаги. Это была, конечно, анкета, впрочем, довольно скромная. Отвечая на вопросы, я указал свои фамилию, звездное имя и отчество. Чтобы не привле-

кать внимания, возраст свой я убавил ровно на шестьдесят лет. В графе «венерические болезни» я написал, естественно, «нет».

Я вернул регистраторше анкету. Она насадила ее на длинный ржавый штырь с заостренным концом, отложила свое вязанье, вышла из-за загородки и без слов пошла по коридору, гремя связкой ключей.

Она открыла мне дверь, пропустила внутрь и ушла, так ничего и не сказав. Я прикрыл за собой дверь и огляделся. Это была небольшая комната с одним окном без занавесок. В углу стоял узкий топчан, покрытый клеенкой, а рядом пластмассовое ведерко. Никаких подушек или одеял видно не было. Над изголовьем в рамке висел портрет Гениалиссимуса со слегка распахнутой волосатой грудью, а под портретом изречение Гениалиссимуса:

ЛЮБОВЬ — ЭТО БУРНОЕ МОРЕ!

Кроме портрета Гениалиссимуса, на всех стенах были развешаны разные плакаты. А у двери в деревянной рамке был помещен какой-то текст. Это были коммунистические обязательства коллектива тружениц ГЭОЛПДИКа. Было сказано, что, встав на трудовую вахту в честь 67-го съезда КПГБ, коллектив берет на себя следующие обязательства:

1. Повысить трудовую дисциплину и культуру удовлетворения возросших потребностей клиентов.

2. Увеличить ежесуточную пропускаемость каждого койкоместа не менее чем на 13%.

3. Увеличить сбор генетического материала на 6%.

4. Работать на сэкономленных материалах.

5. Проработать и законспектировать книгу Гениалиссимуса «Сексуальная революция и коммунизм». Сдать по ней экзамены с оценкой не ниже чем на 4.

6. Регулярно выпускать стенную газету.

7. Всем девушкам сдать нормы на значок «Готов к труду и обороне Москорепа».

8. Проявлять высокую бдительность и своевременно информировать органы БЕЗО о подозрительных клиентах.

Видя, что никто не спешит меня обслуживать, я стал рассматривать плакаты.

На них были изображены картины из повседневной деятельности работниц учреждения. Встреча директора ГЭОЛПДИКа, дважды Героя Коммунистического Труда, Заслуженного работника сексуальной культуры и члена Верховного Пятиугольника Венеры Михайловны Малофеевой с избирателями — трудящимися Первого шарикоподшипникового завода. Коллектив ГЭОЛПДИКа на уборке свеклы. На Первомайской демонстрации. Сексинструктор 2-го класса Эротина Коренная читает лекцию «Гениалиссимус — наш любимый мужчина».

Рассмотрев все плакаты, я присел на краешек топчана и стал ждать. Никто не шел.

Я уже хотел пойти узнать, в чем дело, как дверь отворилась и в комнату заглянула регистраторша.

— Вы уже закончили? — спросила она, глядя на меня поверх очков.

— Что закончил? — спросил я.

— Что значит «что»? — сказала она строго. — То, для чего вы сюда пришли.

Не выслушав ответа, она захлопнула дверь и ушла. Я догнал ее в коридоре.

— Мамаша, вы что, смеетесь? — схватил я ее за локоть. — Как я мог закончить, если ко мне никто не пришел?

Она посмотрела на меня немного, как показалось мне, удивленно.

— А кого вы ожидали?

Тут пришлось удивляться мне.

— Ну как это кого, — сказал я. — Я ожидал кого-нибудь из обслуживающего персонала.

По-моему, она опять ничего не поняла. Она долго и внимательно смотрела на меня, словно на какого-то психа, а потом сказала:

— Комсор клиент, вы что, с луны свалились? Вы разве не знаете, что у нас для клиентов с общими потребностями самообслуживание?

— Вот он!! Вот он! — услышал я дикий вопль и увидел ворвавшуюся в заведение тетку, которая понимала по-иностранному. За спиной ее маячили два милиционера.

ВНУБЕЗ

— Вот он! Вот он! — кричала тетка. — Шапиен! Как есть, чистый шапиен. Штаны длинные носит, говно не сдает, пищей брезгует, а по-нашему говорит, как мы.

— Ладно, ладно, любезная, — сказал милиционер, который был поздоровее и скошенным лбом смахивал на питекантропа. — Сами как-нибудь

разберемся. У вас потребкарта есть? — спросил он, обратившись ко мне.

— Есть, — сказал я и вытащил уже проколотый с двух сторон обрывок «Зюддойче цайтупг». Надеяться, что здесь этот номер пройдет еще раз, было, конечно, наивно и глупо, но я часто поступаю по наитию, и оно меня обычно не обманывает.

На этот раз обмануло.

Питекантроп взял обрывок, повертел в руках, приблизил к глазам, отдалил и, изобразив на лице своем крайнее недоумение, протянул бумагу своему товарищу, который тоже был здоров, но все-таки пощуплее. Тот посмотрел бумажку и даже для чего-то подул на нее.

— Это по-каковски же здесь начикано? — спросил он вежливо.

Изобразив на своем лице удивление, я сказал, что, по-моему, и дураку ясно, что здесь начикано исключительно по-китайски.

— И вы понимаете по-китайски? — спросил он, как мне показалось, с почтением.

— Ну да, конечно, понимаю. Кто ж по-китайски не понимает?

— Придется пройтить, — сказал тот, здоровый.

— Это куда же? — поинтересовался я.

— Известно куда. Во внубез.

Догадавшись, что внубез означает внутреннюю безопасность, я подчинился.

Местное отделение внубеза находилось в другом крыле того же здания.

У дежурного за деревянной перегородкой было три звездочки на погонах. Четверо нижних чинов в дальнем углу комнаты забивали козла.

— Вот, — сказал питекантроп, — так что, комсор дежурный, китайца пымали.

— Что еще за китаец? — посмотрел удивленно дежурный.

— Обыкновенный китаец, — сказал питекантроп. — В длинных штанах ходит, говно не сдает, говорит по-нашему, а читает по-китайскому. Вот. — Он протянул дежурному кусок газеты.

Дежурный долго разглядывал этот странный клочок и стал вертеть его так и сяк, напрягаясь, шевеля губами, и даже посмотрел бумажку на свет, видимо надеясь обнаружить в ней водяные знаки.

— А что это здесь написано тысяча девятьсот восемьдесят два? — сказал он. — Это что, старая газета?

— Ну да, — говорю, — старая, из музея.

— Ну ладно, — сказал дежурный и раскрыл толстую тетрадь, на которой было написано: «Книга регистрации нарушителей компорядка». Затем он взял деревянную ручку (последний раз я видел такую шестьдесят лет назад в кружке у Симыча), обмакнул ее в стеклянную чернильницу. — Ваше фамилие?

— Карцев, — сказал я.

— Чудно, — сказал дежурный. — Фамилие китайское, а звучит вроде как наше. А вы к нам со шпионскими целями или же просто так?

Тут я, честно говоря, немного струхнул. Начнут шить шпионаж, потом не отобьешься.

— Ладно, — сказал я, — ребята. Хватит валять дурака, я не китаец, я пошутил.

— Пошутил? — переспросил дежурный и переглянулся с питекантропом. — Что значит пошутил? Значит, вы не китаец?

— Ну конечно же, не китаец. Вы когда-нибудь видели китайцев? У них глаза узкие и черные, а у меня выпуклые и голубые.

— Ах, так ты не китаец! — взбеленился вдруг дежурный. — Если ты не китаец, то мы с тобой сейчас иначе поговорим. Тимчук! А ну-ка врежь-ка ему по-нашему, по-коммунисски!

У этого Тимчука кулак был как пудовая гиря. Мне показалось, что я ослеп не только от удара, но и от гнева. Плюясь кровью и ничего не видя перед собой, я ринулся на Тимчука и, если б достал, разодрал бы ему, наверное, всю морду. Но тут в дело вступили доминошники. Все вместе они скрутили меня, завернули руки за спину и повалили на пол.

— Гады! — кричал я. — Да что же это вы делаете!

Меня прижали носом к шершавому вонючему полу. Я брыкался, вырывался и орал благим матом, когда они выворачивали мне суставы.

— Сволочи! — кричал я. — Бандиты! А еще коммунисты!

— Комсор дежурный, — разобрал я голос Тимчука. — Вы слышите, он против коммунистов кричит.

Я хотел возразить, что я не против всех коммунистов, а только против плохих коммунистов, за хороших коммунистов. Но мне еще крепче завернули руки, и сквозь собственный вой я услышал лязганье ножниц вокруг моих ног.

— А теперь поднимите его, — сказал дежурный.

Я опять оказался перед ним, побитый и помятый. Кровь из разбитого носа и рассеченной губы стекалась на подбородке в одну струю и крупными

каплями падала на рубашку. Мои замечательные брюки, которые перед самой поездкой я купил в Кауфхофе, теперь представляли собой жалкое подобие шорт с криво обрезанными краями и свисающими лохмотьями.

— Звездное имя и отчество? — спросил дежурный.

— Пошел вон, сволочь! — сказал я и плюнул ему в морду кровью.

Вот говорят, перед самой смертью человек видит всю свою жизнь, как в кино. Пока Тимчук замахивался, подобное кино я тоже увидел. Правда, кино особенное. Я видел как бы сразу все кадры одновременно. Я видел себя и помидороподобным маленьким уродцем, которого сразу же после родов показывают моей матери, и в то же время я увидел себя в детском саду, в президиуме Союза писателей СССР, в мюнхенском биргартене[1], у китайской башни и даже в гробу, в котором меня несут к могиле, только не разобрал, кто несет.

— Стойте! Стойте! — услышал я звонкий голос и, очнувшись, увидел Искрину Романовну, которая буквально висела на занесенном кулаке Тимчука. — Стойте! — повторяла она. — Не смейте его бить!

Дежурный, может быть, понял, что допустил какую-то ошибку, но, еще не желая в ней признаться, спросил Искрину Романовну, что я за цаца такая, что меня нельзя бить.

— Да вы знаете, кто он такой? — продолжала негодовать Искрина. — Да ведь это же...

---

[1] Biergarten — пивная в саду (*нем.*).

Она наклонилась к дежурному и сказала ему что-то на ухо.

Ситуация резко переменилась. Дежурный выскочил из-за перегородки и чуть ли не валялся в ногах, прося пощадить его и его детей, которых у него, может быть, не было. Рядом с ним трясся от страха Тимчук, который сразу же стал маленьким и плюгавым.

Само собой, отрезанные штанины мне тут же были с поклоном возвращены, а появившаяся неизвестно откуда сестра милосердия оказала мне первую помощь, залепив нос и губы изоляционной лентой, которая пахла смолой.

— Пойдемте! — тянула меня за руку Искрина Романовна, а дежурный все еще вертелся перед носом и кланялся и просил пощадить. — Ну пойдемте же! — настаивала Искрина.

— Сейчас, — сказал я и, вырвав у нее руку, прямо локтем заехал дежурному в рыло, отчего у него из носа кровь брызнула в разные стороны. — Вот, — сказал я, — тебе по-социлисски. А тебе, сука, — повернулся я к Тимчуку, — по-китайски.

Я дал ему кулаком по сопатке и сам же завыл нечеловеческим голосом — морда у Тимчука была изготовлена из кирпича.

КАК ПАХЛА МАМА

— Ну, рассказывайте, — строго сказала мне Искрина Романовна, когда мы вернулись в гостиницу. — Как вы оказались во внубезе? Что вас туда занесло?

Мне было ужасно неловко. Трогая пальцем

разбитый нос, я сказал, что хотел всего лишь пройтись, посмотреть своими глазами, как живут простые комуняне.

— А как же вас выпустила дежурная?

— Она меня никак не выпускала. Она просто спала, и я тихонько прошел мимо.

— Видите, она спала! — возмутилась Искрина. — Вот до чего доходит потеря бдительности! Нет, таким в Москорепе не место.

— Но она не виновата! — закричал я, испугавшись, что сильно подвел дежурную. — Она, может быть, устала за ночь и задремала. А я шел очень тихо. Я даже ботинки снял, чтобы она не слышала.

Про ботинки я, конечно, наврал.

— Ну хорошо, рассказывайте дальше. — Искрина уселась в кресло и взирала на меня строго, как судья.

Я рассказал все, как было. Про очередь во дворе и скандал с теткой, которая понимает по-иностранному. Про памятник Гениалиссимусу, про Прекомпит.

— А что вы делали во Дворце Любви?

Я совсем смутился.

— Ну вот, — сказал я, — вам все нужно знать. В том-то и дело, что я там ничего не делал. Потому что не с кем было. Подобным самообслуживанием я даже в детстве не увлекался. А уж в моем возрасте мне об этом и думать противно.

— А вас никто и не заставлял, — сказала она резко. — Вы должны были бы понять хотя бы по тому, как вас встречали, что вы можете рассчитывать на большее. Эти места, которые вы посетили, предназначены для комунян общих потребностей.

А для вас решением Верховного Пятиугольника установлены повышенные потребности.

— Спасибо, — сказал я довольно холодно. — Но я, если хотите знать, вообще-то, против неравенства. И если уж я сюда попал, то не хочу никаких привилегий, а хочу быть как все.

— Какой же вы все-таки отсталый! — воскликнула она в сердцах. — Что значит — как все? О каком неравенстве вы говорите? У нас все равны. Каждый комунянин рождается с общими потребностями. Но потом, если он развивается, совершенствуется, выполняет производственные задания, соблюдает дисциплину, повышает свой кругозор, тогда, естественно, его потребности возрастают, и это учитывается. Вообще, я вижу, наша жизнь вам еще совершенно непонятна и вам лучше одному пока не ходить. Тем более что вам надо готовиться к вашему юбилею.

— Да что вы пристали ко мне с этим юбилеем! — рассердился я. — Не хочу я никаких юбилеев. Вам хорошо известно, что мне на самом деле не сто лет, а гораздо меньше.

— Ну да, вы выглядите гораздо моложе, — согласилась она. — Но все-таки вам исполняется именно сто лет. Завтра указ Верховного Пятиугольника о всенародном праздновании вашего юбилея будет опубликован. Это будет событие огромного политического значения. А вы ведете себя так легкомысленно. Поэтому Творческий Пятиугольник поручил мне переселиться к вам и провести с вами курс интенсивной индивидуальной подготовки.

Я посмотрел на нее недоверчиво.

— Я не понял, — сказал я. — Что значит — вам

поручили переселиться? Вы собираетесь жить со мной в одном номере?

— Ну да, — сказала она. — Во всяком случае, до тех пор, пока вы сами не станете ориентироваться. Тут места на двоих достаточно.

— Места, конечно, хватит. Но тогда скажите кому-нибудь, пусть мне поставят раскладушку.

— Зачем? — удивилась она. — Эта кровать достаточно широка. Я надеюсь, вы не очень сильно храпите?

— Не знаю, — сказал я неуверенно. — Обычно не храплю, но... Слушайте, — сказал я, волнуясь. — Я все-таки чего-то не понимаю. Вы можете считать меня столетней развалиной, но я не могу спать в одной постели с женщиной, как бесчувственная колода. У меня могут возникнуть всякие такие... как бы сказать... побуждения и... в общем-то, я за себя не ручаюсь.

Тут она первый раз за все время, сколько я ее знал, засмеялась и сказала, что я человек не только отсталый, но и просто глупый. Естественно, ложась со мною в постель, она не собирается подвергать меня непосильным испытаниям. Напротив, Творческий Пятиугольник рекомендовал ей удовлетворять мои повышенные потребности по мере их возникновения.

— Кстати, — сказала она по-деловому, — вас в этом смысле тоже, вероятно, придется кое-чему поучить. Ваши представления о сексе, как я подозреваю, такие же дикие, как обо всем другом.

— Возможно, — согласился я в замешательстве. — Они у меня, в общем-то, диковаты. А вы что же, так вот можете спать с кем попало и даже получать от этого удовольствие?

Мне показалось, что мой вопрос ее немного оскорбил и покоробил.

— Я сплю не с кем попало, — сказала она, — а только по решению нашего руководства. А удовольствие от этого я получаю, как от всякой общественно полезной работы.

Сказать откровенно, я очень разволновался. Я стал расхаживать по комнате и думать, как мне к этому всему относиться. Я, собственно, от общественно полезной работы такого рода тоже никогда не уклонялся, но есть же все-таки какие-то понятия о супружеской верности. Я, может быть, был не всегда очень стоек и со Степанидой дал слабину, но все же своей жене я без крайней необходимости стараюсь не изменять. Это я и попытался сейчас объяснить.

— Дорогая Искрина Романовна... — начал я.

— Ты можешь называть меня просто Искрой, — перебила она, улыбнувшись. — Или даже киской, если тебе это нравится.

Понятно, мне сразу припомнился дурацкий мой сон, в котором Смерчев называл киской мою жену.

— А что, — спросил я, — у вас тут всех, что ли, кисками называют?

— Ничего не всех. Просто меня зовут Искра. Искра — киска, это звучит похоже.

Ходя взад-вперед, я уже новыми глазами поглядывал на нее. Все ее выпуклости и впуклости были на месте, и коленки такие круглые, загорелые. Конечно, как исключительно верный супруг, я не должен был этого замечать. Но, будучи человеком законопослушным, я не мог не подчиниться

такому важному органу, как Творческий Пятиугольник.

— Ну что ж, Кисуля, — сказал я, робея. — Если на нас возложены такие обязанности, давай сразу приступим к их исполнению.

— Хорошо, — согласилась она и, пересев из кресла на край кровати, стала расстегивать гимнастерку, обнажив жалкого вида пластмассовый медальон в виде звезды с закругленными лучами.

Тут я вдруг испугался. Я испугался, что окажусь не в состоянии оправдать надежды Пятиугольника. Потому что во мне еще глубоко сидели всякие социалистическо-капиталистические предрассудки, что перед этим делом надо как-нибудь разогреться. Чего-нибудь выпить, Пушкина-Есенина почитать, и вообще для начала нужны какие-нибудь такие вздохи, намеки, касания.

— Ладно, — сказал я. — Сейчас все сработаем. Только подожди, хотя бы побреюсь, а то я очень колючий.

Я достал из-под кровати свой «дипломат», бросил на тумбочку и, отвернувшись от Искры, стал в нем ковыряться. Бритва была где-то на дне. Я торопился, нервничал и начал швырять прямо на пол трусы, майки, носки...

— А что это у тебя? — спросила Искра.

— Где?

— Ну вот это, то, что ты держишь в руках.

— Это?

В руке у меня был кусок туалетного мыла «Нивея».

— Это просто мыло, — сказал я. — Туалетное мыло.

— Да? — Мне показалось, она чем-то смущена. — А почему оно твердое? Замороженo?

— Почему заморожено? — не понял я. — Обыкновенное твердое мыло.

— Интересно, — сказала она, смущаясь все больше. — А можно понюхать?

— Пожалуйста.

Я бросил ей мыло через кровать.

Она ловко поймала его, поднесла к лицу и вдруг вскрикнула:

— Ах!

— Что с тобой? — испугался я. Словно оцепенев, она прижимала мыло к лицу, внюхивалась в него и не открывала глаз.

— Искра! — встревожился я. — Искрина! Искрина Романовна, да что это с вами случилось?

Медленно она открыла глаза, посмотрела на меня внимательно, словно не сразу узнавая.

— Так пахла моя мама! — тихо сказала она и застенчиво улыбнулась.

ЧАСТЬ IV

СЛАВА

Все средства массовой информации Москорепа говорят только обо мне. Вернее, обо мне и о Гениалиссимусе. Начинают всегда с него.

С утра по всем двенадцати каналам москорепского телевидения дикторы Семенов и Малявина торжественно читают бюллетень о состоянии его здоровья, которое всегда выше всяких похвал. Пульс и давление всегда чуть-чуть лучше, чем нужно. Легкие, печень, почки работают превосходно, анализы мочи и крови отличные. О возрасте Гениалиссимуса газеты и телевидение умалчивают, а те, кого я об этом спрашивал (Искра, Смерчев, Сиромахин), только пожимают плечами, говорят, что никогда этим не интересовались и вообще количество прожитых лет для Гениалиссимуса не имеет никакого значения, потому что он — вечно живой.

Я сказал Искре, что в мое время вечно живыми считались только мертвые люди, например Ленин. Она на это резонно заметила, что такое утверждение лишено всякого смысла и вечно живыми могут считаться только те, кто живет вечно.

Я сказал, что в прошлом история знала тоже много владык, которые считались вечно живыми

или бессмертными, но все они в конце концов все-таки умирали. Это замечание Искру рассердило.

— Как ты можешь сравнивать! — сказала она возмущенно. — Неужели ты сам не понимаешь и не чувствуешь, что таких людей, как Гениалиссимус, вообще никогда еще не было? Не зря его наша печать называет человеком на все времена.

Я хотел возразить, что я лично уже пережил многих вечно живых, которые впоследствии вполне обыкновенным образом помирали от инфарктов, инсультов, почечной недостаточности или несварения желудка. Я, однако, от этого замечания воздержался, помня по прошлому опыту, что такие мысли во все времена считались крамольными и мне самому за них попадало. И очень сильно.

Я и сейчас от подобных утверждений воздержусь и сошлюсь только на официальные сообщения о жизни Гениалиссимуса. Он считается не только руководителем Москорепа и Первого Кольца враждебности, но народы других двух колец также считают его своим вождем и учителем. Они его обожают и верят, что, руководствуясь его идеями, и у себя когда-нибудь построят такую же замечательную жизнь, какой добились комуняне. Они знают, что он всегда думает о них, внимательно наблюдает за всеми подробностями их жизни и все свое время посвящает борьбе за всеобщее благо. Борьба эта, насколько я понял, заключается целиком в составлении ответов на поздравления, которые трудящиеся всего мира регулярно шлют своему вождю по поводу его дня рождения, написания им очередного сочинения или награждения его каким-нибудь орденом (а это происходит чуть ли не каждый день). Кроме того, он ежедневно рассыла-

ет во все концы мира различные послания, приветствия и призывы участникам всяких движений, съездов и конференций.

Но из простых смертных я, безусловно, самый знаменитый. По телевидению обо мне говорят с утра до ночи. Газета «Правда» посвящает мне ежедневно до полутора погонных метров в каждом рулоне. Лингвисты, литературоведы и критики в обстоятельных статьях и развернутых рецензиях рассказывают о моем жизненном пути, творческих достижениях и борьбе с бывшими коррупционистами. Правда, никаких моих книг они не называют и никаких цитат не приводят. Иногда даже допускают странные утверждения, что будто бы я первый отразил (хотя и не очень удачно) в литературе образ Гениалиссимуса, чего я сам, правду сказать, совершенно не помню. И хотя за славой я в прошлой жизни особенно не гонялся, но все-таки, что там говорить, приятно, включив телевизор, сразу услышать свое имя. Или найти свой портрет в газетном рулоне. Приятно узнать, что, идя навстречу моему юбилею, трудящиеся берут на себя повышенные обязательства по добыче угля, выплавке стали, обещают поменьше потреблять продукта первичного и побольше выдавать продукта вторичного. В короткое время я стал так знаменит, что меня, несмотря на жестокую нехватку бумаги, буквально засыпают письмами и телеграммами, а на улицу выйти нельзя, рука устает от автографов и рукопожатий.

Сразу скажу, что никаких неприятностей с одеждой у меня больше не было. На другой день после моей злополучной прогулки по Москве Искрина принесла мне короткие, форменные штаны и гим-

настерку с погонами младшего лейтенанта. Звание не бог весть какое, но для меня лестное, потому что в прошлой жизни мне не удалось дослужиться и до ефрейтора. Теперь же, гуляя по улицам, я нет-нет да и скошу глаз на плечо, чтобы убедиться, что звездочки мои на месте.

Вообще, те или иные радости жизни познаются в сравнении. Если бы в первое утро своего пребывания в Москорепе я не прогулялся по улицам, я бы никогда не понял, насколько приятнее быть комунянином повышенных потребностей, чем пользоваться потребностями общими.

В гостинице «Коммунистическая», где мы с Искриной живем, у нас удобный и светлый номер, с коврами на полу, с двумя картинами, изображающими Гениалиссимуса на лоне природы в мирной обстановке и в дыму какого-то сражения, где он, в полевой форме, протянув руку вперед, указывает своим воинам дорогу к победе. У нас роскошная ванная. Правда, горячая вода не идет, но на улице так жарко, что я с удовольствием пользуюсь холодным душем. Относительно потребностей я узнал, что их руководство Москорепа делит на несколько категорий. Общие потребности состоят из дыхательных, питательных, жидкостных, покровных (одежда) и жилищных. Удовлетворяются ими все без исключения комуняие, и право на них указано в первом параграфе Конституции Москорепа: «Каждый человек имеет право дышать воздухом, поглощать пищу, удовлетворять жажду, покрывать свое тело соответствующей сезону одеждой и жить в закрытых помещениях».

Эти потребности установлены научно и удовлетворяются полностью. Но потребности, удовлетво-

рение которых не является обязательным, устанавливаются в соответствии с заслугами. Это потребности повышенные, высшие и внекатегорные. Люди, относящиеся к этим разрядам, жалуются, что их потребности не всегда удовлетворяются. Иногда наблюдаются перебои (как у нас в гостинице) с подачей горячей воды, электричества, непорядки в работе лифтов и так далее.

Лично я не жалуюсь. Обслуживание в гостинице вполне хорошее, почти как при капитализме. Каждое утро красномордый официант по имени Пролетарий Ильич (Искрина зовет его Проша) вкатывает в нашу комнату тележку с завтраком, в который входят яичница с ветчиной, сливочное масло, красная икра, свежие булочки, яблочный джем, но вот кофе у них почему-то настоящего нет, так же как настоящего мыла. Проша меня каждый раз спрашивает: «Вы какой кофе предпочитаете, кукурузный или ячменный?» Я говорю, что предпочитаю кофейный кофе. Он широко открывает рот и ненатурально хохочет. Видимо, ему объяснили, что я юморист и говорю шутками, а он, как настоящий комупянин, обязан обладать чувством юмора. Я ему говорю, что я вовсе не шучу, что в мои социалистическо-капиталистические времена кофе делался из кофейных зерен. Он думает, что и это шутка, и хохочет опять.

Белье у нас в номере меняют каждый день, а свои ботинки я перед сном выставляю в коридор и утром нахожу их начищенными до блеска.

При этом коридорная Эволюция Поликарповна улыбается мне самым нежнейшим способом, выказывая мне свое уважение, почтение и даже любовь.

Обедаем и ужинаем мы в ресторане внизу. Там светло, уютно, играет тихая музыка. Во всей этой жизни есть только один существенный недостаток: в Москорепе строго соблюдается сухой закон. Я слышал, что некоторые комуняне, чтобы не нарушить закон, едят сухой зубной порошок, но мне он как-то не пришелся по вкусу.

ПЕРВЫЕ ДНИ

Между нами говоря, я не жалею, что сошелся с Искриной. Она оказалась немножко вздорной, но этот недостаток свойствен всем женщинам всех времен и народов. Кроме, разумеется, убежденных феминисток, которые по своим достоинствам приближаются к мужчинам, а в некоторых случаях даже превосходят их.

Внешне Искрина мне очень нравится. Первое время меня немного смущала ее стриженная наголо голова, и я спросил ее, что за глупая мода и не красивее ли женщине носить нормальную прическу? Она сказала, что комуняне носят волосы только зимой, а летом, борясь за всеобщую утилизацию, в обязательном порядке сдают их на пункты вторсырья.

— А что там с ними делают? — спросил я. — Набивают матрацы?

— Да нет, — сказала она простодушно. — По-моему, там с ними ничего не делают. Просто складывают, и все. Вот вторичный продукт, это другое дело. Это мы поставляем в страны Третьего Кольца.

— Зачем? — спросил я.

— По контракту. Когда-то коррупционисты за-

ключили с ними контракт на поставку газа, а газ давно весь кончился. Но наши ученые переоборудовали газопровод и... — Тут она не выдержала и стала смеяться.

Я спросил ее, в чем дело. Она смутилась и ни за что не хотела сказать. Но потом я все-таки из нее вытянул, что комуняне в шутку зовут теперь бывший газопровод Государственным ордена Ленина говнопроводом имени Ленина.

Между прочим, меня она упорно называет полюбившимся ей именем — Клаша. Я говорю, что за дурацкое имя Клаша, где ты такое слышала? Она говорит, что это нормальное домашнее имя. Не будет же она меня, как все, звать Классиком. Я охотно с ней согласился, что и Классик — имя дурацкое, но ни Клашей, ни Глашей я тоже называться никак не хочу.

— Если уж тебе обязательно хочется прилепить мне какую-то идиотскую кличку, то называй меня хотя бы Талик, как называла меня моя жена.

— Мне, — говорит она, — неинтересно, как тебя называла твоя старуха. И вообще, то, что у тебя было до меня, меня не касается.

Мой махровый синий халат она сначала осудила, как признак безумного расточительства. Неужели, мол, у вас там, в Третьем Кольце, все ходят в таких халатах? Я сказал, что не знаю, как сейчас, а в мое время ходили многие.

— Вот и дошли до ручки, — сказала она. Как все комуняне, она считает, что уровень благосостояния людей в Первом Кольце враждебности ниже, чем в Москорепе, во Втором ниже, чем в Первом, а уж в Третьем и вовсе полная нищета.

— Ты посмотри... — Она надела халат на себя и

стала заворачивать одну полу за другую. — Здесь сколько лишнего и сбоку, и снизу. Это можно было двух, а то даже и трех человек завернуть.

Несмотря на такую коммунистическую рассудительность, она этот халат надевала все чаще и все реже снимала. А заодно завладела и моими шлепанцами, хотя они тоже ей велики. У халата есть плетеный поясок с кистями, но она этим пояском пользуется неохотно. Когда я начинаю чем-нибудь раздражаться, халат на ней слегка расползается, лишь чуть-чуть приоткрывая то, что под ним. Она уже поняла, что такой нехитрый прием действует на меня безотказно, я тут же кидаюсь на нее как сумасшедший.

— Ой, дедушка! — вопит она, отбиваясь. — Что вы, дедушка! Вам в вашем возрасте от этого может стать плохо.

— Сейчас я тебе покажу дедушку! — рычу я, а потом, словно в тумане, вижу ее лицо с закрытыми глазами и прикушенной нижней губой.

— Вот видишь! — сказала она мне однажды. — Я не зря думала, что ты дикарь.

— А мне кажется, — сказал я ей на это, — что ты выполняешь свои обязанности с большим рвением, чем тебе предписано по службе.

— Когда кажется, надо звездиться, — отшутилась она смущенно.

АВГУСТОВСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Из того, что я узнаю от Искры, по телевидению или из газет, трудно составить сколько-нибудь полное представление о том, когда точно произошла

Августовская революция и что именно было ее причиной, но по тем отрывочным сведениям, которые я в конце концов получил, я понял вот что.

До революции, когда никакого Москорепа еще не существовало в природе, Советским Союзом правили глубокие старцы. То есть они не всегда, конечно, были такими глубокими. Власть они обычно захватывали еще полными сил и здоровья. И всякий раз принимались за омоложение кадров. Но за время омоложения они обычно успевали состариться и, умудренные возрастом, приходили к мысли, что наиболее прогрессивной формой правления является форма маразматическая. И держались за свои места до самой смерти. Новое поколение правителей опять принималось омолаживать кадры и снова не успевало. Благодаря хорошим условиям жизни и успехам медицины каждое следующее поколение вождей было старее предыдущего. Дело дошло до того, что из двенадцати последних членов Политбюро семь заканчивали свою деятельность, находясь в полном маразме, двое передвигались исключительно в инвалидных креслах, один был полностью парализован, другой глух как тетерев, а самый главный управлял ими всеми, находясь последние шесть лет в коматозном состоянии.

Тогда-то Гениалиссимус и произвел революцию, которая произошла в результате так называемого «заговора рассерженных генералов КГБ».

Меня очень интересовали подробности, но Искрина, насколько я понял, в истории была не очень сильна, потому что слишком много времени потратила на изучение предварительного языка.

О тех временах она слышала только от своей бабушки, которая рассказывала, что генералы бы-

ли все молодые, энергичные и все, как на подбор, красавцы. Что, придя к власти, они решили немедленно покончить с бесхозяйственностью, бюрократизмом, взяточничеством, воровством, кумовством, местничеством, землячеством, ячеством, пустословием, славословием, суесловием, парадностью, пьянством, пустозвонством, ротозейством, головотяпством, стали усиливать производственную дисциплину и бороться за перевыполнение планов. Они проявили много энергии, встречались с массами, выступали с речами, но больше всех трудился сам Гениалиссимус. Он разъезжал по всей стране и требовал увеличить добычу нефти, выплавку стали, урожайность хлопчатника, изучал проблемы яйценоскости кур-несушек и наблюдал за окотом овец. А поскольку страна большая, за всем не усмотришь, он решил воспользоваться передовой техникой и стал совершать регулярные инспекционные облеты на космическом аппарате. И оттуда следил за передвижением войск, разработкой карьеров, вырубкой лесов, строительством отдельных объектов и добычей угля открытым способом. Он вникал во все. Иногда даже заметит, что рабочие где-то слишком долго перекуривают, и прямо из космоса шлет приказ: начальника этих рабочих снять с работы, понизить в должности или отдать под суд. Или увидит, что какой-нибудь автомобиль превысил скорость или нарушил правила обгона, номер запишет и сообщает в автоинспекцию.

— И вот такими пустяками он занимался? — спросил я Искрину.

— Ну, почему же пустяками? — недовольно возразила она. — Он всем занимался. Не забывай, что по его идее и под его руководством у нас по-

строен коммунизм. Причем в течение одного лишь года после Августовской революции. Эти космические инспекции оказались настолько эффективными, что в конце концов было принято решение об оставлении Гениалиссимуса в космосе навсегда и разделении власти на небесную и земную. Гениалиссимус сверху осуществляет общее руководство, а земными делами управляют Верховный Пятиугольник и Редакционная комиссия.

КАК ПОСТРОИЛИ КОММУНИЗМ

От Искрины я узнал, что над выполнением программы построения коммунизма в одном отдельно взятом городе трудились не только москвичи, но трудящиеся всего Советского Союза. С их помощью были построены новые здания, и столица весь год запасалась всем необходимым. Со всей страны свозились запасы продовольствия и товаров ширпотреба.

Были приглашены также иностранные специалисты, включая немецких колбасников, швейцарских сыроваров и французских модельеров.

Задолго до объявления коммунизма на московские склады были доставлены запасы пепси-колы, разных сортов итальянской пиццы, американских гамбургеров, жевательных резинок, специально заказанных на Западе джинсов, маек с надписью «I love communism» и изготовленных в Германии различных сортов двуслойной туалетной бумаги в горошек и с пупырышками.

Одновременно были приняты меры, чтобы оградить Москву от приезжих из Первого Кольца

враждебности, особенно от жителей Калининской, Ярославской, Костромской, Рязанской, Тульской и Калужской областей, которые под предлогом осмотра достопримечательностей и музеев столицы в конце каждой недели совершали на Москву хищнические набеги, полностью опустошая магазины, предназначенные для снабжения москвичей. Для того чтобы лишить их предлога, Выставка достижений народного хозяйства, Третьяковская галерея, Оружейная палата Кремля, Музей изобразительных искусств имени Пушкина и Музей Льва Толстого (ныне музей Предварительной литературы) были вынесены за пределы московской территории. То же самое было сделано с вокзалами, на которых жители отдаленных районов раньше вынуждены были делать пересадку в Москве. Рабочие Люберецкого завода железобетонных изделий изготовили шестиметровые элементы для строительства ограды вокруг Москвы. Коллектив ленинградского Кировского завода произвел для той же цели столько колючей проволоки, что ей можно было четырежды обмотать весь земной шар. Трудящиеся Германской Демократической Республики (Второе Кольцо враждебности) поделились своим опытом установки минных полей и автоматических стреляющих установок, которые были настолько усовершенствованы, что убивали даже воробьев, случайно пролетавших мимо ограды.

Кроме того, был произведен качественный отбор людей. Примерно за месяц до наступления коммунизма из Москвы были выселены асоциальные элементы, включая алкоголиков, хулиганов, тунеядцев, евреев, диссидентов, инвалидов и пенсионеров. Студенты были направлены в отдаленные

строительные отряды, а школьники в пионерские лагеря.

В день объявления коммунизма все магазины ломились от разнообразных товаров и продуктов питания.

Однако дело было совершенно новое, поэтому избежать ошибок не удалось.

Искрина, со слов своей бабушки, рассказала мне, что в первый день коммунизма даже самые сознательные трудящиеся проявили полную несознательность и, несмотря на рабочий день, на работу не вышли, а кинулись в магазины и хватали что под руку попадется, сверх всяких потребностей.

Возникла ужасная давка, в результате которой в одном только Смоленском гастрономе было задавлено насмерть четырнадцать человек, в Елисеевском магазине были выбиты все стекла, опрокинуты все прилавки, а директору магазина вышибли глаз.

Самое большое несчастье случилось в ГУМе, где под напором толпы рухнули перила переходного мостика на втором этаже и люди падали вниз, убивая тех, на кого падали, и самих себя.

Коммунистические власти для восстановления порядка были вынуждены вызвать войска. В Москву были введены танки гвардейских Кантемировской и Таманской дивизий и на три дня было объявлено военное положение.

После этого к населению Москорепа обратился лично Гениалиссимус. Он сказал, что при введении в республике коммунистических порядков были допущены отдельные ошибки и перегибы. Он решительно раскритиковал и высмеял тех волюнтаристов, которые решили вот так с бухты-барахты

ввести дикий коммунизм. Он сказал, что, поскольку люди сами не умеют трезво оценивать свои потребности, последние теперь будут определяться Верховным и местными Пятиугольниками, но даже и ограниченные потребности нельзя удовлетворять без строжайшей экономии первичного продукта и полной утилизации продукта вторичного.

Я спросил Искрину, почему от нас никто не требует сдачи вторичного продукта. Она сказала, что комуняне повышенных потребностей от этой обязанности освобождены, тем более что канализационная система нашей гостиницы устроена так, что утилизирует вторичный продукт автоматически.

— Но эти люди, — спросил я, — которые были виновны в беспорядках первого дня, я надеюсь, понесли наказание?

— Еще какое! — сказала она. — Председатель государственного комитета по удовлетворению потребностей и начальник внубеза были осуждены и...

— ...и расстреляны! — догадался я.

— Ну что ты! — возразила Искрина. — Это никак не возможно. У нас в Москорепе смертная казнь навечно отменена. У нас есть только одно наказание — высылка в Первое Кольцо. И эти люди были туда высланы.

— Ну и напрасно, — сказал я. — Я, конечно, понимаю, что при коммунизме отношение к людям должно быть гуманным, но гуманизм гуманизму рознь и злоупотреблять им не следует.

— Не волнуйся, дурачок. — Искрина погладила меня по голове. — Они же были высланы в Первое Кольцо. А там смертная казнь еще не отменена.

КОМУНЯНЕ

На другой день Искрина сообщила мне еще одну потрясающую новость. Оказывается, у них в Москорепе нет не только смертной казни, но даже и смертность среди рядовых комунян вообще практически ликвидирована.

— Как это? — не поверил я. — Неужели ты хочешь сказать, что ваши комунянские ученые изобрели эликсир жизни?

Этот вопрос ее немного смутил. Она помялась и сказала, да, с эликсиром определенные достижения тоже есть, но ликвидация смертности достигнута более надежным и экономным способом. Просто тяжелобольные люди, а также пенсионеры и инвалиды, если они, конечно, не члены Редакционной Комиссии или Верховного Пятиугольника, переселяются в Первое Кольцо и заканчивают свою жизнь там. А здесь остаются только редкие случаи смертности от несчастных случаев, ну и еще от инфарктов и инсультов. Впрочем, и эти случаи единичны, поскольку людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями тоже заблаговременно отправляют за пределы Москорепа, а если с кем случится припадок или приступ аппендицита, «Скорая помощь» отвозит его туда же.

— Значит, в Москорепе вообще нет сердечников, гипертоников, инвалидов и стариков? — спросил я.

— Совершенно верно, — подтвердила она. — А еще у нас нет собак, кошек, хомяков, черепах и всяких других непродуктивных животных. Раньше люди их разводили, и это было очень глупо. По-

тому что все эти животные пользы никакой не приносят, а первичный продукт потребляют.

— Значит, их уничтожили?

— Ну зачем ты говоришь такие слова? — возмутилась она. — Почему обязательно уничтожили? Их тоже выслали в Первое Кольцо.

— Хомяков и черепах выслали? — переспросил я. — А там что с ними сделали?

— Не знаю, — сказала она неохотно. — Может быть, там их съели. Видишь ли, у нас население первичным продуктом удовлетворяется полностью, а у них бывают перебои.

МОСКОРЕП

Обычно Искрина пытается говорить со мной на предварительном языке, который она изучала не по художественной литературе, а по передовицам «Правды» докоммунистического периода. А я этим языком, признаться, и сам владею довольно плохо. Поэтому я ей всегда предлагаю изъясняться на коммунистическом языке, в котором я достиг уже некоторого прогресса.

В изучении языка очень помогает телевидение. Между прочим, оно здесь исключительно кабельное. Я думал, оно введено здесь для того, чтобы улучшить качество передач, но истинная причина оказалась гораздо серьезнее. Дело в том, что американцы еще до Августовской революции начали с помощью спутников транслировать на советские телевизоры свои передачи...

— Но введением кабельного телевидения эта

идеологическая диверсия была обезврежена, — догадался я.

— Не совсем, — усмехнулась Искрина. — Они разработали новую провокацию и с помощью установленных на Луне лазерных проекторов демонстрируют иногда свои порочные фильмы прямо на небе, используя облачный покров вместо экрана.

— Как это? — не поверил я. — Неужели это возможно?

— К сожалению, возможно, — сказала Искрина. — Конечно, мы с этим боремся. Например, вот эти длинные козырьки на кепках были рекомендованы органами БЕЗО специально, чтобы люди могли защищаться от облучения. Но некоторые несознательные люди пытаются подглядывать из-под козырьков. Приходится бороться другими способами.

— А, понятно, — сказал я. — Тем, кто подглядывает из-под козырьков, делают так. — Руками я изобразил скручивание шеи.

— Ну какой же ты отсталый! — хлопнула в ладоши Искрина. — У нас общество гуманное, у нас ни с кем так не поступают. Просто разгоняют облака. Правда, это отрицательно сказывается на климате и урожайности, но идеологическая борьба у нас стоит на первом месте, а урожайность на втором.

— Ну, это ясно. Это и в мое время так было.

Все-таки хорошо, что у меня есть Искрина! Благодаря ей я теперь знаю, например, что не только внешний мир разделен на кольца, но и территория самого Москорепа тоже состоит из трех колец коммунизма, которые комуняне, учитывая сложившуюся аббревиатуру — КК, называют (в шут-

ку, конечно) Каками. Первая Кака расположена в пределах бывшего Бульварного кольца, вторая в пределах Садового, в третью входит все пространство между Садовым кольцом и бывшей Московской кольцевой дорогой, которая теперь называется магистралью Славы.

Хотя очень четкого разграничения нет, но можно сказать, что комуняне повышенных потребностей сосредоточены в основном в первой Каке, общих потребностей — во второй. В третьей Каке живут главным образом комуняне самообеспечиваемых потребностей. Здесь, на периферии Москорепа, допускаются очень смелые экономические эксперименты. Комунянам третьей Каки разрешается выращивать на балконах овощи и мелких продуктивных животных: свиней, коз и овец. Если эти эксперименты будут признаны удачными, то, возможно, положительный опыт периферийных комунян будет распространен и на центральные Каки.

ЦЕРКОВЬ

Коммунистическая Реформированная Церковь была учреждена в соответствии с Постановлением ЦК КПГБ и Указом Верховного Пятиугольника «О консолидации сил». В обоих документах было указано, что культисты, волюнтаристы, коррупционисты и реформисты боролись с религией вульгарно. Притесняя верующих и оскорбляя их чувства, они недооценивали той огромной пользы, которую верующие могли приносить, будучи признаны как равноправные члены общества. Документы торжественно провозглашали присоединение церкви к

государству при одном непременном условии: отказе от веры в бога. (Это условие в окончательный текст документов было внесено Редакционной комиссией.) Реформированная Церковь своей целью ставит воспитание комунян в духе коммунизма и горячей любви к Гениалиссимусу.

С этой целью ведутся регулярные проповеди в трудовых коллективах и в храмах, где также проводятся службы в честь Августовской революции, дней рождения Гениалиссимуса, Дня Коммунистической Конституции и т. д.

Разумеется, у этой церкви есть свои святые: святой Карл, святой Фридрих, святой Владимир, внесены в святцы многие герои всех революций (но в первую очередь герои Августовской революции), всех войн и герои труда.

Церковь всегда внушает своей пастве, что настоящий праведник — это тот, кто выполняет производственные задания, соблюдает производственную дисциплину, слушается начальства и проявляет постоянную бдительность и непримиримость ко всем проявлениям чуждой идеологии.

Церковь также постоянно борется за распространение среди комунян новых коммунистическо-религиозных обрядов.

О СЕМЬЕ И БРАКЕ

В брак разрешается вступать мужчинам с 24 лет, а женщинам с 21 года. Браки заключаются исключительно по рекомендации местных Пятиугольников. Рекомендации выдаются только лицам, выполняющим производственные задания, ведущим

активную общественную работу и не употребляющим алкоголя. Браки заключаются временно на четыре года. Потом с согласия Пятиугольника они могут быть продлены еще на такой же период, а могут быть в случае антиобщественного поведения одного из супругов расторгнуты раньше. По истечении продуктивного возраста (у женщин 45, у мужчин 50 лет) браки автоматически расторгаются.

Я спросил у Искры, бывают ли среди комунян люди, которые любят друг друга и хотят жить друг с другом, но не имеют рекомендаций, или такие, которые хотят продолжать совместную жизнь после брачного возраста.

Она сказала, что, конечно, бывают.

— И как же они выходят из положения? — спросил я.

— Никак не выходят. Просто живут вместе, да и все. Если есть где. А если негде, встречаются где-нибудь в кустах или подъездах.

Что касается лиц, не имеющих достаточного количества показателей для вступления в брак, они пользуются различными видами периодического сексуального обслуживания. Их потребности удовлетворяются передвижными бригадами Дворца Любви по месту службы, чаще всего после работы или во время обеденного перерыва.

ВОСПИТАНИЕ КОМУНЯН

Мой рассказ о правах и обычаях комунян был бы не полон, если бы я не коснулся темы воспитания комунян, которое осуществляется следующим образом.

Родившись, комунянин подвергается обряду звездения.

Затем он проходит две стадии: предварительную в детском саду, где ему дают первые уроки любви к родине, партии, церкви, государственной безопасности и Гениалиссимусу. Он разучивает стихи и песни о Гениалиссимусе, а также приучается к работе секретного сотрудника БЕЗО. В непринужденной веселой обстановке дети учатся следить друг за другом, доносить друг на друга и на родителей воспитателям и на воспитателей заведующей детским садом. Примерно два раза в год такие заведения проверяет комиссия всеобщего коммунистического воспитания, членам этой комиссии можно доносить на заведующую. В детских садах доносы питомцев рассматриваются всего лишь как игра, им серьезного значения обычно не придают, за исключением тех случаев, когда дети раскрывают какой-нибудь серьезный заговор.

В предкомобах дети уже учатся составлять письменные доносы и одновременно преподаватели русского языка следят, чтобы эти сочинения писались правильным русско-коммунистическим языком, были интересными по форме и глубокими по содержанию.

Разумеется, дети изучают и общие науки, но основное внимание уделяется изучению трудов Гениалиссимуса и трудов о Гениалиссимусе.

Обучение в предкомобе обязательное десятилетнее. Дети поступают в предкомоб в восемь лет, а кончают его в восемнадцать.

Успешно окончившим предкомоб выдается одновременно свидетельство об окончании предкомоба, паспорт, партийный билет, военный билет и

удостоверение секретного сотрудника государственной безопасности.

— А что выдается тем, кто окончил предкомоб неуспешно?

— Их высылают в Первое Кольцо, — сказала Искрина.

БЕЗБУМЛИТ

О ходе подготовки к празднованию моего юбилея я узнаю не только по телевидению и не только из газеты «Правда», свежий рулон которой я всегда нахожу в кабесоте моего гостиничного номера, но и из докладов Коммуния Ивановича Смерчева и Дзержина Гавриловича Сиромахина.

Оба генерала ежедневно звонят мне по телефону или являются сами и рассказывают, что где происходит и какие успехи достигнуты трудящимися Москорепа и Первого Кольца в связи с моим юбилеем.

Причем Дзержин докладывает с какой-то непонятной ухмылкой, зато Коммуний всегда серьезно и даже приподнято. Он выкладывает мне какие-то цифры, сколько, где, чего произведено, сколько новых бригад встали на предъюбилейную вахту и как интенсивно комуняне изучают произведения Гениалиссимуса.

Я ему однажды сказал, что если уж комуняне действительно хотят встретить мой юбилей должным образом, им следовало бы ознакомиться не только с произведениями Гениалиссимуса, но и моими. Возможно, они не выдерживают сравнения с тем, что пишет Гениалиссимус, но все-таки, мо-

жет быть, комуняне найдут для себя какие-нибудь полезные сведения и в них.

— Да, да, да, — охотно согласился Смерчев. — Давно назревшая мера. И она рассматривается нашим руководством. Ну, а пока, может быть, вам следует познакомиться с вашими коммунистическими преемниками, узнать, как они живут, трудятся и развивают заложенные вами традиции.

— Конечно, — сказал я. — Давно пора. Я удивлен, что вы меня до сих пор не приглашали.

— До сих пор просто мы думали, что вам, может быть, пора отдохнуть. И кроме того, у вас же сейчас что-то вроде медового месяца. Кстати, как вам наша Искрина? Некоторые наши комсоры ее хвалят за очень высокую культуру обслуживания.

Я посмотрел на него с большим удивлением. Что это все значит? Дать ему по роже как-то неудобно. Все-таки генерал.

— Послушайте, — сказал я Коммунию, — и запомните раз и навсегда. В моем присутствии я никому не позволю отпускать такие скабрезные замечания об Искрине Романовне.

— Что вы! Что вы! — испугался Смерчев. — Я ничего плохого сказать не хотел. Я сам у нее не обслуживался, но другие...

Ну что я мог ему сказать, если он сам не понимает?

— Ладно, — перебил я его. — Закроем эту тему. Так когда же можно посетить ваших комписов?

Смерчев сказал:

— Хоть сейчас.

Мы вышли на улицу. Там нас ждал уже Вася, но не в бронетранспортере, а в обыкновенном черном легковом паровике.

Мы выехали на проспект Маркса, который перешел в улицу Афоризмов Гениалиссимуса, и у библиотеки Ленина (к моему удивлению, она все еще существовала под прежним названием) свернули на проспект имени Четвертого тома, бывший Калининский. По дороге Смерчев рассказал мне, что вся работа Союза коммунистических писателей по личному указанию Гениалиссимуса и в соответствии с постановлением ЦК КПГБ «О перестройке художественных организаций и усилении творческой дисциплины» самым решительным образом реорганизована. Раньше писатели работали у себя дома, что противоречило общим принципам коммунистической системы и унижало самих писателей, ставя их в положение каких-то оторванных от народа надомников. Это, кроме всего, вызывало справедливые нарекания со стороны остальной трудящейся массы, которая должна была трудиться в колхозах, на заводах, фабриках и в учреждениях. Пользуясь своим исключительным по сравнению со всеми другими положением, писатели приступали к работе, когда им заблагорассудится. Некоторые сознательные писатели честно трудились полный рабочий день, но другие устанавливали для себя продолжительность рабочего дня произвольно, по своему собственному усмотрению.

Комиссия, разбиравшая деятельность Союза, обнаружила вопиющие злоупотребления, заключавшиеся в том, что некоторые литераторы буквально годами ничего не писали. У этих бездельников считался чуть ли не героическим девиз одного из представителей предварительной литературы: «Ни дня без строчки».

— Вы представляете, какое это издевательство

над нашими тружениками, — сказал с негодованием Смерчев. — Это все равно, как если бы, ну вот как правильно, как мудро и очень своевременно сказал наш Гениалиссимус, как если бы наши героические хлеборобы взяли на себя обязательство выращивать в день по одному колоску. Это же просто какая-то глупость, не так ли?

Я с ним охотно согласился, но спросил, какие же нормы выработки существуют у коммунистических писателей.

— Разные, — ответил Смерчев. — Все зависит от качества. Кто дает хорошее качество, для того норма снижается, у кого качество низкое, тот должен покрывать его за счет количества. Одни работают по принципу «лучше меньше, да лучше», другие по принципу «лучше хуже, да больше». Но самое главное, что теперь писатели приравнены к другим категориям комслужащих. Они теперь так же, как все, к девяти часам являются на работу, вешают номерки и садятся за стол. С часу до двух у них обеденный перерыв, в шесть часов конец работы, после чего они могут отдыхать с чувством выполненного долга. Вам это интересно? — спросил он на всякий случай.

— Безумно интересно, — сказал я искренне. — Я ничего подобного раньше не слышал.

— Да-да, конечно, — радостно сказал Смерчев. — Конечно, вы такого не слышали. Я подозреваю, что у нас есть еще много такого, о чем вы раньше не слышали.

Тут же он мне рассказал кое-что о структуре Союза коммунистических писателей. Он состоит из двух Главных управлений, которые, в свою оче-

редь, делятся на объединения поэтов, прозаиков и драматургов.

— А в каком объединении находятся критики? — спросил я.

— Ни в каком, — сказал Смерчев. — Критикой у нас занимается непосредственно служба БЕЗО.

— Очень рад от вас это слышать, — сказал я растроганно. — В наше время это было совсем глупо поставлено. Тогда органы госбезопасности тоже занимались критикой, но они, по существу, просто дублировали органы Союза писателей.

— С этой порочной практикой, — нахмурился Смерчев, — у нас навсегда покончено.

Я задал ему ряд второстепенных вопросов, например, какие сейчас жанры более в моде: проза? стихи? пьесы?

— Все, все без исключения жанры, — сказал Смерчев. — Модных или немодных жанров у нас нет. В каком жанре умеешь, в таком и пиши про нашего славного, нашего любимого, нашего дорогого всем Гениалиссимуса.

— Извините, — перебил я. — Кажется, я чего-то не понял. Неужели все без исключения писатели должны писать непременно о Гениалиссимусе?

— Что значит должны? — возразил Смерчев. — Они ничего не должны. Они пользуются полной свободой творчества. Но они сами так решили и теперь создают небывалый в истории, грандиозный по масштабу коллективный труд — многотомное собрание сочинений под общим названием «Гениалиссимусиана». Этот труд должен отразить каждое мгновение жизни Гениалиссимуса, полностью раскрыть все его мысли, идеи и действия.

— А разве у вас нет писателей детских или юношеских?

— Ну конечно же, есть. Детские писатели описывают детские годы Гениалиссимуса, юношеские — юношеские, а взрослые описывают период зрелости. Разве это не понятно?

Он посмотрел на меня как-то странно. Мне показалось, что он меня заподозрил в том, что я или дурак, или шпион. Чтобы рассеять его подозрения, я объяснил, что хотя и в литературе зрелого социализма были разнообразные ограничения, но тогда правила не были еще столь продуманными. Наши писатели тоже описывали жизнь вождей или движение всяких промышленных и сельскохозяйственных механизмов, но все же некоторые ухитрялись писать разные романы или поэмы о любви, природе и всяких таких вещах.

На это Смерчев сказал, что в этом отношении и сейчас ничего не изменилось и, разумеется, каждый коммунистический писатель может писать о своей горячей любви к Гениалиссимусу совершенно свободно. Он может также свободно писать и о природе, какие великие преобразования произошли в ней в результате построенных под руководством Гениалиссимуса снегозадержательных заграждений, новых лесопосадок, каналов и поворота реки Енисей, который впадает теперь в Аральское море.

Я хотел спросить его о судьбе других сибирских рек, но машина остановилась перед каким-то зданием, по-моему, это был сильно перестроенный бывший Дом литераторов.

Теперь там была другая вывеска:

ОРДЕНА ЛЕНИНА ГВАРДЕЙСКИЙ СОЮЗ КОММУНИСТИЧЕСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЕЗБУМАЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (БЕЗБУМЛИТ)

На мой вопрос, что такое безбумажная литература, Смерчев с улыбкой ответил, что это литература, которая пишется без бумаги.

С большим интересом вошел я в открытую Коммунием дверь.

Да, да, да, это был давно знакомый мне холл Дома литераторов. Когда-то его охраняли изнутри вредные тетки, которые у каждого входящего требовали предъявления членского билета Союза писателей. Теперь этих теток не было. Вместо них были два автоматчика, которые при виде Смерчева взяли на караул.

— Это со мной, — кивнул на меня Смерчев, и мы прошли беспрепятственно.

Стены холла были чистые, но голые, не считая портрета что-то сочиняющего Гениалиссимуса и стенной газеты «Наши достижения», в которую я успел заглянуть.

Из этой газеты я узнал, что коммунистические писатели не только пишут, но также постоянно изучают жизнь и укрепляют связь с массами, выезжая на уборку картофеля, подметая улицы и работая на строительных площадках.

В очень едком фельетоне критиковался какой-то компис, который в течение месяца ухитрился трижды опоздать на работу.

Больше я ничего прочесть не успел, потому что Смерчев меня тащил в ту сторону, где в мое время был ресторан.

Там, однако, никакого ресторана не оказалось, там был длинный и широкий коридор с дверьми по обе стороны, как во Дворце Любви.

— Ну, — сказал Смерчев, — зайдем хотя бы сюда. — Он толкнул одну из дверей, и мы оказались в бане. То есть мне сначала так показалось, что в бане. Потому что люди, которые там находились (человек сорок), были все голые до пояса. Все они сидели попарно за партами и барабанили пальцами по каким-то клавишам.

А перед ними за отдельным столом сидел военный в полной форме с погонами подполковника.

При нашем появлении подполковник сначала как-то растерялся, а потом заорал не своим голосом:

— Встать! Смирно!

Загремели отодвигаемые стулья, голые люди немедленно вскочили и вытянулись, и только один очкарик на задней парте, не обратив никакого внимания на команду, продолжал как безумный барабанить по клавишам. При этом он вертел стриженой головой, делал странные рожи, высовывал язык, хмыкал и всхлипывал.

Подполковник испуганно смотрел то на нас, то на очкарика, потом крикнул:

— Охламонов, остановитесь! Слышите, Охламонов!

Но Охламонов явно не слышал. Его сосед сначала ткнул его локтем в бок, затем потащил за руку, потом ему на помощь пришел еще кто-то. Охламонов вырывался, как припадочный, и тыкал пальцами в клавиши.

В конце концов его кое-как удалось оторвать, и только тут он увидел, что все стоят, и сам вытянул-

ся, но продолжал косить глаз на парту, а руки его все дергались и тянулись к клавиатуре.

— Комсор классик предлитературы, — срывая голос, доложил мне подполковник, — писатели-разработчики подразделения безбумажной литературы заняты разработкой темы коммунистического труда. Работа идет строго по графику. Опоздавших, отсутствующих и больных не имеется. Подполковник Сучкин.

— Вольно! Вольно! — скомандовал я и помахал всем руками, чтобы сели.

Под дружный треск клавишей подполковник мне рассказал, что его отряд состоит из начинающих писателей, или, как их еще называют, подписателей или подкомписов. Сам он является их руководителем, и его должность называется писатель-наставник. Подкомписы в жаркую погоду работают обнаженными до пояса во избежание преждевременного износа одежды. Все подкомписы еще только сержанты. У них пока нет достаточного писательского стажа, поэтому излагать свои мысли непосредственно на бумаге им пока что не разрешают. Но они разрабатывают разные аспекты разных тем на компьютере, потом их разработка поступает к комписам, а те уже создают бумажные произведения.

— Вы, наверное, никогда не видели компьютера? — осведомился подполковник.

— Ну почему же, почему же? — тут же вмешался Смерчев. — Классик Никитич не только видел, но даже и сам некоторые свои сочинения написал на компьютере.

— Ну да, — сказал я, — да, — уже не удивляясь осведомленности Смерчева. — Кое-что я действи-

тельно сочинял на компьютере, но у меня был не такой компьютер, у меня был с экраном, на котором я видел то, что пишу, и, кроме того, у меня было печатное устройство, на котором я написанное тут же отпечатывал.

— Вот видите! — радостно сказал подполковник. — Ваше древнее устройство было слишком громоздко. А у нас, как видите, никаких экранов, никаких печатных устройств, ничего лишнего.

— Это действительно интересно, — сказал я, — но я не понимаю, как же ваши сержанты пишут, как они видят написанное?

— А они никак не видят, — сказал подполковник. — В этом нет никакой потребности.

— Как же нет потребности? — удивился я. — Как же это можно писать и не видеть того, что пишешь?

— А зачем это видеть? — в свою очередь удивился подполковник. — Для этого существует общий компьютер, который собирает все материалы, сопоставляет, анализирует и из всего написанного выбирает самые художественные, самые вдохновенные и самые безукоризненные в идейном отношении слова и выражения и перерабатывает их в единый высокохудожественный и идейно выдержанный текст.

Должен признаться, что о таком виде коллективного творчества я никогда не слышал. Мне, естественно, захотелось задать еще несколько вопросов подполковнику, но Смерчев, глянув на наручные часы, сказал, что нам пора идти, а все, что мне непонятно, он сам охотно объяснит.

По-моему, подполковник был рад, что мы уходим. Он снова скомандовал «встать, смирно» (при-

чем Охламонов, конечно, опять не встал), мы со Смерчевым сказали сержантам «до свиданья» и вышли.

— Ну, вы поняли что-нибудь? — спросил Смерчев, как мне показалось, насмешливо.

— Не совсем, — признался я. — Я все-таки не совсем понял, куда идет тот текст, который пишут сержанты.

— А вот сюда он идет, — сказал Смерчев и показал мне на дверь с надписью:

ОТДЕЛ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАБОТКИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ТЕКСТОВ.
ВХОД ПО ПРОПУСКАМ СЕРИИ «Д»

Два суровых автоматчика у дверей внимательно следили за всеми, кто к ним приближался.

Я спросил Смерчева, зачем такие строгости, и он охотно объяснил, что здесь и находится тот самый совершенно секретный компьютер, который запоминает и анализирует текст, написанный первичными писателями, выбирает наиболее удачные в идейном и художественном отношении фразы и составляет общую композицию.

— Как вы сами понимаете, — сказал Смерчев, — нашим врагам очень хотелось бы сюда проникнуть и внести в этот электронный мозг свои идеологические установки.

— А у вас много врагов? — спросил я.

— Встречаются, — сказал Смерчев и улыбнулся так, как будто факту наличия врагов был даже рад. — Впрочем, — поправился он, — бывают враги, а бывают просто незрелые люди, которые, еще не овладев, понимаете ли, даже основами передо-

вого мировоззрения, высказывают порочные мысли. Некоторые, — он на ходу повернул ко мне голову, улыбнулся и сделал даже что-то вроде неуклюжего реверанса, — не понимая взаимосвязи явлений, не разбираются, что в природе первично, а что вторично.

— Вы думаете, что в Москорепе есть такие люди? — спросил я.

— Да, — сказал он и придал своему лицу грустное выражение. — Такие люди, к сожалению, есть. Но, — тут же поспешил он поправиться, — мы относимся с пристальным вниманием к каждому человеку и делаем большую разницу между людьми, высказывающими враждебные нам взгляды намеренно или допускающими их по незнанию.

Я промолчал. Сообщение Смерчева было мне крайне неприятно, потому что содержало намек на одно из моих высказываний. Это высказывание не могло было быть известно никому, кроме Искрины.

ПЕРВИЧНОЕ ВТОРИЧНО

Дело было как-то вечером после ужина. Мы сидели у себя в номере, и я смотрел телевизор, к крайнему неудовольствию Искрины. Она вообще считает, что я провожу перед экраном слишком много времени, вместо того чтобы тратить его на что-то другое. А на что другое, это я уже знаю. Этим другим она меня заставляет заниматься столь интенсивно, что у меня уже просто сил нет. Я, может, и телевизор иногда смотрю для того только, чтоб уклониться. Впрочем, это я, пожалуй, привираю, потому что все передачи телевидения мне интересны

безумно. Даже вот этот репортаж с конгресса каких-то доноров. Он происходил, кажется, в Колонном зале Дома союзов. В президиуме и в зале сидели мужчины и женщины всех возрастов со многими орденами. Все они были, как я понял, доноры четырех степеней, то есть те, которые регулярно и в больших количествах сдают государству кровь, вторичный продукт, волосы и сперму, научно называемую генетическим материалом.

Конгресс проходил очень оживленно. Доноры делились своим опытом, рассказывали, как выполняют планы индивидуально, посемейно и побригадно. Говорили, на сколько процентов они выполнили свои предыдущие обязательства, и обещали в будущем достичь еще больших успехов.

Пока я все это смотрел, Искрина нервничала и несколько раз, заслоняя экран, промелькнула передо мной в полураспахнутом халате. При этом ее дурацкий пластмассовый медальон телепался у нее на груди, как маятник на ходиках.

— Ну зачем ты смотришь эту ерунду? — не выдержала она. — Неужели тебе не надоело?

— Оставь меня в покое и не мешай! — сказал я.

— Хорошо, хорошо, не буду, — покорно согласилась она, но через минуту опять появилась между мной и экраном. — Неужели тебе это интересно?

— Конечно, интересно, — сказал я. — Я же такого никогда не видел и не слышал.

— Чего ты не слышал? Разве в твои времена не было доноров?

— Доноры были, — сказал я, — но до такой тотальной сдачи вторичного продукта в мои времена никто еще не додумался.

Она стала меня расспрашивать, по-моему, даже

не столько из любопытства, сколько для того, чтобы отвлечь меня от телевизора и затащить в постель. Но я как раз с противоположной целью стал добросовестно рассказывать.

— Видишь ли, — сказал я, — я, как ты знаешь, жил при двух исторических формациях. Так вот при капитализме сдача вторпродукта была поставлена из рук вон плохо, а если точнее сказать, и вовсе никак не поставлена. Ну, скажем, сдача крови или генетического материала хоть как-то была организована, а все остальное пускалось, можно сказать, на ветер. Правда, при социализме с этим делом было гораздо лучше. Мы собирали крошки, объедки, писали об этом в центральных газетах, выступали по телевидению, и результат все-таки какой-то был.

Я рассказал Искрине, что даже в нашем писательском доме у метро «Аэропорт» на каждом этаже стояли ведра для пищевых отходов. Запах, конечно, был неприятный, но все понимали, что дело нужное и полезное. А теперь это вообще поставлено на широкую ногу.

— Ну да, — сказала она, — конечно. Мы, я думаю, во многих отношениях ушли далеко вперед.

— Вы ушли далеко, — согласился я. — Но, по-моему, кое-что у вас не продумано.

— Что ты имеешь в виду?

— Я имею в виду, что от вас, комунян, требуют сдавать много вторичного продукта, а первичным продуктом обеспечивают недостаточно.

По-моему, ей мое высказывание не понравилось. Она как-то нервно стала дергать свой медальон и спросила:

— Разве тебе чего-нибудь не хватает?

— Мне-то хватает, — сказал я, хотя, по правде сказать, кое-чего не хватало и мне. — Но я же не о себе думаю, не только о себе, а о людях. Нельзя же от них требовать невозможного. Надо же понимать, что вторичного без первичного не бывает.

Мои слова произвели на нее очень странное впечатление. Она вдруг изменилась в лице и сказала, чтобы я никогда ничего подобного больше не говорил.

Я удивился и спросил, а в чем дело? Разве я сказал что-нибудь крамольное? Это же всем известно, это еще Маркс заметил, что первичное первично, а вторичное вторично.

— Какая глупость! — закричала она, ужасно возбудившись. — То, что ты говоришь, это метафизика, гегельянство и кантианство. Я не знаю, что сказал Маркс, но Гениалиссимус говорит, и это краеугольный камень его учения, что первичное вторично, а вторичное первично.

При этом она так на меня посмотрела, что я замолчал. По прошлому опыту я знал, что некоторые Гениалиссимусы так обожают свои высказывания, что несогласным готовы голову оторвать.

— Ладно, — сказал я, — ладно. Если я сказал что не так, извини.

И чтобы переменить разговор, спросил, для чего она носит этот свой медальон.

Она сказала, что это не медальон, а Знак Принадлежности, который выдается еще во младенчестве сразу после обряда звездения.

— А что там внутри? — спросил я.

— Внутри? — переспросила она, почему-то опять заволновавшись. — А почему ты думаешь, что там внутри что-то есть?

— Просто так подумал, — сказал я. — Потому что это похоже на ладанку. А в ладанке всегда что-то есть. Прядь волос или портрет любимого человека.

— Какая ерунда! — возразила она нервно. — Почему это я должна носить чей-то портрет? Нет тут ничего. Просто обыкновенный, как у всех комунян, Знак Принадлежности. И ничего больше.

Меня ее реакция удивила. Я не понял, почему каждое мое высказывание приводит ее в такое волнение. Я тогда отнес это за счет женской неуравновешенности. А теперь, после намеков Смерчева, расценил это иначе. «Неужели она на меня стучит?» — подумал я.

РАСКРЫТИЕ ТАЙНЫ

Смерчев предложил мне выпить по чашке кукурузного кофе, и мы зашли в писательский УПОПОТ (Удовлетворение Повышенных Потребностей), где за сравнительно чистыми столиками сидели исключительно полковники и генералы. Несмотря на мое малое звание, они все немедленно встали и приветствовали меня дружными аплодисментами.

Среди них я сразу углядел Дзержина Гавриловича, который в дальнем углу приветливо помахал нам рукой.

Дзержин сидел с каким-то очень молодым генералом, которому, если бы не его звание, я бы дал лет двадцать пять, но и учитывая звание, никак не дал бы больше тридцати. Лицо его мне показалось очень знакомым, но я понимал, что впечатление это обманчиво. Я уже встретил здесь много людей,

которые напоминали мне кого-то из прошлой жизни. Я сказал обоим генералам «слаген», и они мне ответили тем же. Смерчев сказал, что он куда-то торопится и потому передает меня на попечение Дзержина Гавриловича.

— Хорошо, — сказал Дзержин и, дождавшись, когда Смерчев ушел, представил мне молодого человека как Эдисона Ксенофонтовича Комарова.

— Очень и очень рад! — сказал тот, энергично тряся мою руку. — Как говорят ваши немцы, зер аигенем. Я, между прочим, очень люблю немецкий язык, хотя по-немецки говорить не с кем.

— Вы тоже писатель? — спросил я.

— О, найн! — горячо и весело запротестовал тот. — Я совсем по другой части. Хотя в наших профессиях есть много сходства.

— То есть? — спросил я.

— Видите ли, я биолог и работаю над созданием нового человека. Разница состоит в том, что вы создаете своих героев силой воображения, а я с помощью достижений современной науки.

— И что же за героев вы создаете?

— А это я вам с удовольствием как-нибудь и расскажу и покажу. Вот как только вы тут со всем ознакомитесь и освободитесь, приезжайте ко мне в Комнаком...

— Куда? — переспросил я.

— Комиш![1] — закричал молодой человек по-немецки и засмеялся. — Первый раз вижу человека, который не знает, что такое Комнаком.

— Классику это простительно, — заметил Дзер-

---

[1] Komich — странно, смешно (*нем.*).

жин Гаврилович. — Он прибыл к нам совсем недавно и еще не во всем разобрался.

— Натюрлих[1], — охотно согласился молодой человек и объяснил мне, что Комнаком — это Коммунистический Научный Комплекс, генеральным директором которого он, Эдисон Ксенофонтович, является.

— Там проводятся биологические эксперименты? — спросил я.

— Всякие, — сказал он. — У нас в Комплексе сосредоточены все науки, и я всем этим руковожу, но сам лично занимаюсь исключительно биологией. Я вам все покажу, обязательно приходите. А пока мне, извините, пора. — Он пожал руку мне и Дзержину Гавриловичу и тут же исчез.

Мы остались вдвоем, и Дзержин Гаврилович долго расспрашивал меня о моем впечатлении от всего увиденного в Безбумлите.

Я высказался самым одобрительным образом об уровне технической оснащенности коммунистических писателей, но в то же время выразил осторожное сомнение относительно творческой свободы, которой эти писатели пользуются.

— Меня удивило, — сказал я, — что они все обязательно должны писать так называемую «Гениалиссимусиану». Я нисколько не сомневаюсь в многочисленных достоинствах Гениалиссимуса, но все-таки мне кажется, что у писателей могли бы существовать и какие-то другие темы.

Кажется, мои слова Дзержину Гавриловичу не очень понравились.

---

[1] Naturlich — естественно (*нем.*).

— А кто вам сказал, дорогуша, что они все обязаны писать именно Гениалиссимусиану? — спросил он, нахмурившись. — Неужели Смерчев?

— Ну да, — признался я, тут же испугавшись, не подвожу ли Коммуния Ивановича. — Именно он мне это все и сказал.

— Какая глупость! — горячо возмутился Дзержии. — Какая клевета! И вы, такой умный и наблюдательный человек, неужели могли поверить подобному вздору?

— Ну а как же я могу не верить? — сказал я. — Я же здесь человек совершенно новый.

— Ну так вот, поверьте мне, — сказал Дзержин решительно. — Я пользуюсь репутацией очень прямого и правдивого человека. Поверьте мне, все, что сказал вам наш уважаемый Коммуний Иванович, есть полная чушь и глупость. Наши подкомписы пользуются такой свободой, какой не было никогда ни у кого. И пишут они не то, что им приказывают, а абсолютно все, что хотят. Хотят, пишут за Гениалиссимуса, хотят — против. Никаких ограничений для них не существует.

— Странно, странно, — сказал я, несколько смущенный столь противоречивыми сообщениями. — Но я надеюсь, то, что сказали мне Смерчев и Сучкин насчет компьютера, который обрабатывает все написанные тексты, выбирая из них самое лучшее в идейном и художественном отношении, это правда?

— А, ну это, конечно, правда, — охотно согласился Дзержин. — Компьютер у нас действительно замечательный. Лучший в мире. Между прочим, — он посмотрел мне прямо в глаза, — это мое детище. Это я лично изобрел этот компьютер.

— Вы? — переспросил я, чуть не поперхнувшись кофе.

— Я. А что, не похоже?

— Нет, я ничего не говорю, — сказал я, порядком смутившись. — Но вообще-то... Если вы изобрели такое сложное техническое устройство, значит, вы просто очень крупный изобретатель.

— Да-да, — лениво согласился Дзержин. — Если говорить без лишней скромности, я, надо признаться, довольно крупный изобретатель. Кстати, не хотите ли посмотреть, как мой компьютер работает?

— А можно? — спросил я с некоторым недоверием.

— Что за вопрос! — развел руками Дзержин. — Кому-то, может быть, и нельзя, но уж вам-то, конечно, можно. Тем более что Гениалиссимус лично распорядился ознакомить вас со всем лучшим, что есть в нашей республике.

Признаюсь, таким неизменным ко мне вниманием Гениалиссимуса я был очень и очень польщен.

Выйдя из Упопота, мы направились прямо к двери, за которой должно было находиться это уникальное электронное устройство.

Часовые почтительно салютовали нам взятием оружия на караул.

За дверью, в которую мы вошли, находилась сравнительно небольшая комната, где стояли еще двое часовых и за канцелярским столом под портретом Гениалиссимуса сидел моложавый дежурный в чине майора. Увидев Дзержина, майор вскочил и, заикаясь от волнения, доложил, что за время

его дежурства на охраняемом объекте никаких происшествий не случилось.

— Ну и очень хорошо, — сказал Сиромахин. — Молодец. А мы вот с Классиком решили проверить, как наша машина работает. Дай-ка нам книгу посетителей.

Книга эта в красном коленкоровом переплете была совершенно новая. Ею даже вообще, по-моему, никто до меня не пользовался. Я спросил, что я должен написать.

— Ну, напишите, что вы, ознакомившись с машиной, обязуетесь никому не рассказывать о ее конструкции и принципе работы.

Это обязательство не показалось мне слишком обременительным. В устройстве компьютеров я, как уже было сказано, ничего совершенно не смыслю и поэтому никаких связанных с ними тайн выдать не могу даже под пыткой.

После того как я выполнил требуемое, Сиромахин приказал открыть дверь, которую я не сразу заметил. Это была узкая железная дверь, вроде тех, которые бывают на подводных лодках.

Сначала с этой двери сорвали сургучную печать, потом долго крутили какие-то ручки и набирали цифры на двух номерных дисках.

— Дверь прямо как в швейцарском банке, — заметил я.

— Правда? — Мне показалось, что Дзержин посмотрел на меня как-то странно. — В самом деле очень похоже?

— Мне кажется, что похоже, — сказал я. — Хотя, честно признаться, я ни в одном из банков Швейцарии отродясь не бывал.

— Вы никогда не были в швейцарском банке? — переспросил Сиромахин.

— Никогда не был, — повторил я. — А почему вас это удивляет?

— Меня вообще никогда и ничто не удивляет, — сказал Дзержин Гаврилович. — Но я просто думал... у меня есть такие сведения, что вы там бывали.

— Увы, — сказал я, — увы! Ваши сведения ненадежны.

— Странно... — Он все еще никак не мог справиться с дверью. — Вообще-то, у меня сведения бывают очень даже надежные. А может быть, вы были там каким-то иным способом, а? — Он перестал возиться с замком и посмотрел на меня внимательно.

— Что вы имеете в виду? — спросил я.

— Я имею в виду, что некоторые люди вашей профессии обладают сильно развитым воображением и при помощи воображения могут проникнуть куда угодно, даже в швейцарский банк. Это правда или нет?

— В некотором смысле, конечно, правда, — согласился я. — Проникнуть в банк с помощью воображения можно, а вот унести оттуда то, что там лежит, это почему-то не получается.

— Ну, — улыбнулся Дзержин, — для того чтобы унести, можно найти кого-нибудь попроще, а вот так, чтобы проникнуть мысленно, находясь на далеком расстоянии, и подглядеть, где там чего лежит, это доступно совсем не каждому.

Ему удалось наконец справиться с замком. Дверь со ржавым скрипом отворилась, и мы оказались в тускло освещенном коридорчике, в конце

которого была еще одна дверь, точно такая, как первая. Первую дверь за нами закрыли, и только после этого Сиромахин открыл вторую.

— Ну теперь, — сказал он несколько торжественно, — дайте вашу руку и закройте глаза. И попробуйте включить ваше воображение. А потом, когда глаза откроете, интересно будет сравнить то, что вы вообразили, с тем, что увидели.

Предвкушая необычайное, я охотно включился в эту игру. Я честно закрыл глаза и, ведомый Дзержином за руку, прошел вперед, неуверенно ставя ноги.

Дверь за моей спиной с грохотом затворилась.

Дзержин отпустил мою руку, и я попытался себе представить то место, в котором я нахожусь. Я вообразил большой зал, освещенный люминесцентными лампами. Множество отливающих зеленью экранов, перемигивание разноцветных индикаторов и управляющих кнопками молчаливых людей в белоснежных халатах.

— Откройте глаза! — приказал Дзержин Гаврилович.

Я думаю, каждому из вас знакомо ощущение, когда вы идете в темноте по лестнице и думаете, что там еще есть одна ступенька, и уверенно ставите ногу, а там никакой ступеньки нет. Даже если вы при этом не ломаете и не подворачиваете ногу, ощущение премерзкое.

Так вот, представьте себе мое ощущение, когда я открыл глаза и увидел, что в небольшой комнате, освещенной только одной голой лампочкой свечей не больше чем в сорок, нет не то что компьютера или чего-нибудь в этом роде, но даже и табуретки. Только корявые стены из плохо побеленного кир-

пича да торчащий из одной стены пучок проводов с голыми концами.

— Что это? — спросил я, совершенно ошарашенный.

— Это и есть мое гениальное изобретение, — сказал Сиромахин, усмехаясь самодовольно.

— Вы хотите сказать, что здесь нет никакого компьютера?

— Я вообще ничего не хочу сказать, — пожал плечами Сиромахин. — По-моему, то, что вы видите, или, точнее сказать, то, чего вы не видите, ни в каких словах не нуждается.

— Нет, ну послушайте, — сказал я взволнованно, — я чего-то все-таки не понимаю. Неужели это значит, что все то, что пишут ваши сержанты, нигде никак не фиксируется?

— Очень хорошее слово вы нашли, — обрадовался Дзержин. — Именно ничто нигде не фиксируется. Прекрасное, точное, очень хорошее определение: не фиксируется.

— Но сержанты об этом ничего не знают?

— Ну, дорогуша, зачем же вы так плохо о них думаете? Наше общество интересно тем, что все все знают, но все делают вид, что никто ничего не знает. Понятно?

— Ничего не понятно, — признался я.

— Ну хорошо, попробую объяснить. Насколько мне известно, в ваши времена существовали, грубо говоря, две категории писателей. Писатели, которых люди хотели читать, и писатели, которых люди читать не хотели. Но тех, которых люди хотели читать, не печатали, а тех, которых печатали, никто не читал. Правильно?

— Ну да, — сказал я неуверенно. — Это было, конечно, не совсем так, но в общих чертах...

— А я в общих чертах именно и говорю, — сказал Дзержин. — Ну так вот. Тогдашние коррупционисты выбрали совершенно неправильную, непродуманную, прямо скажем, недальновидную тактику. Одних писателей они запрещали и тем самым создавали им дешевую популярность и возбуждали еще больший интерес к их писаниям. Других, напротив, издавали огромными тиражами, но совершенно бессмысленно, потому что их никто не читал. Расходовалось огромное количество бумаги и денег. Ну сами себе представьте. В ваше время для того, чтобы заплатить правильному писателю тысячу рублей, надо было истратить по крайней мере сто тысяч на издание его книги. А сколько уходило бумаги? Ужас! Теперь положение значительно упростилось. Мы теперь практически всем писателям разрешаем писать все, что они хотят. Вот, например, у нас есть такой Охламонов.

— Да-да, — сказал я охотно. — Я на него обратил внимание.

— Естественно. На него трудно не обратить внимания. Вы думаете, он что пишет?

— Право, затрудняюсь сказать, — замялся я, — но вид у него такой, я бы сказал, вдохновенный.

— Ну еще бы, — усмехнулся Дзержин. — Все сумасшедшие вдохновенны. Так вот, этот вдохновенный все время пишет одно и то же: «Долой Гениалиссимуса! Долой Гениалиссимуса! Долой Гениалиссимуса!» И так каждый день по восемь часов подряд.

— И вы это знаете и терпите? — спросил я изумленно.

— Ну конечно, если бы это было на бумаге, мы бы вряд ли стерпели, но мое изобретение помогает нам смотреть на такие вещи сквозь пальцы.

— Слушайте, — сказал я потрясенный, — но если все писатели знают или хотя бы догадываются, что то, что они пишут, никуда не идет, зачем они это делают?

— Ах, дорогуша, — устало улыбнулся Дзержин. — Вы же сами знаете, что есть такие люди, которым лишь бы что-то писать. А что из этого получается, им совершенно неважно.

ДЗЕРЖИН

Мы еще стояли, я смотрел на пучки проводов с голыми концами, когда вдруг заметил, что там, под самыми этими проводами, довольно крупными буквами написано короткое слово, которое я встречал уже где-то: СИМ.

Я спросил Сиромахина, что означает это слово. Он усмехнулся и спросил меня, а что я сам по этому поводу думаю. Я сказал, что я не знаю. Я встречаю это слово уже не первый раз и иногда даже в самых неподходящих местах.

— А вам раньше это слово никогда не встречалось? — спросил Дзержин с каким-то скрытым лукавством.

— Встречалось, — сказал я. — Я знал одного писателя. У него было имя такое — Сим. Но, насколько я понимаю, это слово, — я указал на стенку, — к нему никакого отношения не имеет.

— А почему вы думаете, что не имеет? — спросил Дзержин.

— Ну потому, что этого писателя здесь никто не знает.

— Вы так считаете? — Дзержин по-прежнему смотрел на меня со своей странной усмешкой. — А что вы скажете, если услышите, что этого вашего Сима здесь, наоборот, все знают и многие даже почитают и что вот эти люди, которых мы называем симитами, это и есть его сторонники? Что вы на это скажете? — повторил он настойчиво.

— Я скажу, что это чушь. Сим Симыч Карнавалов жил в прошлом веке.

— Ну да, — сказал Сиромахин задумчиво. — А вот Маркс жил в позапрошлом веке, однако марксисты у нас еще не все вывелись.

При этом он поджал губы и сделал такую гримасу, как будто хотел показать, что столь продолжительным существованием марксистов он не то чтобы недоволен, но удивлен.

Но меня-то как раз живучесть марксизма нисколько не удивила. Меня удивило совсем другое.

— Извините, — сказал я Сиромахину. — Я вас не очень понял. Вы хотите сказать, что в Москорепе есть много сторонников Сим Симыча Карнавалова?

— И не только в Москорепе, а и в Первом Кольце, — сказал Дзержин Гаврилович. — Я вам даже скажу, что симитов у нас гораздо больше, чем марксистов. Даже не то что больше, а почти все люди, которых вы здесь вокруг себя видите, на самом деле скрытые симиты.

— А что они собой представляют? — спросил я.

— Если вам интересно, — сказал Дзержин, — могу вкратце рассказать.

Мне, конечно, было интересно, и вот что я услышал от Дзержина Гавриловича.

Движение симитов зародилось еще при жизни Сим Симыча и моей. Впрочем, тогда это было еще не движение, а многочисленная, но разрозненная толпа поклонников. Потом возник маленький кружок школьников-старшеклассников, которые создали подпольную организацию, которую они сами назвали СИМ. На следствии они отрицали какую бы то ни было связь названия своей организации с именем Карнавалова и утверждали, что аббревиатура СИМ расшифровывается как Союз Истинных Монархистов. Но во время обысков почти у всех членов организации были изъяты отдельные глыбы «Большой зоны», а у одного даже его собственная работа по структурно-лингвистическому анализу «КПЗ». Само собой, от этого кружка остались рожки да ножки, но тут же стали возникать другие кружки, общества, объединения, и все они назывались СИМ, хотя расшифровывали это слово по-разному. Высылая Карнавалова за пределы страны, тогдашние власти надеялись, что на этом движение и прекратится, но сильно ошиблись. Движение не только не прекратилось, но, напротив, достигло размаха, реально угрожавшего безопасности государства. Симиты собирались в кружки, произведения Карнавалова читали, изучали, конспектировали, переписывали и распространяли. Чтобы со всем этим покончить, службе БЕЗО (тогда она называлась еще КГБ) пришлось приложить очень большие усилия. В конце концов всех организованных симитов удалось разгромить. К настоящему времени практически все произведения Сима изъяты и уничтожены. Если, скажем, в пределах Пер-

вого Кольца кто-то, может быть, еще тайно хранит какие-нибудь книги Сима, то в Москорепе это совершенно исключено.

— Значит, вы все-таки с этим движением покончили? — выразил я надежду.

— Что вы! — горько усмехнулся Дзержин. — Наоборот, после того, как его разгромили, оно только и началось. И больше того, оно приняло такие формы, с которыми бороться уже совсем невозможно. У движения нет никакой организационной структуры, в него никто не вступает и никто из него не выходит. Нет никаких кружков, никаких списков. Каждый, кто хочет, может считать себя симитом, но никто в этом не признается.

— А откуда ж вы знаете, что они вообще существуют?

— Это узнать нетрудно, — сказал Сиромахин и показал на стенку. — Кто-то же это пишет. Вы видите, это же очень секретное помещение. Одно из самых секретных во всем Москорепе. А кто-то все же сюда проник и кто-то это вот написал. Да это что! — сказал он, махнув рукой. И тут же рассказал мне совершенно невероятную историю.

Сравнительно недавно было замечено, что у комунян развилась мода употреблять слово «сим» кстати и некстати. Например, начинать всякие письма или заявления любого характера в такой форме: «Сим обращаюсь к вам с просьбой». Или: «Сим извещаю». И заканчивать их словами вроде: «За сим такой-то». Более современное слово «этим» почти совершенно исчезло из обращения. Когда Редакционная комиссия заметила это, она разослала во все редакции указания изымать слово «сим» изо всех печатных материалов. Слово исчезло. Но

вскоре внимание Редакционной комиссии и службы БЕЗО было привлечено к тому, что в книгах, газетных статьях, официальных заявлениях и личных письмах комуняне стали часто и в некоторых случаях совершенно не к месту употреблять такие слова, как «СИМптом», «СИМбиоз», «СИМпатия», «завиСИМость», «проСИМ», «ноСИМ», «коСИМ», и одновременно появилось много неграмотных людей, которые стали писать «СИМафор», «СИМантика» и даже «СИМдром». Редакционной комиссии пришлось проделать большую работу по разоблачению и прекращению диверсий подобного рода.

— Но теперь-то уже все в порядке? — спросил я.

— Почти, — сказал Дзержин. — К сожалению, в нашем языке есть одно слово, которое не может отменить даже Редакционная комиссия.

— Неужели есть такое слово? — удивился я.

— Да, есть, — печально сказал Сиромахин. — И это слово «ГениалисСИМус». Вы понимаете, что происходит? Каждый человек, который устно или письменно употребляет слово «ГЕНИАЛИССИМУС», одновременно пользуется и словом «СИМ».

На мой вопрос, какую цель ставят перед собою симиты, Дзержин сказал, что они рассчитывают на восстановление в России самодержавной или, как некоторые ее называют, симодержавной монархии.

— Надо же! — сказал я. — Неужели еще сейчас, в двадцать первом веке, есть люди, которые верят в необходимость монархии?

— Еще бы! — согласился Дзержин с непонятным мне воодушевлением. — Монархическая идея очень даже жива и популярна. И вот если вы внимательно присмотритесь к нашим комунянам, вы

прочтете в их глазах надежду на то, что когда-нибудь монархия будет восстановлена.

— Какие странные вещи вы мне говорите, — сказал я. — А кого же эти ваши симиты хотели бы видеть царем?

— А вы не догадываетесь?

— Нет.

Сиромахин подошел к двери, заглянул в замочную скважину и, убедившись, что там никто не стоит, приблизился ко мне и сказал:

— Сима Карнавалова.

— Карнавалова? — переспросил я удивленно. — Разве он не умер еще в прошлом веке?

— Видите ли, Христос умер две тысячи лет назад, однако люди до сих пор ожидают его возвращения.

ЧУДНОЕ МГНОВЕНЬЕ

Иногда невежество Искрины меня поражает. Вся докоммунистическая история кажется ей клубком каких-то странных событий, происшедших чуть ли не в одно и то же время. Я к этому уже настолько привык, что даже не удивился, когда она меня спросила, был ли я лично знаком с Пушкиным. Я объяснил, что никак не мог быть с ним знаком, потому что родился через сто с лишним лет после его смерти и совсем в другую эпоху. Она была очень удивлена, узнав, что Пушкин жил еще при царской власти.

— А в каком он был чине?

Я сказал, что он был в чине камер-юнкера, по

теперешним понятиям что-то вроде младшего лейтенанта.

— Всего-то? — удивилась она. — А зачем же его печатали?

— Его печатали, потому что он был великий поэт.

Она меня стала уверять, что этого не может быть, великими бывают только генералы, но никак не младшие лейтенанты.

— Да? — переспросил я обиженно. — А как же я?

— Ну с тобой вообще пока что не ясно. Вот книгу твою издадут и тогда сразу повысят. А он так в малом чине и умер?

— Ну да, — сказал я. — Но в те времена писателей судили не по чину, а по степени дарования.

— А кто определял степень дарования? — спросила она.

Я сказал, что определяли читатели.

Она этого не поняла и спросила, каким образом определяли.

— Очень просто определяли. Читали стихи и говорили: «Во здорово! Во дает! Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!» А если чего не нравилось, говорили: чушь собачья, бред сивой кобылы. Вот так, в общем, определяли.

Она этого тоже не поняла и попросила рассказать, о чем примерно писал этот Пушкин. Я сказал, что он писал о самых разных вещах и, например, о любви.

— О любви к царю?

— Это с ним тоже случалось, — сказал я. — Но еще он писал о любви к женщине. Например, вот это:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты...

Она слушала, закрыв руками лицо, долго молчала, когда я кончил. А потом спросила, волнуясь, кому эти стихи посвящены.

— Если тебя интересует имя, — сказал я, — ее звали Анна Петровна Керн.

— А она была в каком чине?

— Что за чушь! — рассердился я. — Ни в каком чине она не была. Она была просто женщина без чинов.

— Ну как же, — заволновалась Искрина еще больше. — Ведь он ее называет гением.

— Ну да, он называет ее гением чистой красоты.

— Вот именно гением. Но он же не мог назвать гением кого попало.

— Тьфу ты! — Я начал терять терпение. — Что значит — кого попало? Он и не называл кого попало. Он так назвал единственную в мире женщину.

— Ну вот видишь! Значит, она была все же единственная в мире. Да к тому же еще называлась гением. Значит, она была кем-то вроде «Гениалиссимуса».

— О господи! — застонал я в отчаянии. — Да при чем же тут ваш Гениалиссимус? Да она была гораздо выше! Она была богиня. А ваш Гениалиссимус...

Я запнулся, встретившись с ее взглядом. Она смотрела на меня с ужасом.

— Извини, — поспешил я поправиться. — Я ничего плохого о Гениалиссимусе сказать не хо-

тел. Я понимаю, что он великий политический деятель, друг человечества, преобразователь природы и вообще разносторонний гений, но Пушкин был по сегодняшним меркам человек недоразвитый и для него гением была Анна Керн.

— Ну да, конечно, — сказала она, теребя на груди медальон. — Конечно, если он жил так давно, он мог многого не знать. Но мне показалось... ты меня извини... что ты с ним как будто в чем-то согласен.

— Ну да, — сказал я. — В чем-то я с ним, безусловно, согласен. Будучи тоже в некотором смысле человеком отживших понятий, я думаю иногда, что на самом деле человек рожден не только для того, чтобы перевыполнять производственные задания, потреблять первичный продукт и сдавать вторичный, но ему также присуща тяга к чему-то такому совершенно бесполезному, как, например, любовь, красота, вдохновение и... А впрочем, что я тебе говорю? Ты что, сама об этом никогда не слышала? Неужели у вас во всем Москорепе нет ни одного такого сумасшедшего, который писал бы что-нибудь в рифму про свои чувства?

— В Москорепе нет. У нас всех, кто нам не нужен, выслали в Первое Кольцо, и там такие люди, я слышала, еще есть. А здесь нет.

— А, ну да, — сказал я. — Я же совсем забыл. У вас нет пенсионеров, инвалидов, воров, собак, кошек, поэтов, сумасшедших...

— А тебе это не нравится? — спросила она, по-прежнему играя медальоном.

Я хотел ей ответить, но медальон сбил меня с толку. Я вспомнил, как прошлый раз мой случай-

ный вопрос о назначении этого весьма невинного на вид украшения привел ее в замешательство. Теперь я вдруг совершенно отчетливо понял, что эту дешевую безделушку она носит не просто как украшение, она ей нужна для чего-то еще. А для чего, тут даже и гадать было нечего, и только такой ни из чего не извлекающий урока лопух, как я, мог не догадаться с первого раза. Но теперь я отчетливо понял, что это вовсе не безделушка, а микрофон.

— Ну что же ты замолчал? — сказала она. — Ты говори, говори, у тебя это так здорово получается.

— Да? Здорово? — повторил я почти механически. — А что именно я говорил?

— Ты говорил про поэтов, про любовь.

— Ах да, — сказал я растерянно, — да, что-то такое я говорил. Но ты должна все же учесть, что я человек очень отсталый. Я жил в прошлом веке при социализме и даже при капитализме, я мало изучал передовые учения и вообще, знаешь, мне уже сто лет, склероз, маразм и всякие такие вещи, а к тому же и в молодости некоторые люди считали меня дураком.

— Нет! — возразила она решительно. — Ты не дурак. Ты очень умный. Ты говоришь такие вещи, которых я раньше никогда не слышала ни от кого.

Я вспомнил: когда-то один человек в сером костюме сказал мне во время допроса: «Будь вы дураком, мы бы вам все простили. Но вы не дурак и хорошо понимаете, что именно содержится в ваших писаниях». Но он был не прав, потому что на самом-то деле я был дурак. Если бы я был умный, я бы выдавал себя за дурака. Но я был дурак и потому выдавал себя за умного. Однако за шестьдесят

с лишним лет, прошедших с тех пор, я все-таки поумнел. И я самым решительным образом стал уверять Искрину в своей глупости и отсталости. Чем она, как показалось мне, была обескуражена.

БУМЛИТ

Оказывается, в Москорепе бумажная литература тоже все-таки существует. Но создается она в другом месте. Насколько я понял, в этом тридцатиэтажном здании в мои времена помещался Совет Экономической Взаимопомощи. А теперь Главное Управление Бумажной Литературы (БУМЛИТ).

— Значит, у вас существуют две литературы? — сказал я Смерчеву, когда он меня туда привез.

— А как же! — улыбнулся Смерчев благожелательно. — Конечно, две. А в ваши времена была только одна, не так ли?

— Ну, не совсем, — сказал я. — В мои времена были тоже две литературы — советская и антисоветская. Правда, обе они были бумажные.

Как я понял уже в вестибюле, бумажной литературой занимались компсы более высокого ранга, чем безбумажной. Во всяком случае, все, кого я там встретил, не считая охраны, были в звании не ниже лейтенанта и все ходили с парусиновыми папками под мышкой.

Вообще здание Бумлита выгодно отличалось от Безбумлита большей технической оснащенностью. Там даже два из шестнадцати лифтов работали. На одном из этих лифтов мы поднялись на шестой этаж и, пройдя по застеленному красной дорожкой коридору, оказались перед массивной дверью с надписью:

ГЛАВКОМПИС МОСКОРЕПА
к. СМЕРЧЕВ К. И.

Через эту дверь мы попали в просторную приемную, где за столом под большим портретом Гениалиссимуса сидела секретарша в звании старшего лейтенанта.

При нашем появлении она немедленно вскочила со стула и сообщила Смерчеву, что участники планерки уже собрались и ждут.

— Хорошо, — сказал Коммуний Иванович и толкнул ногой дверь, обитую черной изодранной кожей.

Кабинет был еще больше приемной, Гениалиссимус смотрел на меня с натуралистически выписанного портрета и самодовольно жмурился, опираясь на колонну, сложенную из книг. На корешке каждой книги было золотом аккуратно выведено: «Полное собрание сочинений».

Прямо под портретом стоял просторный письменный стол с множеством канцелярских принадлежностей и несколькими телефонными аппаратами разного цвета. К этому столу торцом был приставлен другой длинный стол, покрытый зеленым сукном. За ним, разложив перед собой раскрытые блокноты, сидели стриженые офицеры в рубашках с короткими рукавами.

При нашем появлении все вскочили и стали аплодировать мне, к этим аплодисментам присоединился и Смерчев. Я им всем тоже немного похлопал, а потом обошел всех, каждому демократично подал руку, представился и затем сел рядом со Смерчевым.

Пока мы усаживались, в кабинет вошла секре-

тарша и еще одна дама с подносами, на которых стояли стаканы с чаем.

Смерчеву и мне были поданы стаканы в латунных подстаканниках и с лимоном, а офицерам без подстаканников и без лимона.

Я спросил Смерчева шепотом, почему такое разделение, не значит ли это, что комсоры офицеры не любят чай с лимоном. На это Смерчев развел руками и тоже шепотом мне ответил, что они, может, и любят, но пока не имеют потребности. Прежде чем начать совещание, Коммуний Иванович кратко объяснил мне, чем занимаются он сам и его подчиненные.

Будучи главным компосом республики, он руководит созданием бумажной Гениалиссимусианы и координирует работу разных компосовских подразделений. Перед подразделением, которое я вижу сейчас, поставлена ответственная задача создания тома «Тревожные годы» о героическом участии Гениалиссимуса в Бурят-Монгольской войне. Уже написано восемь из предполагаемых 96 глав, а сегодня...

— Сегодня, ребятки, — сказал Смерчев по-домашнему, — мы приступаем к разработке новой главы «Ночь перед битвой». Речь будет идти о битве за Улан-Удэ. Ну, я вам даже не буду говорить, какое, понимаете, большое и, я бы даже сказал, огромное политико-воспитательное значение должна иметь эта глава. Гениалиссимус в период этой поистине исторической битвы тогда, как вы помните, был еще простым генералом. Но, конечно же, он уже и тогда свои, как бы сказать, полководческие таланты проявил, можно сказать, полностью. И тут,

значит, надо вот что... Кто у нас занимается описанием природы? Ты, Жуков?

— Так точно! — вскочил Жуков.

— Сиди, сиди. Так вот, Жуков, поскольку нам предстоит описание ночи перед, можно сказать, решающим как бы сражением, надо, понимаешь, соответственно использовать такие вот сильные в художественном отношении средства. Ты, конечно, природу умеешь описывать, ты в этом деле, ничего не скажешь, мастак. Но с другой стороны, природой увлекаешься, а о политическом и военном моменте забываешь. Иногда даже абстрактная такая картина создается, когда ты там луну, тучи, реку или соловьев всяких описываешь. Само по себе оно хорошо и даже здорово получается, но к моменту иногда не подходит. Так вот сейчас ты подумай своей головой и пойми. Это тебе не просто какая-то ночь, а ночь, можно сказать, перед главным сражением. В описании природы должно быть побольше чего-то такого тревожного. Если уж хочешь изобразить луну, так надо так, чтобы она только время от времени выглядывала, а вообще пусть будет покрыта черными или, я вот даже так сильно выражусь, зловещими пусть будет покрыта тучами. Ну, и само собой, всякие там ночные, как бы сказать, шорохи, звуки. Соловьев никаких не надо, это уж когда до описания победы дойдем, тогда пиши про своих соловьев сколько хочешь. А сейчас нам нужны какие-нибудь такие тревожные, понимаешь ли, птицы. Вороны, допустим. Как вороны по ночам кричат?

— Никак, комсор генерал, не кричат! — вскочил Жуков. — Они днем и вечером кричат, а ночью они молчат.

— Ну, если вороны не кричат, тогда, понимаешь, изобрази каких-нибудь ночных птиц, филинов каких-нибудь, что ли.

— Я выпь изображу, комсор генерал. Она очень тревожно кричит.

— Вот, правильно, — удовлетворенно заметил генерал. — Соображаешь. А ворон, собственно говоря, мы можем в утреннюю панораму вставить. Когда накануне боя они собираются и думают, понимаешь, что им сейчас тут чего-то обломится. Ну, теперь ты, я думаю, свою задачу понял. Переходим к следующему вопросу. Что у меня тут записано? Ага. Думы перед боем. Ну, значит, разъясняю ситуацию. Предстоит тяжелое сражение с бурят-монгольскими захватчиками. И конечно, у Гениалиссимуса возникают, понимаете ли, всякие думы. Нет, думы, конечно, не мрачные, он, как выдающийся оптимист, верит в окончательную победу, но думы у него в этот момент должны быть мудрые, глубокие и, я бы даже сказал, философские. Это я тебе говорю, Савченко. Ты у нас философ, тебе и карты в руки. Ты описываешь думы Гениалиссимуса и должен все время помнить, что основные его думы великие и гениальные. И главные, как бы сказать, идеи в этих думах должны уже иметь свое отражение. Ну и, само собой, в этих думах перед боем должен отразиться и свойственный Гениалиссимусу исторический оптимизм. Он может примерно так думать, что вот пускай я лично погибну, но зато жизнь моя будет отдана не зазря, а за общее, понимаешь ли, счастье. Понятно?

— Понятно, — спокойно ответил Савченко.

— Ну, насчет описания всяких таких военных приготовлений, дислокации разных частей, описа-

ния видов оружия и прочего я не беспокоюсь, у нас по этому делу вот Малевич, — генерал указал на одного из полковников, — крупный специалист, бывший штабист, ты, я думаю, Малевич, с этим отлично справишься, ну и ты, Штукин, в саперном деле тоже, я знаю, более или менее разбираешься.

Планерка подходила к концу. Двум корректорам было дано указание не допускать грамматических ошибок, а поэт Мерзаев получил специальное задание оснастить будущую главу красочными эпитетами и яркими метафорами.

На этом планерка закончилась. Коммуний Иванович пожелал всем участникам хорошего творческого настроения и больших успехов в труде.

Офицеры со своими блокнотами и карандашами организованно покинули кабинет, а мы со Смерчевым остались.

— Ну вот, — сказал Коммуний Иванович, — теперь вы видели, как мы работаем. Трудно, понимаете ли, руководить таким большим коллективом. Один одно пишет, другой — другое, иной раз одно с другим никак не согласуется, приходится заставлять людей переделывать. Ваши произведения сколько человек писали?

— Как это сколько? — удивился я. — Я один их писал.

— Один? — изумился Смерчев. — Совершенно один? И вы сами описывали и природу, и любовь, и переживания героев и следили за тем, чтобы не допускать идейных ошибок?

— Вот уж чего не делал, того не делал, — сказал я. — То есть, конечно, я пытался следить за тем, чтобы мои герои в идейном отношении были ужасно стойкими, но поскольку я сам был нестойкий, они

у меня тоже в этом плане были иногда очень даже порочными.

— Так я и думал, — сказал Смерчев и покивал головой. — Конечно, одному человеку написать большое произведение, чтобы оно было одновременно и высокохудожественно, и высокоидейно, просто невозможно. А вы оставайтесь у нас. Мы вам дадим целую бригаду писателей. Вы им только будете давать указания, они будут писать, а вы подписывать.

Не успел я ответить шуткой на предложение Смерчева, как дверь отворилась, в кабинет влетел взмыленный Сиромахин. Он пошушукался со Смерчевым, а потом объявил мне, что мы с ним должны немедленно ехать в Кремль.

ЧАСТЬ V

В КРЕМЛЕ

В Кремль мы прибыли в конце рабочего дня, примерно в половине шестого.

Я заметил, что и здесь Дзержин был своим человеком. Мы шли по длинным и широким коридорам, устланным красными дорожками, через какие-то залы с огромными окнами и тяжелыми многоярусными люстрами, большими картинами и чьими-то бюстами, мраморными, а иногда даже и бронзовыми в углах. Я на ходу пытался сообразить, где здесь Георгиевский зал, а где Грановитая палата, но понять ничего не мог и сосредоточиться не успевал.

Многие двери охранялись. Когда мы проходили сквозь них, два автоматчика лихо брали на караул и щелкали каблуками.

Наконец мы оказались в очень просторной комнате с большим зеленым столом посередине. Комната была украшена многими портретами. Слева портрет Гениалиссимуса во весь рост в мундире и в сияющих сапогах. Он смотрел на противоположную стену, с которой ему отвечали восхищенными взглядами Христос, Маркс, Энгельс и Ленин.

В этой комнате в углу за большим столом со многими телефонами и даже селектором сидела

средних лет секретарша в форме полковника. Ответив на наши приветствия самой дружелюбной улыбкой, она скрылась за кожаной дверью и, тут же вернувшись, пригласила нас в кабинет.

Кабинет был большой, старинный, из прежней жизни. В нем была дорогая мебель, кожаные диваны, кресла и длинный стол для совещаний. Другой стол, письменный, с десятком телефонных аппаратов разного цвета, стоял в дальнем углу, и за ним под поясным портретом Гениалиссимуса, разворачивающего рулон «Правды», сидел представительный пожилой человек с совершенно лысым отполированным черепом и с маршальскими погонами на плечах.

Выйдя из-за стола, он удивил меня тем, что был не в коротких, как все, штанишках, а в суконных голубых галифе с красными лампасами и высоких хромовых сапогах. На голубом его кителе было много разных орденов, включая самые высшие. Дзержин представил нас друг другу, и я узнал, что передо мной первый заместитель Гениалиссимуса по БЕЗО, Главный Маршал Москорепа, Пятижды Герой Москорепа, Герой Коммунистического Труда Берий Ильич Взрослый. Берий Ильич обнял меня, как родного, похлопал по плечу, сказал: «Так это вы!» — И, повернувшись к Дзержину Гавриловичу, спросил, как идет подготовка к моему юбилею. Дзержин доложил, что подготовка идет полным ходом, трудящиеся вступают в соревнование, берут на себя повышенные обязательства, а Редакционная комиссия готова выпустить массовым тиражом мою книгу, но...

— Вот об этом «но» мы сейчас и поговорим, — перебил маршал.

Он усадил меня в кожаное кресло, сам сел в другое, а Дзержин устроился на диване.

Прежде всего маршал поинтересовался моим самочувствием и спросил меня, как мне здесь нравится.

Я еще раз осмотрелся и сказал, что, в общем-то, нравится, помещение красивое и просторное.

— Нет, — сказал Берий Ильич, — я спрашиваю не о помещении, а вообще: как вам нравится у нас в Москорепе?

— И вообще, — сказал я, — ничего, нравится. Очень интересно.

— И погода нравится?

— Да, нравится. Замечательная коммунистическая погода. Солнышко светит, и ни одного облачка.

— Ну да, — согласился он. — Лето неплохое. Но облачные периоды, к сожалению, тоже бывают. Мы с ними боремся, но не всегда успешно. Иногда они бывают слишком даже затяжные. Впрочем, без облаков тоже плохо. Жарко. Как вы думаете?

Я сказал, что да, думаю, что довольно жарко.

— Да-да, — сказал он, — да, жарковато. Лето для нашего климатического пояса не очень обычное. Конечно, гораздо приятнее, когда солнце светит, но не слепит, греет, но не печет. И растут финиковые пальмы, и девушки в коротких теннисных юбочках кушают пломбир и смотрят на нас влюбленно. Не так ли? — спросил он и посмотрел на меня так, будто заглянул в самую душу.

Мне показалось, что я сразу вспотел. Боже мой! Да что же это происходит? Откуда они узнали про мой сон? Ведь я о нем никому не рассказывал, даже Искре. Неужели они при их отсталой технике даже сны умеют подсматривать?

— Кое-что мы все же умеем, — усмехнулся маршал, показав мне тем самым, что способен не только подсматривать сны, но и читать мысли.

— И книги читать умеем, — подхватил Дзержин, чем и вовсе поверг меня в изумление.

Откровенно говоря, от всего этого мне стало немножко не по себе.

— Конечно, — продолжал маршал, — в реальной жизни не все бывает так, как во сне, не все так легко удается. И коммунизм наш получился не совсем такой, как мы планировали. Маркс нас немного подвел. Ошибся.

— Всего на две стадии, — вмешался Дзержин. Надо отметить, что он чувствовал себя в присутствии маршала совершенно раскованно.

— Ну да, — сказал маршал, — на две. В масштабе всемирной истории это не очень существенно, но для нас ощутимо. Ошибка Маркса состоит в том, что он обещал полное обнищание трудящихся при капитализме, а оно наступило...

— Наступает, — поправил Дзержин.

— А оно наступило, — повторил маршал сердито, — при коммунизме. И конечно, человеку с юмористическим складом ума все это, может быть, даже смешно. У нас есть над чем посмеяться. И над короткими штанами, и над газетой, которая издается в виде рулона, и над нехваткой первичного продукта. Но хорошо ли смеяться над нищими? А, хорошо?

— Нехорошо, — признал я и очень смутился. — Но я же смеялся только мысленно.

— Да не только! — возразил Дзержин и покрутил головой.

— Нет, не только, — подхватил маршал и по-

смотрел на меня пристально. — Вот я, Классик Никитич, хотел с вами поговорить об искусстве. Это очень интересная и безграничная тема. Что такое искусство, для чего оно существует, откуда в нем такая странная и непонятная сила, этого ведь, по существу, никто не знает. Вот вы, насколько я себе представляю, считаете, что искусство является всего лишь отражением жизни. Не так ли?

— Ну да, — сказал я. — В общем-то, примерно так и считаю.

— А это совершенно неправильно! — вскричал маршал и, вскочив с кресла, забегал по комнате, как молодой. — Классик Никитич, я вам вот что хочу сказать. Послушайте меня внимательно. Ваша точка зрения совершенно ошибочна. Искусство не отражает жизнь, а преображает. — Он даже сделал руками весьма энергичные движения, как бы пытаясь изобразить ими преображающую силу искусства. — Вы понимаете, — повторил он взволнованно, — преображает. И даже больше того, не искусство отражает жизнь, а жизнь отражает искусство. Вы вот смеетесь над нашими убеждениями...

— Что вы, господь с вами, — сказал я поспешно. — Я бы никогда не посмел.

— Ладно, ладно, — поморщился маршал. — Вы все никак не можете понять, что нам о вас известно гораздо больше, чем вы могли бы себе представить. Но дело даже не в том, что именно мы знаем о вас. Наши знания обо всем гораздо глубже и обширней, чем были доступны людям ваших времен. И нам совершенно точно известно, что первичное вторично, а вторичное первично.

— Ну это уж совсем чепуха, — сказал я неожиданно для себя самого. — Это какая-то метафизи-

ка, гегельянство и кантианство. На самом деле первичное первично, а вторичное вторично.

Вот сколько меня жизнь ни учила, а язык за зубами держать не научила. Сколько раз внушали мне умные люди элементарное: пришло тебе что-нибудь в голову, не ляпай сразу. Подумай, стоит ли твоя мысль того, чтобы ее сразу выкладывать. Мое незрелое высказывание подействовало на маршала и Дзержина самым решительным и, может быть, даже зловещим для меня образом.

Берий Ильич, ни слова не говоря, вернулся на место, сел и стал смотреть куда-то мимо меня. Дзержин смотрел на маршала. Оба они молчали, и молчание это тянулось довольно долго. Потом маршал провел рукой по лицу, как бы снимая усталость, и сказал тихо:

— Классик Никитич, вопрос о том, что первично и что вторично, обсуждению не подлежит. Первичное вторично, а вторичное первично. Вы можете сослаться на Маркса и на тех, кто вас в свое время учил, что материя первична, а сознание вторично, но эти же ваши учителя сами себе противоречили. Требовали от людей сознательности, а от материального вознаграждения уклонялись. Теория противоречила практике. А у нас полное соответствие. Но давайте лучше поговорим о чем-нибудь более интересном. Например, о вашем романе. Недавно я его еще раз прочел от корки до корки. Ну что вам сказать? Интересная работа. В вашем творчестве даже, я бы сказал, какой-то новый этап, к которому вы вряд ли перешли бы в Якутии.

Он опять посмотрел мне в душу, и мне опять стало не по себе. Вдруг он засмеялся и стал говорить в более теплом тоне:

— Вообще-то, я вам уже об этом сказал, роман довольно-таки злой. Вы как бы берете шило и колете в самое больное место. Но фантазия богатая. Читать, во всяком случае, не скучно. Честно говоря, я много смеялся, а иногда даже и плакал. Да там вообще, так я бы сказал, смех сквозь слезы.

— Да, — поддержал его Дзержин, — эта вещь написана не просто для смеху.

— Да-да, — согласился маршал, — вещь серьезней, чем кажется с первого взгляда. Хотя надо сказать, что описанием теневых сторон жизни вы, может быть, злоупотребляете, смакуете их, наслаждаетесь ими.

— И много натурализма, — заметил Дзержин.

— Да, — сказал маршал, — по части натурализма перебор некоторый есть. Например, когда я читаю про эту вегетарианскую свинину, мне самому хочется вырвать, как это случилось с вашим героем.

— Помилуйте, — перебил я его. — Это не с героем случилось. Это со мной лично случилось. Я этого нигде не описывал, это, может быть, ваши агенты подсмотрели.

— Ну, не надо, — поморщился маршал, — не надо нам сказки рассказывать. Вы же неглупый человек и видите, что мы про вас все знаем. А вот, скажем, когда вы сон описываете, это дело совсем другое. Я даже удивился. Оказывается, вы умеете изображать и хорошее. Я когда читал про то, как там солнце все время светит, пальмы растут, птички поют и девушки ходят в теннисных юбочках... Когда я дошел до описания этого сна (а там сначала непонятно, что это сон), я подумал: ну вот, вот! Умеет же, сукин сын! И я ожидал, что дальше все

будет в этом же духе. И только я разогнался, а тут снова-здорово, свинина вегетарианская. Тьфу! — Он сплюнул и, заложив руки за спину, прошелся по кабинету.

— И вообще, что вы эту свинину забыть не можете? Мы же вам дали все. Вам и яичницу подают, и ветчину, и паштеты, и икру всякую. Чего вам еще не хватает? Кофе? Ну мы же не знали, что вы такой заядлый кофейник. Пожалуйста, будет вам кофе, какой хотите. Кстати, можем заказать и сейчас. Вы какой предпочитаете?

— Турецкий, — сказал я в полной уверенности, что они о таком даже не слышали.

Маршал хлопнул в ладоши, и в дверях немедленно возникла секретарша.

— Три кофе! — сказал ей маршал. — Ему турецкий, мне капучино...

— А мне кукурузный, — скромно сказал Дзержин.

Секретарша вышла и в ту же секунду вернулась с подносом. И я получил настоящий турецкий кофе. Может быть, я по нему так соскучился, но мне показалось, что я никогда в жизни не пил кофе вкуснее.

Я набрался наглости и спросил маршала, к какой категории потребностей он относится.

— Я об этом как-то давно не думал, — сказал он. — По-моему, я вообще вне потребностей. Но вернемся, однако, к вашему сну. Если уж вам приснилась такая прекрасная жизнь, почему бы вам не развить это дальше? Слушайте, ведь на самом-то деле мы все живем иллюзиями... Сон первичен, а жизнь вторична, и это легко доказуемо. Ну вот посмотрите. Иной раз нам снится что-нибудь непри-

ятное, но мы не всегда хотим при этом проснуться. А когда неприятное происходит в жизни, нам всегда хочется заснуть. И это правильно. Потому что сон гораздо богаче жизни. Во сне мы едим что хотим, имеем тех женщин, которых хотим, во сне мы умираем и воскресаем, но в жизни нам удается только первая половина.

Тут влетела взволнованная секретарша и сказала маршалу что-то на ухо. Берий Ильич тоже заволновался, вскочил на ноги, схватил трубку красного телефона.

— Да, — сказал он, — Взрослый на проводе. Так точно! Слушаюсь! Сейчас будем.

Он положил трубку и повернулся ко мне очень возбужденный:

— Нас вызывает Горизонт Тимофеевич.

— Кто? — удивился я.

Он удивился еще больше.

— Вы что, до сих пор не знаете, кто такой Горизонт Тимофеевич? — И посмотрел на Дзержина.

Дзержин посмотрел на меня. Я пожал плечами.

— Горизонт Тимофеевич Разин, — объяснил маршал, все еще волнуясь, — является председателем Редакционной комиссии и по существу, можно даже сказать и так, наместником Гениалиссимуса на Земле. Слушайте, вы уж, пожалуйста, с ним не спорьте. Что он будет предлагать, на все соглашайтесь. В крайнем случае потом мы что-нибудь отобьем. А ну-ка, я на вас посмотрю. Вид у вас, конечно, так себе. Ну, да ладно. Поправьте воротничок, и пойдем. А ты подожди нас здесь, — сказал он Дзержину.

НАМЕСТНИК ГЕНИАЛИССИМУСА

Мы опять шли по каким-то залам и переходам. Автоматчики вытягивались в струнку, щелкали каблуками и брали на караул.

Секретарем у председателя Редакционной комиссии был пожилой генерал-полковник. Но суетился он как сержант.

— Ага, это вы! — сказал он, нервно суя мне руку. — Горизонт Тимофеич как раз после процедуры, так что он может с вами поговорить. Прошу вас.

Открыв дверь в кабинет, он первым туда вошел, но тут же остановился, пропуская нас с Берием Ильичом. Наконец-то первый раз в Москорепе я увидел старого человека. Да еще какого!

Он сидел в инвалидном кресле не за столом, а почти посреди кабинета. Из-под кресла выходили, тянулись к задней стене и уходили в нее два — желтый и красный — шланга. Старик, сидевший в кресле, представлял собой полную развалину: голова набок, язык вывалился, руки висели как плети. Из левого уха у него торчал толстый провод с микрофоном в виде рожка. Старик, кажется, спал. Но как только мы вошли, стоявшая рядом с ним медицинская сестра воткнула ему прямо сквозь брюки шприц. Он дернулся, проснулся, хотел выпрямить голову, но она упала на другую сторону. Глаза, однако, остались почти открытыми.

— Кто такие? — спросил он, разглядывая нас всех недовольно.

Маршал живо подкатился к нему, схватил рожок и, приложив его к губам, почтительно сообщил:

— По вашему приказанию Классика к вам привел.

— Ага, — сказал Горизонт, еле ворочая языком. — Клафика. Ну, подойди, Клафик, подойдика фюда.

Я приблизился и взял из рук маршала рожок.

— Здравствуйте! — прокричал я в рожок.

— А нифего, — прошамкал председатель, — нифего фебя фуфтую. Видифь, у меня тут два фланга. По волтому первифный продукт подается, а по крафному вторифный отфафываетфя, так что органивм действует. — Он хотел опять поднять голову и даже достиг в этом некоторого успеха, но не успел удержать ее, и она упала на грудь. Впрочем, сестра приблизилась к нему сзади, поставила голову вертикально и осталась ее придерживать.

Кажется, старик оживал все больше. В глазах его даже появилось что-то вроде любопытства ко мне.

— Так вот ты какой! — сказал он с видимым одобрением. — Хороф, хороф. И фколько тебе годов-то?

— Скоро сто будет, Ваше Высокопревосходительство! — прокричал я в рожок.

— Молодой ефе, — заметил председатель. — А мне вот уве фто фетыре, а тове ефе нифего. А фто это ты в таком фине ходифь?

Я осмотрел быстро свою одежду.

— Если вы фином называете мои штаны, Ваше Высокопревосходительство, то я тут совсем ни при чем. Такие выдали. А я-то приехал в хороших штанах, в нормальных.

— Да что вы такое говорите! — сердито зашеп-

тал генерал-полковник. — Горизонт Тимофеевич говорит не «в фине», а «в чине».

— Да, — сказал Горизонт Тимофеевич Берию Ильичу, — надо его повыфить, он вфе-таки наф клафик.

— Будет исполнено! — прокричал Взрослый в рожок. — Майора ему дадим. Или даже полковника.

— Вафем полковника, — сказал Горизонт. — Генерала. Ты, крафавица, — попытался он поднять глаза к сестре, — головку-то мою так не дервы. Когда я киваю, ты ее немнофко так отпуфкай.

Но сестра на него не понадеялась и сама покачала его головой.

— Хорофо, — одобрил ее действия председатель. — Хватит. Знафит, ты фоглафен убрать там вфтаих Фимов и таких вот профих?

Не зная, о чем он говорит, я оглянулся на Взрослого и увидел, что тот мне оживленно подмигивает. Я опять ничего не понял и кивнул головой.

— Ну и правильно, — сказал председатель, и сестра покивала его головой. — И хорофо. Вфе лифнее надо вфегда убирать, а не лифнее... — Не договорив фразы, он заснул, вывалил снова язык, и сестра положила его голову набок.

Я посмотрел на маршала, тот на генерал-полковника, генерал развел руками и сказал:

— Это все! Горизонт Тимофеевич дал указание и теперь отдыхает.

Сестра взяла кресло за спинку и, подбирая шланги, покатила его в глубь кабинета. А мы трое, ступая на носках, вышли в приемную.

КНИГА, КОТОРУЮ Я НЕ ПИСАЛ

— Уфф! — выдохнул из себя Берий Ильич и вопросительно посмотрел на генерал-полковника.

— Все хорошо, — улыбнулся тот. — Горизонт Тимофеевич был в очень хорошем настроении и замечаний сделал немного.

— Да, конечно, — согласился маршал. — Замечания вполне приемлемые.

То же самое он сказал и Дзержину, который встретил нас вопросом «Ну как?».

— Так что вы все поняли? — спросил он меня. — Требования совсем небольшие: побольше снов, поменьше ненужной реальности и никаких Симов. Согласны?

— Нет! — сказал я.

— Как?! — подпрыгнул маршал, а Дзержин схватился за карман.

Впрочем, тут же руку он опустил, приблизился ко мне и нежно сказал:

— Соглашайтесь, дорогуша, здесь не принято не соглашаться.

Я занервничал и схватился за голову.

— Слушайте! — закричал я. — Что вы ко мне пристаете? Что и где я должен поправить? О каком романе вы говорите? О каком Симе? Если вы имеете в виду Карнавалова, то я с ним был знаком и даже ездил к нему в Торонто. Но взглядов его я никогда не разделял и письмо его нынешним вождям выбросил на помойку.

— Это мы знаем, — улыбнулся маршал и переглянулся с Дзержином. — А теперь выбросьте и его самого.

— Откуда? — спросил я.

— Из романа, дорогуша, — улыбнулся Дзержин.

— Да из какого романа? — спросил я устало. — Вы понимаете, что я никогда никаких романов о Карнавалове не писал.

Я опустился в кресло и достал сигарету. Мои руки дрожали и, когда я прикуривал, я никак не мог спичкой попасть в коробок. Между тем в кабинете установилось какое-то странное, тяжелое и зловещее, я бы сказал, молчание.

— Ну хорошо, — сказал наконец Берий Ильич. — Вы так взволнованно и так убедительно говорили, что я вам почти поверил. Но есть же все-таки факты. А факты, как говорят, упрямая вещь. Хорошо. Ладно. Сейчас мне придется вам кое-что предъявить.

Он тяжело поднялся, подошел к сейфу и, загораживаясь от меня плечом, стал крутить замок с шифром.

— А у вас, Берий Ильич, — развязно сказал Дзержин, — сейф, я вижу, ну точно словно в Швейцарском банке.

— Так он швейцарский и есть, — отозвался маршал. — Тут даже и написано: «Маде ин Швейцария».

Сейф открылся. Маршал там шуровал что-то довольно долго, наконец достал какую-то книгу в темной обложке и выложил передо мной:

— Узнаете?

Я взял в руки книгу и стал ее разглядывать. Прочел название, потом перевел взгляд на фамилию автора и увидел, что там стоит моя собственная фамилия.

В этом не было бы ничего удивительного. Каж-

дому автору приходится иногда держать в руках книги, которые он написал. Но в том-то и дело, что я, как мне помнилось, никогда ничего подобного не писал.

— Ну и что вы скажете? — услышал я голос маршала.

— Минуточку, — сказал я.

Я осмотрел суперобложку, перевернул титульный лист, прочел выходные данные. Там стоял год 1986-й. А я уехал из Штокдорфа в восемьдесят втором. А в восемьдесят шестом я еще фактически даже не жил.

— Это какая-то несуразица, — пробормотал я и заглянул в начало книги. Там я нашел описание своего разговора с Руди, посещения фройляйн Глобке, похищения меня арабами, встречи с Букашевым. Все подробно и достоверно и, главное, написано в моей собственной манере. Я ничего не мог понять. Я готов был представить, что за шестьдесят лет кто-то мог изучить все подробности и на основании донесений агентов и других архивных данных сочинить какой-нибудь подобный роман. Но чтобы кому-то удалось настолько проникнуть в мои мысли и так подражать моему стилю, в это уж я поверить не мог никак, потому что, между нами говоря, мой стиль просто неподражаем.

Я заглянул в середину книги, и в глаза мне сразу бросилась глава, которая называлась: «Новое о Симе».

— Интересно? — заглянул через мое плечо маршал.

— Минуточку, — сказал я и с возрастающим интересом прочел эту, в общем-то небольшую, главу.

НОВОЕ О СИМЕ

Я-то думал, что я знал все о Сим Симыче, а оказывается, чего-то существенного как раз и не знал.

Оказывается, за время моего отсутствия в двадцатом веке он, на время оторвавшись от «Большой зоны», накатал четыре глыбы мемуаров под названием «СИМ».

В той самой книге, которую маршал Взрослый предложил мне как мою собственную, было сказано, что я якобы все эти четыре глыбы читал (во что, впрочем, мне самому поверить трудно), причем прочел я их, с одной стороны, задолго до того, как побывал в Москорепе, а с другой стороны, после того, как оттуда вернулся. Вот говорят, что писатель не должен читателю все объяснять и разжевывать. Он должен оставить читателю возможность самому потрудиться, попотеть и самому домыслить то, до чего он, писатель, сам не додумался. Если это так, вот вы и додумайте, как это могло получиться, что я читал собственную книгу до того, как написал ее. Да, если хотите, сами это все и обдумывайте, а у меня уже и так от всего этого голова кругом идет. Поэтому я просто перескажу то, что мне удалось прочесть в кабинете Берия Ильича.

Там сказано, что первая глава первой глыбы симовских мемуаров начинается с описания обыкновенного утра обыкновенного советского мальчика, у которого папа сидит в тюрьме, мама носит папе передачу, а мальчик в это время ходит в школу, возвращается домой и учит уроки. Мальчик учится в третьем классе и никак не может понять, за что же посадили его папу, бывшего балтийского моряка, комиссара с крейсера «Аврора», а впослед-

ствии народного комиссара высшего образования. И хотя эти события очень ранят детскую душу, но учиться все-таки нужно. В тот день, ввиду отсутствия мамы, юный Сим пообедал один и сел за уроки. По литературе им как раз задали выучить новое народное стихотворение:

На дубу зеленом, да на том просторе
Два сокола ясных вели разговоры,
А соколов этих люди все узнали:
Первый сокол — Ленин,
Второй сокол — Сталин...

Сим про себя говорит, что у него уже и тогда была феноменальная память. И даже это заглотное стихотворение он очень быстро выучил, но тут же задумался, поскольку, с детства обладая острым критическим отношением к действительности, никак не мог себе представить Ленина и Сталина, сидящих на дубу, как птицы.

И в тот момент, когда он подвергал критическому анализу это стихотворение, в дверь постучали. Сим открыл и увидел на пороге страшного, грязного, оборванного, заросшего спутанной бородой странника с котомкой за плечами. Странник попросил воды, а напившись и смахнув с бороды капли, посмотрел пристально и спросил:

— Как тебя звать, малец?

Сим ответил:

— Сим.

— Правильно, — сказал странник, — Сим. Так вот послушай меня и запомни, вьюнош, что я тебе скажу: быть тебе царем на Руси. Будешь ты Сим Первый.

С этими словами странник исчез, словно испарился.

Сим, по его собственному признанию, был мальчик впечатлительный, и слова, сказанные странником, произвели в душе его очень глубокое смущение.

Оставшись один, он опять пытался учить те же стихи, но они больше не лезли в голову. В голову лезли, наоборот, самые неожиданные и довольно даже странные для пионера мысли.

> А соколов этих люди все узнали:
> Первый сокол — Ленин,
> Второй сокол — Сталин...

— А третий сокол — я! — вдруг сам себе сказал Сим и, как сам же пишет, тут же возбудился от острого предчувствия своей необычайной судьбы.

Он поведал о необыкновенном старце матери. Удрученная тем, что опять не приняли передачу, она вроде бы сначала пропустила его рассказ мимо ушей, а потом насторожилась, попросила повторить все сначала и долго выспрашивала, что за старец, да как выглядел, да в чем одет. Она обругала Сима за излишнюю доверчивость, велела впредь всегда спрашивать, кто стучит, и никогда не открывать дверь незнакомцам.

— Мама, — спросил Сим, — а почему он сказал, что я буду царем?

— Мало ли сумасшедших ходит, — сказала мать. — Что им в голову придет, то и лепят. Головы малолеткам задуривают. Дать бы им каждому по пятьдесят восьмой статье.

Но в ту же ночь, взяв с него ужасную клятву,

она открыла ему тайну его необыкновенного происхождения.

...Тайна эта заключалась в том, что Сим Глебыч Карнавалов не был отцом Сим Симыча. Его истинным отцом был Николай Александрович Романов, император и самодержец Всероссийский...

Мать Сим Симыча Екатерина Петровна рассказала ему, что как раз перед самой революцией, в то время как ее муж комиссарил на крейсере «Аврора», она работала прачкой в Зимнем дворце, и там у нее состоялась интимная встреча с самодержцем. Причем царь пошел на это не из каких-то там распутных соображений, а исключительно ради сохранения Российской короны. Он чувствовал, что скоро так или иначе грянет революция, а наследник тяжело болен и вообще будущее туманно. Поэтому император по соглашению со своей супругой Аликс решился на такой необычный шаг. И в ночь их тайного свидания Христом-богом молил Екатерину Петровну, если господь пошлет мальчика, хранить его как зеницу ока и только в нужный час, когда будет знак свыше, открыть ему, кто он есть на самом деле.

Пока я читал, оба деятеля БЕЗО, Берий и Дзержин, заглядывали мне через плечо, следили за моей реакцией и проявляли очень большое нетерпение. И как только я оторвал голову на секунду, чтобы осмыслить прочитанное, Берий, не давая мне опомниться, тут же меня спросил, что я обо всем этом думаю.

— Это какой-то бред, — сказал я.

— Правда? — переспросил быстро Берий Ильич. — Правда, бред? Вы так думаете? Почему?

— Да по всему, — сказал я. — Возьмите хотя

бы сроки. Симыч родился в двадцать шестом году. Я не знаю, может быть, некоторых гениев вынашивают не девять месяцев, а девять лет, тогда, конечно... Но, правду сказать, я, вообще-то, не совсем понимаю, почему утверждения Карнавалова вас так смущают. Ведь то, что он говорит, это просто абсурд.

— Вот именно что абсурд, — согласился маршал. — Но дело в том, что, как показывает исторический опыт, именно абсурдные или, даже сказать точнее, идиотские идеи как раз легче всего овладевают умами масс. И поэтому этот Сим... Кстати, вы случайно не знаете, почему у него такое странное имя?

Это я как раз случайно знал, потому что историю происхождения его имени слышал от самого Сим Симыча личными своими ушами. Дело в том, что его настоящего отца соратники тоже звали Симом, хотя полное имя его было Симеон. А если с отчеством, то Симеон Глебович. Но ему нравилось, когда его звали Симом. И сына решил так назвать. А когда его спросили, что же это имя может означать, он сказал: это очень просто. Сим это значит — Симирный Интернационал Молодежи. Кто-то ему сказал:

— Глебыч, так не идет. Интернационал не симирный, а всемирный. Ты должен в таком случае назвать своего сына Вим.

Он сказал:

— Нет, Сим. Пусть тогда это будет: Смерть Эксплуататорам Мира.

Ему сказали, не икс-, а эксплуататорам, тогда ты должен назвать своего сына Сэм. Карнавалов решительно отверг: нет, говорит, Сэм — имя буржуазное, пусть все равно будет Сим.

— Это он вам сам говорил? — спросил маршал.

— Конечно, сам. И не один раз.

— А вы не могли бы рассказать об этом публично? — спросил Дзержин, до того долго молчавший.

— Почему бы нет? Если вы мне организуете встречу с читателями...

— Ну, конечно, организуем, — перебил маршал. — Как вы видите, мы именно этим и занимаемся. Именно для этого создан Юбилейный комитет, проводится массовая кампания и даже готовится к изданию этот вот ваш роман. В празднике примут участие лучшие люди нашей республики, выдающиеся артисты прочтут отрывки из ваших произведений, а также, может быть, что-нибудь станцуют и споют. Может быть, даже, — он лукаво сощурился, — исполнят какую-нибудь вашу любимую украинскую песню. Но у нас есть к вам просьба, и на том же настаивает Редакционная комиссия, чтобы вы вычеркнули этого вашего Сима. Он нисколько вашу книгу не украшает, а, напротив, даже делает ее такой, знаете, неуклюжей, тяжеловесной. Вычеркните его, и все. Что вы думаете об этом?

Правду сказать, я об этом вообще ничего не думал. Потому что, кроме главы «Новое о Симе», ничего еще не читал.

Я думал, что они, естественно, предложат мне сразу прочесть всю книгу, но они как-то засмущались, и по некоторым высказываниям маршала я понял, что они боятся давать мне мою собственную книгу, потому что, прочтя ее, я могу попасть под ее влияние. Правда, Дзержин тут же сообразил и сказал маршалу, что если я книгу прочту, попаду под влияние, но потом исправлю и опять прочту, то в

результате я в конце концов попаду под благотворное влияние исправленной книги, а это хорошо.

Маршал подумал и сказал, что Дзержин, пожалуй, прав, возможно, мне даже стоит дать почитать мою книгу, и он попробует этого добиться. Может быть, ему удастся пробить этот вопрос через Верховный Пятиугольник, уговорить Редакционную комиссию, ради этого он готов еще раз добиться приема у Горизонта Тимофеевича.

— Ну что вы! — сказал я. — Ну зачем же лишний раз тревожить старого человека из-за такой ерунды? Почему вы не можете без всяких пятиугольников и комиссий просто дать мне эту книжку хотя бы на одну ночь? Я прочту и сразу же вам верну.

Маршал посмотрел на меня как на сумасшедшего.

— Странный вы человек, — сказал он, подумав. — Это же печатное слово. У вас даже допуска нет... — Какая-то мысль пробежала по его лицу. — Слушай, Сиромахин, — обратился он к Дзержину Гавриловичу, — зайди-ка к Матюхину. Он зачем-то хотел тебя видеть.

— Матюхин — меня? — Дзержин посмотрел на маршала с сомнением.

— Зайди, зайди, — повторил тот нетерпеливо. Дзержин вышел, и с маршалом сразу что-то случилось. Сначала он подкрался к двери, закрывшейся за Сиромахиным, и посмотрел в замочную скважину. Затем подбежал к своему столу, повыдергивал штепсели всех телефонных аппаратов, посмотрел с сомнением на потолок и поманил меня к себе.

— Слушайте, — зашептал он быстро, заталкивая меня в угол. — Я вам дам эту книжку на одну

ночь. Но об этом никто не должен знать. Даже ваша сожительница.

— Хорошо, — так же шепотом ответил я. — Я запрусь в кабесоте и буду читать там.

— Дзержину тоже ни слова. И никому вообще. И если вас с этой книгой где-то застукают, вы не должны признаваться, что взяли ее у меня.

— А что я должен говорить? — спросил я весьма удивленно.

— Что угодно. Можете сказать, что вам удалось протащить ее сквозь таможню. Можете сказать, что нашли в каком-нибудь паробусе или на мусорной свалке. Что угодно, но меня не выдавайте. Вы мне клянетесь?

— Клянусь! — сказал я торжественно. — Но я не понимаю, кто меня может схватить, кроме ваших людей.

— Ах, какой вы наивный! — махнул он рукой. — В нашей республике вообще не понятно, кто наши, а кто не наши. Ладно, берите, и до завтра.

Я только успел запихнуть книгу за пазуху, как вернулся Дзержин и сказал, что к Матюхину не пробился, у него совещание.

— Ну не пробился, так не пробился, — беспечно сказал маршал и незаметно для Дзержина подмигнул мне. — А теперь вы оба свободны, — объявил он и протянул мне свою широкую ладонь: — Классик Никитич, очень был рад познакомиться.

ПРОГУЛКА

У меня было странное ощущение, когда мы с Дзержином оказались на Красной площади. Такое ощущение, словно я вышел на свободу, а мог бы не выйти.

Уже совсем стемнело, и небо распахнулось над головой, рассыпав по всему пространству звезды, которые на фоне затемненного города казались особенно яркими.

— Ну как вам понравился наш маршал? — спросил Дзержин, усмехаясь.

— По-моему, интересный человек, — сказал я и вдруг увидел освещенный летательный объект, который медленно плыл над площадью с запада на восток.

— Смотрите, летит! — сказал я, толкнув Дзержина.

— Где? — Дзержин задрал голову и, увидев объект, быстро перезвездился.

Я тоже перезвездился. Я сделал это непроизвольно и понял, что, кажется, я становлюсь истинным комунянином.

Дзержин вызвался меня проводить, и мы пошли наискосок через Красную площадь. Вечер был тихий и теплый, а улицы совершенно безлюдны. Кажется, за всю дорогу мы не встретили ни одного прохожего. Дзержин молчал, и я тоже, обдумывая все то странное, что я сегодня увидел и услышал. Но у меня было такое ощущение, что сегодня мне должно открыться еще что-то такое необыкновенное.

— Слушай, — обратился я к Дзержину, машинально называя его на «ты». — А почему все-таки вас так беспокоит Сим Симыч? Ну, допустим, вас тревожат какие-то его поклонники, эти самые симиты, но сам-то Сим наверняка давно уже умер. Если бы он был жив, ему сейчас было бы... сколько?

— Сто шестнадцать лет, — сказал Дзержин.

— Ну вот. Сто шестнадцать лет... Ну бывают

где-то дикие горцы, которые живут даже и дольше, но Сим, я уверен, давно уже умер.

Мы стояли уже перед входом в гостиницу, и Дзержин взялся за ручку двери, чтобы открыть ее для меня.

— Ты сначала прочти то, что у тебя за пазухой, а потом поговорим.

СТЕПАНИДА ЗУЕВА-ДЖОНСОН

Самые разные и противоречивые воспоминания смешались в моей голове, и я не знаю, какие из них считать первичными, а какие вторичными.

Я помню, что ночью, запершись в кабесоте, я читал свою собственную книгу тайком от Искрины, а потом прятал ее за телевизором. А другое воспоминание, противореча первому, говорит мне, что я вообще никакой книги не читал, а изучал материалы к ней в Библиотеке имени Ленина. До библиотеки меня и Дзержина Гавриловича довез все тот же Вася, который по дороге, давясь от смеха, спросил меня, известен ли мне основной признак коммунизма. Я развел руками, и Вася, оглянувшись на сидевшего сзади Дзержина, сообщил мне шепотом, что признак этот заключается в стирании разницы между первичным и вторичным продуктом. Дзержин, однако, расслышал и показал Васе кулак, впрочем, как я понял, беззлобно. Выйдя из паровика, я решил продемонстрировать Сиромахину свое знакомство с библиотекой и сразу направился к главному входу.

— Нет, нам не сюда, — усмехнулся Дзержин. — Это вход для всех.

— Разве мы не можем войти, где все? — спросил я.

— Конечно, можем, — сказал Дзержин, — но нам это не нужно. Здесь выдают только сочинения Гениалиссимуса и о Гениалиссимусе, а нам нужно кое-что другое.

Мы завернули за угол, прошли почти вдоль всего здания и наконец нырнули в неприметную дверь со скромной вывеской: «Отдел предварительной литературы».

Затем была система коридоров, в каждом из которых нас остановили и тщательно проверили документы.

Наконец мы попали в главное хранилище, состоящее из просторных залов, соединенных между собою.

Между прочим, даже в прошлой жизни, побывав в этой библиотеке несчетное число раз, я сам всей здешней коллекции ни разу не видел, а по каталогам имел о ней понятие довольно-таки отвлеченное. А тут я увидел все. Собрания сочинений всех мировых классиков от Гомера до Солженицына. От древних пергаментов до дешевых изданий почти новейших времен.

В каждом из этих залов сидели читатели: где один, где два, где три человека, не больше. И все из БЕЗО, и чином не ниже майора.

Все они, обложившись стопками книг, что-то конспектировали — видимо, в намерении использовать прочитанное в идеологической войне.

Но одна читательница, подполковник БЕЗО, как я понял, использовала свое служебное положение в личных целях. Она читала (я заметил назва-

ние) «Анну Каренину» и, утратив всякую бдительность, плакала чуть ли не в голос.

Естественно, мне хотелось задержаться в общем хранилище, но Дзержин меня торопил, и мы, пройдя еще несколько залов и коридоров, оказались наконец перед дверью с табличкой: «Мракобесные сочинения С. С. Карнавалова».

Здесь у нас не только проверили документы, но даже общупали карманы и, обнаружив у Дзержина пистолет системы «ТТ», попросили сдать его на хранение начальнику охраны.

Лишь после этого мы попали в зал (вернее, это были тоже по крайней мере три зала, соединенных вместе), где хранились не только издания всех шестидесяти глыб на русском и еще на сотне других языков, но и многочисленная литература о самом Симе: мемуары, исследования, сборники статей и диссертации.

Но оказалось, что и это не все.

В соседней с этим залом комнате Дзержин Гаврилович познакомил меня с востроносой и щуплой девицей, которая представилась мне как лейтенант БЕЗО Советина Кулябко.

По просьбе Дзержина она охотно рассказала, что в этой комнате хранятся агентурные данные о Симе: о его происхождении, биографии, образе жизни, привычках, наклонностях, сильных сторонах и слабостях характера, сексуальных причудах, характеристики, составленные на него в школе, в комсомоле, в детдоме, в институте, сведения о его связях с разными людьми, связях сердечных, дружеских, приятельских, деловых и случайных. Здесь хранились образцы его почерка, отпечатки пальцев, протоколы допросов его сторонников и много-

численные фотографии и диапозитивы, сделанные открытой и скрытой камерой и даже ночью в инфракрасных лучах. Она тут же предложила продемонстрировать некоторые диапозитивы, после чего повесила на стену небольшой экран, зашторила окна, включила проекционный аппарат и стала вкладывать в него разные слайды.

Мне было очень интересно.

Я увидел Сим Симыча в разные времена и в разных ситуациях. Вот он, еще совсем юный, в группе воспитанников детского дома. Вот в лагере (анфас и в профиль). Послелагерный снимок для паспорта — усталое, изможденное и вместе с тем суровое лицо.

А потом временной разрыв. А потом уже чуть ли не каждый день его жизни запечатлен. Десяток свадебных снимков с Жанетой. В день триумфа — с первой книгой в руке. За письменным столом. На лыжной прогулке. На велосипеде. С какой-то кошкой на руках. Потом опять арест, тюрьма и даже как его выталкивают с парашютом из самолета. Само собой, запечатлено его участие в многочисленных митингах, конференциях и пресс-конференциях и встреча в Белом доме с президентом Соединенных Штатов.

Но среди тех снимков, которые были сделаны скрытой камерой и при инфракрасном освещении, иные оказались слишком уж откровенными.

Я думаю, опиши я подробно, что именно показано было мне на экране, у этой книги было бы на сто тысяч читателей больше. Жаль, что мое природное целомудрие не позволяет мне заниматься изображением подобных вещей. Скажу все же, что Симыч ввел меня в некоторое смущение. Зная о его глубокой религиозности и известном всем аскетиз-

ме, я был порядком шокирован, видя его в не очень достойном виде не только с Жанетой, но и другими особами противоположного пола. Их было не меньше десятка, причем некоторых я даже знал лично. Это одна наша известная новеллистка, одна знаменитая американская кинозвезда и третья... Лица третьей видно не было, но и с противоположной стороны не узнать ее было нельзя.

При виде Степаниды, да еще в таком виде, я вдруг почувствовал в себе неукротимую ревность, так что даже задергался и заскрипел зубами.

— Что с вами? — испугалась лейтенант Кулябко.

Я смутился и сказал, что мне было несколько неприятно видеть последний кадр, поскольку с этой женщиной я одно время был довольно близко знаком.

— А это нам известно, — сказал Дзержин.

А лейтенант Кулябко сказала, что диапозитивы, где изображены подробности моего знакомства, у них тоже имеются, и она готова их тут же продемонстрировать.

— Нет! Нет! — закричал я. — Только не это! И вообще, пожалуйста, нельзя ли эти кадры как-нибудь уничтожить?

— Ну что ты, дорогуша! — заулыбался Дзержин. — Эти кадры принадлежат истории, и уничтожить их было бы преступлением. Ну, ладно, — сказал он одновременно и мне, и лейтенанту Кулябко. — Кино посмотрели, давайте теперь что-нибудь почитаем. Например, донесения Степаниды.

— Степаниды? — удивился я. — Неужели она писала донесения?

— Еще как писала! — сказал Дзержин. — Сте-

панида Зуева-Джонсон была замечательной нашей разведчицей. Вместе с завербованным ею бывшим морским пехотинцем Томом Джонсоном она доставила много бесценных сведений.

ДОНЕСЕНИЯ СТЕПАНИДЫ

Три дня подряд, не разгибаясь, я читал донесения Степаниды. Каждое утро в половине девятого Вася приезжал за мной к гостинице и только в одиннадцать вечера забирал меня из библиотеки.

Нет, меня никто не заставлял так долго работать. Я сам так увлекся читаемым, что иной раз даже не ходил на обед. Тем более что ближайший Упопот находился в Кремле, а на территории библиотеки удовлетворялись лишь общие потребности, при одном воспоминании о которых я сразу терял аппетит.

Донесения были написаны в виде писем подруге. Какой-то будто бы Кате. На самом деле, я думаю, этой «Катей» был какой-нибудь начальник отдела, а может быть, и шеф всего КГБ.

Но ход, надо сказать, удачный. Обыкновенные письма с налетом простонародности и с ошибками. И все прямым текстом без всякой шифровки. И если б даже сам Сим Симыч эти письма перехватил, то и он при всей своей проницательности вряд ли догадался бы, что они собой представляют.

А на самом деле в них было сказано о Симыче все.

Как он живет, как работает, над чем работает, какие идеи вынашивает, о чем говорит, как его здоровье и даже (вот она, женская подлость!) каков он в постели.

Называет она его внешне очень почтительно «батюшка». Но на самом деле ее оценки холодны, трезвы; временами насмешливы и уж для малообразованной деревенской бабы слишком тонки.

Вот, например, она описывает процесс сближения:

«А еще, Катюшка, в местном нашем обчестве произвелся недавно большой переполох, приехал будто бы знаменитый русский писатель. И в газетах во всех об нем сообщили и по тиви его что ни вечер кажут, сам из себя он весь видный, борода страшная, а голосок тонкий. Выступает все против коммунизма, за православие и американашек наших тоже травит за то, что бога забыли. Заместо того, говорит, чтобы собой жертвовать, вы, говорит, нежитесь и с жиру беситесь. А прожорный и заглотный коммунизм уже к самому вашему горлу подступил и скоро в него своими клыками железными вопьется...

...Писатель решил в наших местах поселиться, потому как, говорит, природа здесь очень ему нашу среднерусскую напоминает. Купил у одного нашего ферму и сорок акров земли с лесом и озером и затеял все это обнести забором.

...Живет с семьею уединенно, на людях не появляется, говорят, работает по восемнадцати часов в сутки. Однако на службе в Свято-Георгиевской церкви бывает. Здесь к нему можно очень тесно приблизиться; хотя он всегда окружен своими, а его бодигард[1] Зильберович (православный казак из евреев) за всеми пристально смотрит и каждого приближающего плечом оттирает.

---

[1] Bodyguard — телохранитель (*англ.*).

...Я понимаю, Катюшка, что ты имеешь в виду, я этим местом в свое время Тома завербовала, Том, однако, человек южный и впечатлительный, а этот писатель живет выдуманными образами, а того, что рисуется перед ним, напрочь не видит, хотя я уж и так, и так. Кажный раз, когда он в церкви бывает, норовлю занять позицию прямо перед ним, становлюсь на коленки и бью поклоны, но ему, как говорится, хоть на нос вешай, он на это на все ноль внимания. Том говорит, ты дура, дура, ежели уж хочешь преимущество свое показать, зачем же ты его джинсами маскируешь?

...Том оказался умный черт, хотя и черный. Теперь уже не я перед писателем позицию занимаю, а он, как увидит меня, так передвигается и, сзади становясь, все молится, молится. Чую, рыбка вокруг крючка ходит, вот-вот клюнет... Клюнуло!

Вчерась после службы отозвал меня в сторонку его еврейчик, одно, говорит, очень известное лицо срочно нуждается в секретаре-переводчике, который мог бы постоянно жить в имении у известного лица и оказывать ему небольшие услуги. А у вас, мол, я слышал, все данные для этого имеются.

Я сказала, что у меня данные для услуг, конечно, имеются, но насчет переводческих своих возможностей я сомневаюсь, поскольку английским языком владею умеренно. Но что если известное лицо нуждается в горничной, то мои данные для этого очень даже подходят. А кроме того, сказала я, у меня есть еще и тот недостаток, что имею черного мужа.

На что еврейчик сказал, мы не расисты и мужа вашего берем с собою, известное лицо нуждается в дополнительном бодигарде...»

В следующих письмах Степанида рассказывает Катюше, как они с Томом поселились в имении Симыча, в чем состоят их обязанности, описывает подробно все, что происходит в имении, даже весьма красочно живописует свои интимные отношения с работодателем, которые происходят обычно днем, когда она приходит «клинить»[1] его кабинет. Иногда чисто женское берет в ней верх, она с большой похвалой отзывается о хозяине и с неприязнью о его жене.

День за днем наблюдала она жизнь в Отрадном, подробно описывала, как «батюшка» работает и как готовится к возвращению.

С нею планами он особо не делился, но иногда, пошлепав ее, говорил: «Ничего, Стешка, вот прогоним заглотчиков, возьму тебя в Москву вместе с Томом. Тома сделаю графом, а ты будешь графиня». На сомнение Степаниды, какой же из Тома граф, когда он черный, батюшка отвечал: «Ну и что, что черный. Черный это ничего. Лишь бы не коммунист и не плюралист. А что касается черноты, то у Петра Первого тоже был арап и кровь свою передал Пушкину. Так что черный — это тоже смотря какой».

Читая донесения Степаниды, ее характеристики жителей Отрадного и приезжающих посетителей, я иногда смеялся до слез. Но, дойдя до того места, где она описывает мой собственный приезд, я глубоко возмутился. Какая наглая, коварная и подлая баба!

Нет, я не буду повторять ее глупые и вздорные

---

[1] Clean — прибирать, чистить (*англ.*).

измышления обо мне, где она меня, кроме всего, называет пузатиком (идиотское слово!) и изображает этаким прихлебателем, который заискивает и стелется перед Сим Симычем (да никогда в жизни ничего подобного не было!). Но самое главное, она своим задом тоже меня соблазняла намеренно. И не по естественному влечению, а с одной только подлой целью: задержать в Отрадном, чтобы я не уехал прежде времени. И, расписав наши отношения самым дурацким образом, в конце, оставив свою простонародную манеру, деловито и холодно замечает: «В сексуальном отношении интереса не представляет».

Ну не нахальство ли? Это я-то не представляю интереса! Да кто ж тогда представляет? И зачем же ты, сволочь, кричала, что такого мужчины у тебя в жизни не было?

Ну что с нее возьмешь? Кагэбэшница, она и есть кагэбэшница. Не зря я к людям этой профессии всегда относился с большим недоверием.

ОТКРОВЕНИЯ ДЗЕРЖИНА

Я так разозлился и расстроился, что решил прервать чтение и уйти домой, не дождавшись Васи.

Сдал лейтенанту Кулябко папку, проследил, чтобы она отметила в книге регистрации, что папка сдана, и вышел на улицу.

Уже слегка вечерело, но было довольно душно.

Где-то над Ленинскими горами густились тучи и погромыхивал гром, однако, судя по направлению ветра, гроза должна была пройти стороной.

Я пересек проспект имени Четвертого тома

(бывший Калининский) и по улице имени Августовских тезисов Гениалиссимуса (бывшей Грановского) пошел в сторону проспекта имени Первого тома.

Слева от меня было здание, в котором когда-то помещалась Кремлевская поликлиника. Судя по скоплению длинных лимузинов с двигателями внутреннего сгорания, и сейчас там было что-то подобное.

Как раз в этот момент с диким воем и блеском мигалок подъехала уже виденная мною однажды странная колонна, состоявшая из четырех бронетранспортеров (два спереди, два сзади) и двух длинных лимузинов, соединенных гибкими шлангами. Я понял, что прибыл Председатель Редакционной комиссии, и остановился, чтобы посмотреть, как его будут выволакивать из машины (со шлангами или без?), но рядом со мной тут же оказался вооруженный автоматом внубезовец, который сказал мне, что здесь останавливаться и даже оглядываться не разрешается, и передернул затвор автомата.

Я проявил максимальную понятливость и быстро пошел прочь, пригнув голову и одновременно отворачивая ее в сторону.

У выхода в переулок имени Послесловия к Первому тому стояла большая очередь за водопроводной водой. Очередь двигалась медленно, потому что потребности удовлетворялись только при помощи двух пластмассовых кружек, прикрепленных к водоразборной колонке цепями.

Люди волновались и кричали распределяющей тетке, чтобы она больше чем по одной кружке на человека не выдавала.

Я стал было в очередь, но, увидев, что это часа не меньше чем на два, пошел дальше.

Тут меня окликнули, и, обернувшись, я увидел нагонявшего меня с радостной улыбкой Дзержина Гавриловича.

Он сказал, что только что сопровождал Горизонта Тимофеевича и, увидев меня, решил со мной прогуляться.

— А почему Председателя сопровождают бронетранспортеры? — спросил я. — На него что, готовится покушение?

— Ну да, — сказал Дзержин, — если смотреть правде в глаза, то против каждого члена нашего руководства кто-нибудь что-нибудь да готовит. Ты знаешь, что среди этих прохожих, и там, в очереди за водой, и вообще везде очень много скрытых симитов? Может быть, даже большинство.

— Я тебя не понимаю, — сказал я. — Если это так, то куда же смотрит ваше БЕЗО?

— Ах, дорогуша, — огорченно махнул рукой Дзержин. — Тебе это все понять очень трудно. Ты человек здесь все-таки новый. Дело в том, что у нас все БЕЗО состоит сплошь из агентов американского ЦРУ.

— Слушай, — рассердился я, — что ты мне плетешь какую-то, извини за выражение, хреновину. Я понимаю, что вражеские агенты могли проникнуть в БЕЗО, но чтобы все БЕЗО сплошь состояло только из них, это, по-моему, просто чушь!

— Увы! — ласково прижмурился Дзержин. — Какой ты все-таки еще наивный. К сожалению, то, что я тебе говорю, вовсе не чушь, а чистая и печальная правда.

Правда, рассказанная мне Сиромахиным, состояла в том, что агенты ЦРУ проникали в БЕЗО постепенно в течение многих лет.

— Это, понимаешь, как рак, — научно объяснял мне Дзержин, — сначала клетки накапливаются медленно. Но когда их количество перейдет критическую грань, они захватывают все. Так и агенты ЦРУ. Они сначала проникали по одному. А потом, когда в руководстве их оказалось большинство, они захватили все и везде расставили только своих людей. Их начальство дошло до того, что теперь уже в БЕЗО уборщицу нельзя нанять без согласия Вашингтона.

— Не могу себе этого даже представить, — сказал я.

— Да, — согласился Дзержин. — Представить это, прямо скажем, не просто.

— Но если все то, что ты говоришь, правда, и вы знаете, что все агенты БЕЗО на самом деле агенты ЦРУ, почему вы их не арестуете?

— Надо же! — засмеялся Дзержин. — Они хотя и состоят из людей ЦРУ, но называются БЕЗО и под видом БЕЗО сами могут арестовать кого угодно.

— Да, — подумал я вслух. — Интересно. А куда же смотрит ваша армия? Она что, с ними тоже не может справиться?

— Нет, она могла бы. Хотя там цэрэушников тоже порядочно, но армия все-таки что-то сделать могла бы.

— Ну и что? — спросил я нетерпеливо.

— Неужели не понимаешь? Если наша армия разгромит БЕЗО, то американцы, в свою очередь, разгромят ЦРУ, которое сплошь состоит из агентов БЕЗО, а это нам ни к чему.

Конечно, картина, нарисованная моим собеседником, в моем мозгу уложиться никак не могла.

На углу проспекта Первого тома и переулка имени Четвертого дополнения мы расстались. Я шел к себе в гостиницу и думал, что за небылицы он мне плетет, этот Дзержин. Пьяный он, сумасшедший, провокатор или просто разыгрывает? Вдруг меня остановила неожиданная мысль, и я кинулся обратно. Я догнал Дзержина уже у самой площади Вдохновения, схватил за локоть и спросил, очень волнуясь:

— Слушай, но если все БЕЗО состоит сплошь из агентов ЦРУ, то сам-то ты кто такой?

Он посмотрел на меня внимательно и, резко вырвав руку, сказал:

— Вот что, дорогуша, давай условимся раз и навсегда. Во избежание возможных неприятностей ты никогда не будешь задавать мне подобных вопросов. О'кей?

— Шюр[1], — сказал я и отошел.

ТАЙНА МЕДАЛЬОНА

Я думаю, не преувеличу, если скажу, что мне пришлось увидеть и услышать в Москорепе немало удивительного. Но откровения Дзержина меня просто потрясли. Я вернулся в гостиницу очень взволнованный и хотел сразу спросить Искрину, что она думает по этому поводу. Но она была занята, смотрела по телевизору футбол.

Я сел рядом с ней на кровать и тоже стал смот-

---

[1] Sure — в данном контексте означает согласие (*англ.*).

реть. Играли известные мне команды, но под несколько удлиненными названиями. Первая называлась Государственная Академическая ордена Ленина команда Спартак, а другая — Государственная Академическая ордена Ленина команда Динамо. Игроки были в возрасте лет примерно от сорока до шестидесяти. Я спросил у Искрины, почему такие старые футболисты. Она сказала, что, естественно, в столь важные команды попадают только лучшие спортсмены повышенных потребностей, а чтобы дослужиться до звания лучших, нужно время.

Игра протекала вяло. Футболисты не бегали, а важно ходили но нолю и медленно катали мяч. Я спросил у Искрины, какой счет, она сказала, что счет будет открыт только на двадцать четвертой минуте, а вся игра закончится со счетом 5:4 в пользу Спартака.

— Откуда ты знаешь? — спросил я.

— Так написано в программе.

— Разве счет устанавливается кем-то заранее? — спросил я.

— Конечно, — сказала Искрина. — Спортивный Пятиугольник все планирует задолго до матча. А в твое время разве было не так?

— Совсем не так, — сказал я. И объяснил, что в мое время спортсмены были моложе и счет складывался стихийно в процессе игры.

— Я не понимаю, что значит стихийно, — сказала она. — Кто-то же все-таки этот счет устанавливал?

— Да никто не устанавливал! Просто игроки бегали по полю, пинали мяч, били по воротам, и кто больше заколотит, у того больше и счет.

— Но это же волюнтаризм, — сказала она возмущенно. — Это выходит, кто быстрей бегает или сильнее бьет, тот больше и забивает?

— Ну да, — сказал я, — именно так. Правда, в годы расцвета коррупции бывало так, что одна команда давала взятки другой, и тогда счет определялся иначе.

— Вот видишь, — сказала Искрина. — Значит, была почва для злоупотреблений. А сейчас такого не может быть. Сейчас Спортивный Пятиугольник устанавливает счет в зависимости от положения той или иной команды, от того, насколько игроки дисциплинированны, как изучают произведения Гениалиссимуса и к какой категории потребностей они относятся. Не может быть так, чтобы команда общих потребностей безнаказанно забивала мячи команде повышенных потребностей!

— Чушь какая-то, — сказал я. — Но если ты заранее знаешь, чем дело кончится, зачем смотреть?

Искрина пожала плечами:

— Когда ты пишешь роман, ты тоже знаешь, чем он кончится.

— Вот именно, что не знаю, — возразил я. — То есть, когда я принимаюсь за роман, у меня бывают какие-то планы, но потом герои начинают вытворять чего хотят, и кто из них кого задушит, это уже зависит от них. Вот то же и с этим Симом. Твои начальники пристают с ножом к горлу, чтоб я его вычеркнул, а я не могу, у меня просто рука не поднимается.

Она спрыгнула с кровати и выключила телевизор.

— Слушай, — сказала она мне шепотом, — а как выглядел этот Сим?

— Ну как? — сказал я. — Ну такой... роста... ну, скажем, среднего. И вот такая бородища.

— Посмотри сюда, — сказала она и, вытащив из-за пазухи свой пластмассовый медальон, раскрыла его. — Это он?

Мне показалось, что произошло что-то потустороннее. Как будто в комнату влетел и тут же вылетел из нее кто-то невидимый. С маленькой, вделанной в медальон фотографии на меня пристальным и недобрым взглядом смотрел Сим Симыч Карнавалов.

РОМАН

— Ну как, ознакомились? — спросил маршал, когда я вытащил из-за пазухи книгу, порядком помятую.

— Да-да, прочел, — сказал я.

Мы были в его кабинете одни, он велел секретарше, чтобы она никого не пускала и никого не соединяла по телефону.

— Ну и как? — спросил он, заглядывая мне в глаза.

— По-моему, неплохо, — сказал я. — Совсем даже неплохо. Я бы даже сказал, хорошо, замечательно даже.

— Ну да, — согласился он, — роман получился в основном интересный. Ну, а вы его все-таки читали с критическим отношением?

— Ну конечно, с критическим. А как же, — сказал я. — Я всегда и все читаю критически.

— Вот именно это я и хотел от вас услышать! —

Маршал оживился и забегал по комнате. — Понимаете, когда человек мыслит критически, тогда с ним можно договориться. Когда он мыслит некритически, тогда с ним договориться нельзя. И какие же вы недостатки нашли в вашем романе?

— Недостатки? — переспросил я удивленно. — Я не понимаю, о каких недостатках вы говорите.

Он посмотрел на меня как-то странно.

— Ну как же, — сказал он растерянно, — мне кажется, что во всех книгах, даже в самых лучших, какие-то недостатки все же имеются.

— Конечно, имеются, — согласился я очень охотно. — Во всех книгах, кроме моих. Потому что я, когда пишу, я все недостатки сразу вычеркиваю и оставляю одни только достоинства. Правда, сейчас, читая роман, я заметил, там в одном месте запятая стоит лишняя, но в этом целиком виноват корректор. Не понимаю, куда он смотрел.

Взрослый помолчал. Я тоже. Он вытер со лба пот. Я сделал то же движение, хотя у меня лоб был не потный.

— Вот вы так говорите, — сказал Берий Ильич обескураженно. — Но вы говорите неправильно. Таких произведений без недостатков не бывает. Вот, скажем, над «Гениалиссимусианой» работает большой коллектив авторов, но даже он иногда делает некоторые ошибки. А у вас... Ну вот давайте посмотрим.

— Давайте, — охотно согласился я.

— Ну хорошо. — Он открыл книгу, пробежал глазами первую страницу. — Ну, начать хотя бы со вступления. Уже в самом начале у вас сказано как-то непонятно, то ли все, что вы пишете, было на самом деле, то ли вы все это выдумали. А где правда?

— Ну вот, — сказал я озадаченно. — Откуда ж я знаю, где правда? Вы же сами говорите: вторичное первично, а первичное вторично. В таком случае вообще никакой разницы между выдумкой и реальностью не существует.

— Допустим, — легко согласился он и стал листать дальше. — Ну этого капиталиста вы очень хорошо изобразили. Очень сатирически. Ну этого... как его... Махенмиттельбрехера?

— Миттельбрехенмахера, — вежливо поправил я.

— Ну да, ну конечно, Михельматен... ну, в общем, понятно. А он, что же, этот ваш торговец, он и белыми лошадьми тоже торгует?

— Белыми? — удивился я. — А-а, я понимаю, что вы имеете в виду. Этого я, право, не знаю. Он, вообще-то, я думаю, их не по цвету выбирает. Ему надо, чтобы они бегали хорошо. Он поэтому предпочитает арабских скакунов.

— Ага. Ну да. А, кстати, насчет этих арабов, которые на вас там напали... Вам не кажется странным, что они возлагали на вас такие надежды, что вы у нас тут будете секреты добывать?

— Мало ли чего они возлагали, — сказал я. — Они, может быть, обо мне по себе судят и думают, что я способен родину продать за мешок золота. А я ее, должен вам сказать, и за два мешка не продам.

— Да-да-да, — поторопился заверить меня маршал. — Поверьте мне, никто в вашем патриотизме не сомневается. Ладно, оставим это. Это все может быть так, может быть не так, это не важно. А вот это... — он открыл страницу, на которой помещено первое упоминание о Сим Симыче, — это

уж никуда не годится. С этим мы поступим таким образом. — Он выхватил из пластмассового канцелярского стаканчика остро отточенный карандаш и, раздирая бумагу, решительно провел черту от левого верхнего угла страницы к правому нижнему. Он уже собирался провести и другую черту крест-накрест...

— Стоп! Стоп! Стоп! — закричал я. — Стоп! — схватил я его за руку. — Так не пойдет. Что это вы прямо так чиркаете, как будто это вам что-то такое. Я, может быть, этот замысел вынашивал и лелеял, я, может быть, ночи не спал, все это выстраивая, я, может быть, каждое словечко вот так вот облизывал... — я даже попытался показать, как облизывал, — а вы прямо карандаш в руки и давай чиркать.

Маршал все это выслушал с большим недоумением.

— Ну как же, — сказал он, — ну как же? Ну зачем же вы этого вот Сима Симыча вывели? Ведь он нам, вы понимаете, совершенно не нужен.

Откровенно говоря, этот разговор стал мне казаться довольно дурацким, и я начал понемногу сердиться.

— Ну что это такое? — сказал я. — Что это за глупая постановка вопроса? Вам Сим Симыч не нужен. А мне лично он нужен, и я вам категорически запрещаю его вычеркивать.

— Да? — Берий Ильич вдруг переменил выражение и посмотрел на меня насмешливо. — Вы мне запретите? А вы примерно представляете разницу между вашим воинским званием и моим?

— А мне плевать на ваше звание, — сказал я,

но тут же прикусил язык и испугался. Черт его знает, подумал я, может, так не надо. Эти маршалы, они такие обидчивые. — Берий Ильич, — сказал я почти нежно. — Поймите меня правильно. Если этот роман на самом деле написал я, то, значит, я его писал, фигурально говоря, кровью сердца, душу свою в него вкладывал, а вы прямо хотите взять его и изуродовать.

— Ну подождите, подождите, подождите, — заторопился маршал. — Да что это вы так разнервничались? Ведь вы же должны понимать, что это дело серьезное, общегосударственное и общекоммунистическое. Ведь если вы этого не сделаете, мы не сможем ваш роман переиздать и не сможем провести ваш юбилей.

— Ну и черт с ним, с вашим юбилеем! — сказал я в сердцах.

— Да не с моим, а с вашим.

— С вашим, с вашим, — повторил я настойчиво. — Он вам нужен, а не мне. А я без него обойдусь. В конце концов, столько людей помирают даже без всяких столетних юбилеев, ну и я обойдусь.

— Ну хорошо, вы такой эгоист, вы обойдетесь, но о других ведь тоже надо побеспокоиться хоть немножко. Вы же знаете, — продолжил он мягко и вкрадчиво, — наши комуняне так готовились к вашему юбилею, трудились в поте лица, перевыполняли производственные задания, жили этим, считали дни. Они ждали юбилея, как большого праздника. А вы из-за вашего, собственно говоря, каприза хотите им этот праздник испортить.

О господи! Теперь, кажется, я вспотел. Мне стало ужасно неловко и перед Взрослым, и перед всеми остальными комунянами. Я сказал:

— Я не понимаю, почему это вас так волнует. Я понимаю, что вашим комунянам хочется почитать чего-нибудь такого, кроме Гениалиссимусианы, но если уж вы согласились мой роман напечатать, то зачем же его корежить?

— Не корежить, а улучшить, — быстро перебил Взрослый. — Убрать из него все лишнее. Это же не только мое личное мнение. И компсы наши со мной согласны, да и сам Горизонт Тимофеевич, несмотря на свою исключительную занятость, вникал в это дело и настоятельно... Понимаете, настоятельно, — повторил маршал с явной угрозой, — просил вас обо всем хорошенько подумать.

Ух, черт! Вообще-то говоря, я человек отчаянный. Но когда мне угрожают такие люди, как этот маршал, я понимаю, что дело серьезное.

— Даже не знаю, как с вами быть, — сказал я растерянно. — Ну, хорошо. Дайте мне книгу еще на одну ночь, я еще раз посмотрю и...

— И поправите, — подсказал он.

— Да не поправлю, а подумаю, — сказал я. — Если что-то можно...

— Ну конечно, можно, — сказал маршал.

— Да вам-то, конечно, — сказал я со вздохом. — Вам-то никаких романов не жалко... Ну да ладно. Еще раз подумаю.

— Ну вот и ладно, — обрадовался маршал. — Вот и договорились. Прочтите еще раз, посмотрите, подумайте, приходите завтра, и все сделаем. Слушайте, у меня есть... — он подошел к двери, заглянул в замочную скважину, приложил ухо, вернулся, — у меня есть кое-что специально для вас.

Он долго возился с секретным замком, открыл сейф и извлек оттуда... Ну что бы вы думали? Ту

самую бутылочку водки «Смирнофф», которая у меня пропала после приземления в Москорепе.

Я, разумеется, ничего ему не сказал. Мы разделили эту бутылочку. И что интересно, даже эту мизернейшую порцию водки я выпил совершенно без всякого удовольствия. Я даже удивился и подумал, что, может быть, настоящим комунянином я еще не стал, но зато от алкоголизма, кажется, вылечился. Как будет рада моя жена, подумал я, чокаясь с маршалом.

ЭДИСОН КСЕНОФОНТОВИЧ

Все эти дурацкие переговоры о переделке моего романа мне так осточертели, что я был очень рад приглашению Эдисона Ксенофонтовича Комарова, с которым мельком познакомился в Упопоте, посетить возглавляемый им Комнаком. Я понял, что Эдисон Ксенофонтович большой человек, когда он прислал за мной не какой-то там зачуханный паровик, а настоящий лимузин, работающий на бензине. Да и шофер был не простой, а полковник.

Мы выехали на проспект Первого тома и понеслись прочь от центра.

Впрочем, неслись недолго. Где-то сразу за средним Кольцом Коммунизма у нас лопнула шина, и, пока полковник менял колесо, я вышел подышать свежим воздухом. Воздух, однако, оказался не очень-то свежим, а таким, какой бывает в давно не чищенном свинарнике. Да и звуки вокруг были тоже свинарные. Что-то где-то визжало и хрюкало. Я оглянулся, ожидая увидеть какие-нибудь приземистые скотоприемники, но увидел совсем другое.

Я увидел, что со всех балконов шестиэтажного дома, под которым мы стояли, на меня, визжа и хрюкая, смотрят свиньи. Больше того, со всех других балконов всех других домов на меня тоже смотрели свиньи.

Признаюсь, мне стало немного не по себе. Что это? Какой-то свинский коммунистический город или это новая порода свинолюдей?

Впрочем, я тут же догадался, и шофер догадку мою подтвердил, что мы находимся в одном из районов Третьей Каки, где жителям, как я уже говорил, разрешено выращивать на балконах продуктивных животных, но в количестве не свыше одной скотоединицы на одну семью. (Сразу скажу, что впоследствии мне и самому приходилось читать об этом эксперименте различные газетные сообщения под заголовками «Приметы нового», «Домашний мясокомбинат» и даже «Свинья на балконе», но это, кажется, был фельетон про какого-то нехорошего человека, может быть, даже вообще про меня.)

Сменив колесо, полковник погнал машину еще быстрее, и мы скоро попали на незаметную лесную дорогу, в начале которой висел «кирпич».

Дальше были шлагбаум, будка и двое часовых, которые внимательно проверили наши документы. Таких будок и шлагбаумов я насчитал по дороге шестнадцать. Везде нас останавливали, везде самым внимательным образом проверяли документы, везде брали под козырек и поднимали шлагбаум.

За последним шлагбаумом дорога неожиданно нырнула в какое-то подземное сооружение. Проехав под землей метров двести-триста, мы опять остановились перед глухими воротами и незаметной калиточкой справа от них.

Войдя в калиточку, мы оказались в просторном холле с несколькими журнальными столиками, кожаными диванами, креслами и двумя-тремя искусственными пальмами в толстых кадушках.

Здесь нас и встретил сам Эдисон Ксенофонтович в белом халате.

Мы поздоровались, и я сказал ему, что, вероятно, его карьера очень удачно складывалась, если он в таком возрасте дослужился до генерала.

— В таком возрасте? — лукаво переспросил он. — А сколько мне, по-вашему, лет?

— Ну, лет двадцать пять — двадцать шесть, — предположил я, впрочем, не очень уверенно.

Эдисон Ксенофонтович оглушительно расхохотался и подмигнул полковнику, который тоже хихикнул.

Меня их веселость, надо сказать, немного задела, и я, слегка надувшись, заметил, что я, по-моему, ничего такого смешного не сказал.

— Ну что вы, что вы! — поспешил успокоить меня юный профессор. — Конечно, ничего смешного. Это я не над вашими словами смеюсь, а так просто. На меня иногда, знаете ли, что-то такое нападает.

Затем перекинувшись несколькими словами с шофером, он сказал, что тот может быть свободен. А мне предложил совершить с ним, как он выразился, небольшую, но полезную прогулку.

Выйдя из холла, мы оказались на довольно-таки широкой подземной улице с рядами четырехэтажных домов, стоявших под общей крышей. Паромобильное движение на ней было, должно быть, запрещено, потому что люди передвигались кто пешком, кто на велосипедах. Все они, заметив мое-

го провожатого, подобострастно ему улыбались или, напротив, пытались нырнуть за угол. Многие узнавали меня, улыбались, подходили, просили разрешения пожать руку или протягивали какие-то бумажки для автографа.

Оказалось, что это целый подземный город. Улицы в нем прямые и разделяют город на одинаковые квадраты, как примерно в Манхеттене.

КОМНАКОМ, как мне объяснил Эдисон Ксенофонтович, это научный мозг Москорепа. Здесь работают самые лучшие ученые, собранные со всех концов страны. Здесь разместились 116 научно-исследовательских институтов, в которых разрабатываются все направления современной науки.

— Все институты мы обходить, пожалуй, не будем, — сказал Эдисон Ксенофонтович, — а вот в этот можно и заглянуть. Он создан благодаря вам.

— Благодаря мне? — удивился я и посмотрел на вывеску, на которой было написано: «Институт Извлечения Информации (ИНИЗИН)». Это был поистине огромный институт с многими лабораториями. Мы посетили несколько из них, и в каждой целые бригады докторов и кандидатов наук колдовали над маленьким кусочком какой-то пленки. Рассматривали ее в микроскоп, просвечивали рентгеновскими лучами, окунали в химические растворы и кололи иголками. В каждой лаборатории я спрашивал ученых, чем они занимаются, они смотрели на Эдисона Ксенофонтовича, тот весело хохотал и говорил:

— А вы догадайтесь.

Я напрягал все свое воображение, но без результата.

— Так и не догадались? — спросил он, когда мы опять очутились на подземной улице.

— Так и не догадался, — сказал я.

— А помните, вы привезли с собой такую вот квадратную черную штучку?

— Флоппи-диск? — спросил я.

— Ну да, можно назвать это и так. Мы эту штуку называем дискетой.

— Но зачем же они ее разрезали?

— Ну как же. Они пытаются извлечь заложенную в нее информацию.

Я прямо схватился за голову, а потом начал сам хохотать, как припадочный. Эдисон Ксенофонтович нахмурился и спросил, что это меня так развеселило. Все еще давясь от смеха, я ему объяснил, что флоппи-диск — это такая маленькая штучка, которая вставляется в большую штуку, то есть в компьютер, но не в современный, а в старинный, какие были еще в мои времена, причем эта штучка должна быть обязательно в целом, а не в поврежденном виде. И вот если ее целую вставить в компьютер, он ее крутит и выдает текст или на экран, или прямо сразу может напечатать книгу.

— Вы не видели такие компьютеры? — спросил я его.

— Я лично видел, — сказал он. — А вот другие не видели. Потому что это оборудование устарело и давно снято с производства.

— Но в таком случае, — сказал я, — ваши ученые занимаются просто глупостью. Теми методами, которые они применяют, они из этих кусочков никогда ничего не извлекут.

— А им ничего извлекать и не нужно, — беспечно махнул рукой профессор. — Им нужно, что-

бы был институт, директор, замдиректора, парторг, священник, начальник службы БЕЗО, руководители лабораторий. Из этих должностей они извлекают довольно много пользы. А извлекать информацию из пленки — это дело десятое. Как правильно заметил наш Гениалиссимус: «Движение — все, цель — ничто». Хорошо сказано, правда?

— Неплохо, — сказал я. — А вы тоже занимаетесь чем-то подобным?

— Я? — переспросил Эдисон Ксенофонтович и засмеялся. — Я занимаюсь чем-то более серьезным. Я руковожу всем этим комплексом. Но вообще я биолог, и у меня есть свой институт, который занимается созданием нового человека.

— Нового человека? — удивился я.

— Ну да, — подтвердил он, — нового человека. Удивлены? Но я удивлю вас еще больше. Пойдемте, я вам все покажу.

ИНСОНОЧЕЛ

Институт Создания Нового Человека (ИНСОНОЧЕЛ) располагался неподалеку от Инизина, кварталах приблизительно в четырех.

Там мы тоже ходили по разным лабораториям, назначение которых было мне не очень понятно. Эдисон Ксенофонтович познакомил меня со многими своими сотрудниками. Всех их без различия пола, возраста и званий (а среди них было много вполне пожилых профессоров, доцентов, докторов и кандидатов наук) он называл просто по именам и на «ты», похлопывал по плечу, а некоторых достаточно солидных дам даже и по мягкому месту, но

такое обращение, насколько я мог заметить, никого не смущало и не шокировало. Напротив, все, к кому он обращался, отвечали ему без подобострастия, но с почтением, обычным в отношении к человеку старшему по возрасту, а не только по должности. Их отношение к своему шефу передалось постепенно и мне, нашу разницу в возрасте я тоже перестал ощущать.

Эдисон Ксенофонтович показал мне тысячи непонятных и сложных устройств с какими-то котлами, чанами, колбами и пробирками, соединенных хитрейшими переплетениями металлических, стеклянных, пластмассовых и резиновых трубок, где что-то кипело, плавилось, булькало, застывало и испарялось. В некоторых лабораториях стоял какой-то ядовитый туман, от которого кружилась голова и подступала к горлу тошнота.

— Интересант? — спрашивал он меня и, не дослушав ответа, тащил дальше.

Поначалу мне действительно было интересно, но потом стало надоедать. Я сказал профессору, что мне всю эту технику показывать не стоит, потому что я в ней все равно ничего совершенно не смыслю.

— А, да-да, ну конечно, — охотно согласился профессор. — Мы тут действительно занимаемся вещами для неподготовленного человека довольно сложными. Ну хорошо, тогда я вам покажу, пожалуй, что-нибудь попроще.

Мы как раз шли по длинному коридору с многочисленными дверями, точь-в-точь как в Союзе писателей, с той только разницей, что в дверях были еще маленькие окошки. Сунув по предложению профессора голову в одно из таких окошек, я уви-

дел картину, которая меня удивила и отчасти шокировала. В большом просторном помещении (что-то вроде больничной палаты) на широких железных кроватях (было их там примерно штук восемь) бесстыдно совокуплялись голые пары, причем делали это не стихийно, не сами по себе, а под наблюдением группы специалистов, которые производили измерения, записывали что-то в тетрадки и давали указания, кому, что и как надо делать. Я отлип от окошечка и недоуменно посмотрел на профессора.

— Интересант? — спросил он.

— Кому как, — ответил я. — Меня лично подобные пип-шоу никак не привлекают.

— Что-что? — переспросил профессор. — Какие шоу?

Оказывается, он даже не знал, что такое пип-шоу. А еще профессор!

Я ему объяснил, что в мое время в некоторых совершенно загнивших странах капитализма существовала такая форма отвлечения трудящихся от политической борьбы за свои насущные права. Заплатив всего лишь одну немецкую марку или четверть американского доллара, трудящийся мог заглянуть в дырку и увидеть различные способы совокупления человека с человеком, а иногда даже и человека со специальными механизмами.

К моему удивлению, мое сообщение очень заинтересовало профессора. Он стал выпытывать подробности, как именно устроены эти зрелища и что конкретно там происходит.

Увы, я не мог ему рассказать многого. Честно говоря, я в такие дырки на бегу пару раз как-то заглядывал, но вообще у меня обычно как раз на эти

вот вещи и не хватало или марки, или четверти доллара.

Выслушав это, профессор пожаловался мне, что, к сожалению, коммунистические службы проявляют известную степень безынициативности и уступают идеологическим противникам такую важную сферу воздействия на эмоции граждан. Он попросил меня записать мой рассказ на бумаге и сказал, что в следующий раз он, пожалуй, подаст Верховному Пятиугольнику предложение об организации подобных зрелищных предприятий в местах массового отдыха комунян.

— Но у вас же это уже есть, — сказал я, указывая на все еще открытое окошко.

— Ах, что вы, что вы, — махнул рукой профессор. — Это совсем не то. У нас не зрелищное, а чисто научное учреждение. Вы догадываетесь, чем занимаются эти люди?

— Ну да, — сказал я, — мне кажется, что я догадываюсь.

— Нет-нет, — сказал он решительно. — Вы не догадываетесь. Вы даже не понимаете. Эти люди как раз и занимаются тем, о чем я вам говорил, а именно созданием нового человека.

— Зачем вы мне объясняете такие банальные вещи? — не понял я. — Вы думаете, в мои времена нового человека создавали как-то иначе?

— Найн, найн! — замахал он руками. — Вы меня все-таки не понимаете. Я говорю не просто о новом человеческом организме, я говорю о человеке, принципиально отличающемся от своих предков физическими, интеллектуальными, моральными данными, уровнем политической сознательности. Короче, я говорю о коммунистическом челове-

ке. В ваши времена такая задача тоже ставилась, но тогда упор делался на воспитание и перевоспитание, но, как показало время, это была порочная теория и порочная практика. Многие люди в процессе воспитания становились не лучше, а хуже. Это было так же глупо, как пытаться путем воспитания превратить осла в лошадь.

— Да-да, — сказал я. — Я совершенно с вами согласен.

— Очень рад это слышать, — растроганно сказал профессор. — Мы теперь пошли по совершенно иному пути. Мы решили не тратить время попусту, никого не воспитывать, не перевоспитывать, а просто вывести новую породу людей. Ну в самом деле. Возьмите любое животное. Хотя бы собаку. Ну да, простую собаку... Казалось бы, ну что такое собака? Примитивное животное. Разумом не обладает. Одни только рефлексы. Но ведь и собака собаке рознь. Собаки есть охотничьи, сторожевые, ищейки, комнатные, декоративные. И многие из этих пород не просто сами по себе появились, а выведены путем многолетних целенаправленных скрещиваний. Но если мы заботимся о том, чтобы производить животных с определенными задатками, то почему же мы должны равнодушно смотреть, как человечество в результате произвольных сочетаний превращается в стаю дворняг? Интересант?

— Очень! — сказал я. — Безумно интересно! А какого именно вы хотите вывести человека: охотника, сторожа или ищейку? Или, может, декоративного человека?

— Ха-ха-ха-ха, — громко засмеялся Эдисон Ксенофонтович. — Это очень интересно. Стоит, по-

жалуй, попробовать вывести декоративного человека. Нет, дорогой мой, вы меня неправильно поняли. Мы как раз в пределах одного вида хотим вывести разные породы людей для разных целей. Вы сами можете припомнить, что в ваши времена делали культисты, волюнтаристы, коррупционисты и реформисты. Ученых посылали перебирать картошку, кухарку заставляли управлять государством, работники БЕЗО норовили писать романы. Это было глупое антинаучное перераспределение кадров. А теперь все будет не так. Теперь мы для разных нужд будем выводить разные породы людей. Например, для промышленности и сельского хозяйства мы хотим вывести добросовестных рабочих и крестьян. Для этого мы берем и сочетаем передовиков производства. Те пары, которые вы только что видели, состоят сплошь из героев коммунистического труда, рационализаторов и изобретателей. Затем мы выводим людей со склонностью к военной службе, к спорту, ученых и управленческий аппарат.

— Скажите, — заинтересовался я, — а писателей вы тоже собираетесь выводить таким же образом?

— Натюрлих! — закричал он. — Но с писателями дело обстоит несколько сложнее. Дело в том, что писатели, как мы заметили, бывают обычно двух противоположных категорий. Иной обладает развитым художественным воображением, но весьма отстает в идейном развитии. Так вот мы хотим создать такого писателя, который совмещал бы в себе художественный талант с высокой коммунистической идейностью. Поэтому мы скрещиваем не

писателя с писательницей, а писателя с профессором марксизма.

— Ну, а о таком человеке, который сочетал бы в себе все выдающиеся качества, вы не думали?

— Ах! — сказал профессор и с досады махнул рукой. — Не только думал, но даже достиг в этом деле очень больших успехов, хотя это было безумно трудно. Понимаете, такого человека прямым старым способом не сделать. Я много лет у разных выдающихся личностей, у гениев разных, у физиков, математиков, писателей, режиссеров, Героев труда, лауреатов Нобелевской премии собирал генетический материал, сперму то есть. Я вытягивал из нее хромосому по хромосоме. Я делал из хромосом самые разные сочетания. Я потратил на это лет тридцать...

— Тридцать! — Я посмотрел на его юное лицо недоверчиво.

— Ну не тридцать. Меньше. Неважно. Важно другое. Я проводил опыт за опытом. Иногда кое-что получалось. Но не все. Иногда у меня рождались слепые, глухонемые, безрукие и безногие. У некоторых были одни способности, зато других не было. Однажды я создал одного интеллектуала. Я сделал ему голову величиной с паровой котел. Я набил этот котел всеми знаниями, которые накопило человечество. Он говорил свободно на двенадцати языках, а читал буквально на всех.

— Он, вероятно, стал великим ученым? — предположил я.

— Да что вы! — Эдисон Ксенофонтович огорченно махнул рукой. — Он оказался обычным интеллектуалом. Голова большая, знаний много, а мысли ни одной. Пришлось аннигилировать.

— Что сделать? — переспросил я удивленно.

— Я растворил его в серной кислоте, — сказал равнодушно профессор.

— И не жалко было? — ужаснулся я.

— Нет, не жалко. Природа таких и без меня создает в несметных количествах. Но в конце концов я своего добился. Мне удалось создать совершенно универсального гения. Он был гений во всех областях.

— Почему был? Вы его тоже аннигилировали?

НЕСГИБАЕМЫЙ

Эдисон Ксенофонтович не успел ответить, потому что как раз в это время за одной из дверей раздался жуткий нечеловеческий вопль.

— Что это такое? — спросил я и недоуменно посмотрел на профессора.

— Не обращайте внимания, — смущенно улыбнулся профессор и хотел повести меня дальше, но тут вопль повторился, и уже на такой высокой ноте, что оставить его без внимания было выше моих сил.

— Слушайте, — сказал я, — что же это у вас такое происходит? По-моему, у вас там кого-то просто раздирают на части.

— Да как же вы могли такое подумать! — развел руками ученый. — Ну, если вас мучает любопытство, давайте посмотрим, что там происходит на самом деле. — С этими словами от толкнул ногой дверь, из-за которой доносились вопли.

Кажется, мои ужасные подозрения немедленно подтвердились. Посреди светлой комнаты со стена-

ми, покрытыми масляной краской, стоял деревянный столб, к которому веревками был прикручен немолодой голый человек с белым и дряблым телом. Возле человека стоял в белом халате горилло-подобный верзила с плетеной нагайкой, да еще со свинцовым грузиком на конце.

— Какой кошмар! — сказал я и посмотрел на профессора. — А вы говорите, что тут ничего особенного не происходит! Что вы делаете с этим несчастным?

— В том-то и дело, что мы с ним ничего совершенно не делаем. Вот посмотрите сами. — С этими словами Эдисон Ксенофонтович выхватил у гориллы нагайку и замахнулся.

— Ва-ай! — завопил привязанный. — Не бейте меня! Я боюсь! Я отказываюсь от всех своих убеждений! Я признаю, что коммунизм является самым передовым и совершенным человеческим обществом!

— Что же ты кричишь, ничтожество? — обратился к нему профессор. — Что же ты так легко отказываешься от того, что тебе дорого? Посмотрите на него, — повернулся он ко мне. — Его спина чиста, на ней нет ни одного следа нагайки.

— Я кричу, потому что боюсь боли, — рыдая, сказал привязанный. Он повернул ко мне свое искаженное страданиями лицо, и я узнал в нем того самого представителя западногерманской фирмы, который летел вместе со мной в надежде узнать, как будет работать в будущем советский газопровод. Он тоже меня узнал и, дергая головой, стал умолять о заступничестве, пересыпая свою просьбу бессвязными уверениями в превосходстве коммунистической системы над всеми остальными.

— Развяжите его и переведите в камеру отдыха! — приказал Эдисон и, когда несчастную жертву развязали и вывели, повернулся ко мне. — Вот видите, какой гнилой человеческий материал предоставляют ваши хваленые капиталисты.

Причем сказал он это с таким упреком, что я невольно почувствовал себя ответственным за капиталистов и все их пороки, хотя я не помнил, чтобы я их когда-то хвалил.

— А в чем, собственно, дело и при чем тут капиталисты? — спросил я, как будто оправдываясь.

— Жалкие люди, — сказал профессор. — Ему только покажешь нагайку, он немедленно отрекается от всех своих убеждений.

— Еще бы! — сказал я. — При виде такой нагайки как не отречься? Капиталист он или не капиталист, он же не железный. Ему, когда его бьют, больно.

— Всем больно, — наставительно заметил профессор. — Однако есть такие, которые выдерживают. Да вот я вам сейчас покажу.

С этими словами он толкнул дверь, которой эта комната была соединена с другой, точно такой же.

Там тоже был столб. И на столбе тоже был человек. Но вид этого человека был поистине ужасен. Вся его спина была исполосована ударами нагайки, но гораздо сильнее, чем виденная мною когда-то спина Зильберовича. Полосы от ударов вздулись, а некоторые и вовсе полопались. А кроме полос, на лопатках этого человека еще кровоточили две аккуратно вырезанные звезды.

— О Гена! — закричал я. — Что же это за человек? И зачем вы над ним так издеваетесь?

В это время человек повернулся ко мне, и в его опухшем от побоев лице с расквашенным носом я с большим трудом узнал юного террориста, своего попутчика по космоплану. Ничего не говоря, он посмотрел на меня, и тут же его поседевшая голова упала на плечо, он потерял сознание.

— За что вы его так наказываете? — спросил я тихо.

— Мы наказываем? — удивился профессор. — Как вы могли так подумать! Мы такими вещами не занимаемся. Мы не карательный орган, а научное учреждение. Мы испытываем твердость убеждений разных людей и экспериментальным путем доказали, что коммунисты, вроде этого юноши, проявляют недоступные другим стойкость и волю. Он от своих убеждений не отказался, не усомнился в них ни на секунду.

— Ага! — сообразил я. — Это вы его, значит, так с научными целями. А вы не испытывали его как-нибудь каленым железом или расплавленным, допустим, свинцом?

— Ну вот! — обрадовался профессор. — Я вижу, и в вас проснулся экспериментатор. Что ж, ваше предложение кажется мне весьма, так сказать, ценным. Пожалуй, вы правы. Сейчас я прикажу накалить какой-нибудь железный прут добела и воткнуть ему...

— Эдисон Ксенофонтович! — закричал я. — Ради Гены, не надо этого делать! Не надо! Я пошутил, причем пошутил очень глупо.

— Мы тут тоже, понимаете, думали, что бы еще с ним сделать, но фантазия как-то исчерпалась.

А вы вот пришли, посмотрели свежим глазом и сразу внесли новую идею.

— Слушайте, профессор, — сказал я взволнованно, — я вас очень прошу, оставьте этого человека в покое. Конечно, он за свою короткую жизнь успел сделать много плохого, но, как я вижу, он свои грехи уже полностью искупил. Зачем же подвергать его столь мучительной смерти?

— Ну что вы! Что вы! — горячо возразил Эдисон Ксенофонтович. — Неужели вы думаете, что мы собираемся его убивать? Такой ценный экземпляр! Да мы его будем беречь как зеницу ока. Мы его сначала еще немножко проверим, а потом подлечим, откормим, будем брать у него генетический материал. Нам нужна такая порода. Дело в том, что люди наши измельчали, особенно молодежь, в которой наблюдаются признаки моральной неустойчивости и идейных шатаний... А вот когда мы извлечем из него достаточно генетического материала, тогда уж мы его...

— Аннигилируете, — подсказал я.

— Да что вы заладили со своим аннигилированием! — с досадой сказал профессор. — Мы с ним поступим гуманно. Мы его усыпим, забальзамируем и выставим в музее как человека невиданной стойкости. Который вынес все до конца, но не издал ни стона, не попросил пощады, не предал свои идеалы, погиб, но остался верен своим убеждениям.

Я увидел, что на глазах профессора блеснула скупая мужская слеза.

— А что же вы сделаете с капиталистом? — спросил я. — Уж его-то вы, конечно, аннигилируете.

— Не аннигилируем, а утилизируем, переработаем и в виде вторичного продукта отправим на его родину. Если это добро им нужно, пусть получают.

СУПИК

Я передал наш диалог с Эдисоном Ксенофонтовичем как длившийся беспрерывно и на одном месте. На самом же деле, пока он продолжался, юного террориста по моей настойчивой просьбе сняли со столба, завернули в простыни и унесли. А мы с профессором покинули лабораторию и приблизились к его кабинету, который, впрочем, тоже оказался отдельной лабораторией, охранявшейся снаружи целым взводом автоматчиков БЕЗО.

Внутри же никого не было, если не считать некое странное существо, которое у раковины мыло и протирало разные колбочки и пробирки.

Существо это, не имевшее на себе ничего, кроме подобия набедренной повязки, было, пожалуй, женского пола, о чем свидетельствовали его вялые груди, но в то же время для женщины оно было каким-то слишком уж бесформенным и безвозрастным. Ему одновременно можно было дать и тридцать лет, и шестьдесят.

Работая медленно и вяло, существо не обратило на нас никакого внимания и продолжало свою деятельность, заунывно напевая старую песенку «Молода я, молода, да плохо одета. Никто замуж не берет девушку за это».

— Ну что, Супик, — спросил профессор, — все вымыл и протер?

— Да, — сказало существо, — все сделал.

— Willst du schlaffen?[1] — спросил профессор по-немецки.

— Ja[2], — отвечало существо, нисколько не удивляясь.

— What else would you like to do?[3]

— Nothing[4].

— Не хочешь немножко побегать или чего-нибудь почитать? — спросил Эдисон Ксенофонтович.

— Нет, не хочу, — ответило существо. — Только спать.

— Ну, пойди поспи, — разрешил профессор, и существо, кинув полотенце в угол, немедленно вышло.

— Что это у этой тети какое-то странное имя — Супик? — спросил я.

Профессор охотно ответил, что Супик — это ласкательное от полного имени Супер. И это не женщина, не мужчина, но и не гермафродит.

— А кто же? — спросил я.

— Это отредактированный супермен, — сказал профессор.

Я, конечно, не понял. Тогда он выдвинул ящик своего письменного стола, порылся там и извлек фотографию. Это была фотография мощного голого мужчины, который, вероятно, много занимался культуризмом. Мышцы распирали кожу, и вообще во всем облике мужчины чувствовалась большая сила и большой запас жизненной энергии.

---

[1] Хочешь спать? (*нем.*)

[2] Да (*нем.*).

[3] Что еще ты хочешь делать? (*англ.*)

[4] Ничего (*англ.*).

— Узнаете? — спросил профессор.

— Нет, — сказал я решительно. — Не узнаю.

— Это Супик до редактуры.

С грустной улыбкой он рассказал мне печальнейшую историю. Супик был первым настоящим успехом профессора на пути создания универсального человека. Это был идеально сложенный и гармонически развитый человек. Он одинаково хорошо был приспособлен и к физическому, и к интеллектуальному труду. Он в уме моментально производил самые сложные математические вычисления. Он писал потрясающие стихи и сочинял гениальную музыку, а его картины были немедленно раскуплены лучшими музеями Третьего Кольца. Он показывал чудеса в спорте, выжимал штангу в четыреста килограммов, стометровку пробегал за 8,8 секунды и на ринге легко побеждал всех мировых тяжеловесов, правда, только по очкам. При всех своих достоинствах он обладал лишь одним недостатком — был слишком добр. И поэтому, отбивая удары, только слегка касался противника, боясь причинить ему боль.

— Ну и что же случилось с вашим добрейшим Супиком? — спросил я, крайне заинтригованный.

Профессору явно не хотелось рассказывать, но раз уж начал, так начал.

Всякие научные и иные достижения в Москорепе могут быть признаны только после утверждения их Редакционной комиссией, которой Эдисон Ксенофонтович и предъявил свое создание.

Супик вышел перед ними, поднял штангу с рекордным весом, отремонтировал поломанные часы одного из членов комиссии, выбил из пистолета сто очков из ста возможных, доказал теорему Гаусса,

сыграл на рояле Аппассионату Бетховена, прочел по-древнегречески отрывок из «Илиады» и по-немецки весь текст Коммунистического манифеста. А собственным стихам Супика члены комиссии, все, кроме председателя, аплодировали стоя.

— А председатель? — спросил я.

Оказывается, председатель в это время спал. Он даже не слышал, когда остальные члены комиссии поздравляли Эдисона Ксенофонтовича и его создание. Они щупали Супика, щекотали, хлопали по плечу, давали ему «на засыпку» самые каверзные вопросы, он, разумеется, отвечал на них без запинки и без ошибок.

Потом началось обсуждение. Кто-то сказал, что Супик выглядит почти идеально, но уши слишком оттопырены и хорошо бы их слегка подогнуть. Были замечания по поводу формы носа и разреза глаз. Один из членов комиссии, узнав, что Супик потребляет много пищи, предложил сделать ему операцию и урезать желудок. В это время как раз председатель проснулся и обратил внимание, что наружные органы Супика слишком уж выделяются.

— А это вафем? — спросил он.

Эдисон Ксенофонтович растерялся, стал объяснять, что, мол, как же, это, ясное дело, для продолжения рода.

— А вафем его продолвать? — сказал председатель. — Не надо. Луфть один будет. Только он должен быть прилифный, фтоб его детям мовно было покавывать.

— И вы не возражали? — спросил я, потрясенный.

— Еще как возражал! Я писал жалобы, объяснения, собирал подписи наших ученых, обивал по-

роги разных инстанций, в конце концов связался лично с Гениалиссимусом.

— И он не захотел вам помочь?

— Видите ли, — сказал Эдисон Ксенофонтович, — Гениалиссимус обладает огромной властью, но когда дело доходит до Редакционной комиссии, тут даже и он почти бессилен. Он сделал все, что мог, а потом позвонил мне и сказал, что надо уступить им хотя бы немного. Уступить малое, чтобы сохранить основное. У меня не было выхода...

— И вы кастрировали своего несчастного Супика? — спросил я в ужасе.

— Ну да, — грустно кивнул профессор. — Именно кастрировал. Ну что вам сказать? Конечно, в нем что-то осталось. Он такой добросовестный. И посуду моет, и полы подметает, и белье стирает. А все остальное ушло. Но зато умеет петь женским голосом.

ЭЛИКСИР

«Надо же, куда я попал!» — думал я, разглядывая профессорскую лабораторию. Что за странное заведение, в котором с человеком обращаются как с какой-нибудь мухой. Сначала с ним вытворяют разные опыты, а потом аннигилируют, бальзамируют, утилизируют и кастрируют.

Лаборатория выглядела довольно, я бы сказал, обыкновенно. В углу скромный письменный стол. Над ним на стене большой портрет Гениалиссимуса в полной форме и во всех орденах. Сбоку висела показавшаяся мне довольно странной фотография. Два престарелых алкаша чокаются пластмассовыми стаканами.

Само оборудование лаборатории меня поначалу, правду сказать, особенно не заинтересовало. Помню, там был какой-то большой сосуд из нержавеющей стали. В нем что-то, видимо, кипятилось. Из сосуда выходило множество каких-то разноцветных стеклянных трубок, соединенных с различного рода змеевиками. Было много приборов, показывающих температуру, давление и еще что-то. В конце концов вся эта система раздваивалась, и каждая половина заканчивалась одной трубкой и пластмассовым стаканчиком, то есть всего стаканчиков было два.

Этикетка на одном из них изображала розу, на другом были нарисованы череп с костями.

Бесцветная жидкость медленно, очень медленно капала в оба стаканчика.

Рассматривая все это, я чувствовал, что профессор, стоя чуть позади, внимательно за мной наблюдает.

— Интересант? — услышал я его голос.

— Ну так, — сказал я. — Любопытно. Что-то вроде самогонного аппарата.

Кажется, я его очень насмешил своим суждением. Он так смеялся, что весь покраснел, а на глазах у него выступили слезы.

— Да-да, — сказал он, смахивая слезу. — Это и есть самогонный аппарат. Это идеальный самогонный аппарат. Только гонит он не самогон, а что?

Мне ничего не осталось делать, как пожать плечами.

— Не можете догадаться? — радостно сказал он и хлопнул в ладоши. — Не можете? Сдаетесь?

— Сдаюсь, — сказал я.

— Ну так вот, — сказал он, торжественно воз-

бужденный. — Вы видите то, что до вас видели только два человека: я и еще один, и этот один был не кто иной, как сам Гениалиссимус. Это он перед последним отлетом в космос посетил мою лабораторию и стоял на том же самом месте, где сейчас стоите вы.

— Неужели лично Гениалиссимус? — переспросил я и отступил на шаг в сторону.

— Да, именно он, именно лично. И знаете почему? Потому что я сделал самое величайшее в истории человечества открытие. Я изобрел... Впрочем, смотрите. Вы видите эту ранку на моем пальце? Это я сегодня порезался разбитой пробиркой. А теперь смотрите, я беру одну только каплю моего самогона, смазываю ранку, и вот, видите, она вся затянулась, исчезла. Теперь-то вы понимаете, что это такое?

— Эликсир жизни! — закричал я, пронзенный догадкой.

— Вот именно, эликсир жизни! — хлопнул меня по спине профессор. — Или, как я его назвал, НБГ — Напиток Бессмертия Гениалиссимуса.

Я так ошалел от того, что услышал, что больше уже не воспринимал никаких объяснений и, по сути дела, даже ничего не запомнил. Помню только, что профессор говорил мне, будто в организме человека есть какие-то два вида то ли какой-то жидкости, то ли чего-то еще, что он условно называл плазмой жизни и плазмой смерти. И что будто бы эти две плазмы между собой перемешаны и находятся в постоянной борьбе, причем плазма смерти постепенно плазму жизни одолевает. И вот главное было не только открыть, но и разделить эти плазмы, чего он, профессор, в конце концов и достиг.

Прочтя мне эту небольшую лекцию, он схватил стаканчик с розой и спросил, хочу ли я это попробовать.

Хотел бы я посмотреть на того, кто откажется. Но, вкусив этого зелья, я понял, что лучше умру прямо на месте, чем буду продлевать свою жизнь таким способом.

— Не нравится? — спросил он озабоченно. — Вкус, прямо скажем, не очень. Но для вечной жизни можно выпить и не такое.

У меня по этому поводу было другое мнение, но из вежливости я промолчал.

— А теперь, — сказал он торжествующе, — посмотрите на эту фотографию и подумайте, кто на ней запечатлен.

Я еще раз посмотрел на фотографию со стариками. Один из них показался мне похожим на Гениалиссимуса. Разница между висевшим тут же официальным портретом и лицом, изображенным на карточке, была огромной, но меня уже ничто не удивляло. А этот дряхлый и абсолютно лысый старикан с проваленным ртом... Я перевел взгляд на Эдисона Ксенофонтовича.

— Ну да, — сказал я, — да. Некоторое сходство есть. Правда, очень отдаленное.

— Ну, если вы догадались, — усмехнулся профессор, — тогда вглядитесь в меня внимательно, не найдете ли вы во мне сходства еще с кем-нибудь?

— Эдик, — сказал я, узнав в нем того молодого биолога, с которым меня лет примерно восемьдесят тому назад в Доме журналистов познакомил Лешка Букашев. — Это ты?

— Это я, — сказал Эдик.

— Врешь, собака! — закричал я на предварительном языке.

— Гад буду, — на том же языке, улыбаясь, ответил Эдик.

Я все же не мог поверить. Я обошел вокруг него, посмотрел на него анфас и в профиль. Я даже пощупал его, но какие-то сомнения все-таки оставались.

— Скажи, — спросил я неуверенно, — а Гениалиссимус это...

— Ну, конечно, — кивнул он печально, как бы признаваясь в том, что должно было бы оставаться в тайне. — Разве ты сам не догадался?

— Мне не надо было догадываться, — сказал я. — Эта истина лежала прямо передо мной. Но мне не хватило воображения, чтобы ее принять.

— Вот в том-то и дело! — сказал он с таким видом, как будто я подтвердил какую-то выношенную им мысль. — В том-то и дело, что мы до сих пор не доверяем нашему воображению. Мы не понимаем своего совершенства, и нам кажется, что есть какая-то объективная картина мира, которая никак не зависит от того, как мы на нее смотрим.

— Эдик, — остановил я его, — не надо мне это рассказывать. Первичное вторично, вторичное первично, я это уже слышал.

— Ты слышал, но ты этому не веришь по недостатку воображения. Ты знаешь, я, между прочим, кроме всего изучал всяких сумасшедших, страдающих разными галлюцинациями. И я пришел к выводу, что никаких галлюцинаций не бывает. Просто галлюцинирующий видит то, чего мы не видим, а мы видим то, что не видно ему.

— Значит, если я, скажем, допился до белой горячки и мне видятся черти, они существуют реально?

— Конечно, — кивнул Эдик. — В твоем мире они существуют реально, а в моем, пока я трезв...

— Кстати, — перебил я его, — быть все время трезвым ужасно скучно. У тебя в твоем хозяйстве, наверное, есть что-нибудь такое, чем промывают пробирки там или колбы.

Эдик посмотрел на меня, подумал...

— Вообще-то я спиртного не потребляю, — сказал он раздумчиво, — но по такому случаю... У меня дома, наверное, что-нибудь найдется.

У ЭДИКА

Очевидно, у Эдика потребности были выше даже, чем у маршала Взрослого. Он жил неподалеку от своей лаборатории в большой квартире с окнами, выходящими на подземную улицу. Квартира была тщательно убрана, но чувствовалось, что здесь живет холостяк. В одной из его комнат размещалась довольно значительная библиотека, состоявшая не только из научных изданий, но и из прекрасной коллекции предварительной литературы от Пушкина до Карнавалова. И моя книга, вот эта самая, там тоже была. И пили мы там не что-нибудь, а настоящий французский коньяк разлива 2016 года. Причем, когда выдули первую бутылку, он извлек и вторую.

Мы сидели, не зажигая огня, но там, за окном, был какой-то фонарь. Слабый свет его, вливаясь в комнату, помогал разглядеть угол стола, бутылку, а

горбоносый профиль моего собеседника казался черным и плоским, как бы вырезанным из картона.

Мы продолжали говорить о замысле, вымысле и силе воображения, и Эдик меня своими рассуждениями так запутал, что я уже сам не видел разницы между реальностью действительной и воображенной.

Насколько я помню, его рассуждения сводились вот примерно к чему. Наш мир сам по себе есть плод Высшего Замысла. Бог замыслил этот мир, населил его нами и рассчитывал, что мы будем жить в соответствии с Замыслом. Но он не наделил нас способностью к пониманию Замысла, и мы стали вести себя не по-задуманному, а как попало и даже вышли из-под контроля. То же самое происходит с писателем. Он создает воображаемый мир, населяет его своими героями, ждет от них определенных поступков, а они начинают вытворять черт-те что и в конце концов искажают то, что было задумано.

Я уже отвык от спиртного, захмелел довольно быстро, и, может быть, поэтому все, что он говорил, казалось мне исключительно мудрым.

— Точно, — сказал я радостно. — Ты очень правильно говоришь. Именно так со мной и бывает. Я задумываю одно, а потом получается совершенно другое.

— Вот именно. — сказал Эдик. — Так же получилось и с нашим несчастным Гениалиссимусом. У него тоже был свой замысел. Он, когда вместе со своими рассерженными генералами пришел к власти, хотел установить здесь новый порядок. Стал бороться с коррупцией, бюрократизмом, выступать против неравенства.

И самое главное, расставив этих самых генера-

лов на все ключевые места, ввел принцип постоянной сменяемости и омоложения кадров. Генералы, пока не захватили власть, были с его программой согласны. Но когда захватили, их собственные замыслы стали меняться. Они хотели на своих местах сидеть вечно. А Гениалиссимус этого еще не понял и требовал от них работы, дисциплины, отчетов перед народом. А потом решил ввести еще и принцип равенства: от каждого по способности, всем — поровну.

— Ах вот оно что! — сказал я, сразу все уловив. — И его окружение не могло этого перенести?

— Ну вот! — Эдик почему-то вдруг разозлился и хлопнул себя по колену. — Я не понимаю, почему ты считаешь себя писателем, если ты мыслишь так примитивно. То, что привилегированные никогда не хотят отказываться от своих привилегий, это каждому дураку ясно. Для этого вовсе не надо проникать глубоко в человеческую психологию. На самом деле не только окружение Гениалиссимуса, а все общество в целом было раздражено его нововведениями. Дело в том, что принцип неравенства создает почву для самодовольства во всех слоях. Верхние довольны тем, что они получают больше средних, средние тем, что получают больше нижних...

— А чем же довольны нижние? — спросил я.

— Ты разве не встречал людей, которые упиваются тем, что они находятся в самом низу? Они всегда могут оправдывать свое неудачничество несправедливым устройством общества, своей исключительной честностью, скромностью и вообще необыкновенностью. Короче говоря, Гениалиссимус посягнул на святая святых общества. Занимая

недоступное положение, он сильно продвинулся в своих начинаниях, но вызывал все большее и большее недовольство. Особенно, конечно, в среде бывших рассерженных генералов. И самым рассерженным из них был его ближайший друг — заместитель председателя Верховного Пятиугольника и председатель Редакционной комиссии.

— Горизонт Тимофеевич? — спросил я.

— Именно он, — кивнул Эдик. — Он, конечно, не смог свергнуть Гениалиссимуса, потому что тот уже стал символом, объектом всеобщего поклонения, священной коровой, но было найдено более хитрое решение. Однажды, когда Гениалиссимус отправился с очередной инспекцией в космос, они решили его оттуда не возвращать. Пусть он там летает, мы будем на него молиться, ставить ему памятники, награждать его орденами, слать ему всякие приветствия и рапорты, а здесь, на Земле, будем распоряжаться по-своему.

— Стоп! — остановил я его. — Ты мне сказки не рассказывай. Никакого Гениалиссимуса на самом деле не существует, потому что я лично его просто выдумал. Понимаешь, просто выдумал.

— Возможно, — пожал плечами профессор. — Но это ничего не меняет, потому что вся существующая реальность есть плод чьей-то выдумки. Выдумка рождается из ничего, а затем воплощается в жизнь и проявляет стремление к саморазвитию. Но если уж ты все это выдумал, то твой сюжет самое время поправить. Сим твой должен исчезнуть. Навсегда. Аннигилируй его любым способом. А потом можно аннигилировать и Горизонта. А Гениалиссимуса надо спустить на Землю. Он нам с тобой очень нужен.

— Нам с тобой? А какие у нас с тобой могут быть общие интересы?

— Сейчас объясню. Видишь ли, здесь Верховный Пятиугольник и Редакционная комиссия состоят из кретинов и маразматиков, которым я не могу доверить мое изобретение. Но если ты спустишь Гениалиссимуса, мы втроем сможем употребить эликсир самым действенным способом. С его помощью мы овладеем миром и установим на Земле новый порядок.

— Не понимаю, — сказал я.

— Сейчас объясню. Дело в том, что многие люди нарушают законы и установленные правила поведения, потому что каждый из них думает, что он, собственно говоря, не так уж много теряет. Такой человек думает: что бы я ни сделал, что бы со мной ни сделали, я все равно умру. Сознание неизбежности смерти делает некоторых людей бесстрашными и даже отчаянными. А с эликсиром все будет иначе. По существу, мы даже можем отменить многие наказания, включая тюрьму и смертную казнь. Зачем? Мы просто будем распределять эликсир строго в соответствии с поведением. Ведешь себя хорошо — получи месячную порцию. Следующий месяц будешь вести себя хорошо, еще получишь. А вот с теми, кто будет проявлять непослушание, тех мы будем эликсира лишать. Некоторых на время, некоторых навсегда. И вот, ты себе представляешь, все люди, большинство тех, которые вели и ведут себя хорошо, ходят молодые, крепкие, краснощекие. А те, которые отказались следовать примеру большинства, стареют, болеют, теряют волосы и зубы...

— Но это же ужасно! — вскричал я. — Это же хуже смертной казни! Это даже хуже того, что ты сделал с тем несчастным террористом. Кстати, насчет террориста... Слушай, ты не мог бы потратить немного этого своего эликсира и смазать ему раны, чтоб затянулись?

Профессор посмотрел на меня недоуменно.

— Как это, чтоб затянулись? Он мне как раз и нужен именно с этими ранами. Надо, чтобы все видели, как он страдал и что выдержал. И вообще я не понимаю, как ты можешь ко мне обращаться с подобными просьбами. Тебя разве в прошлом не отучили от абстрактного гуманизма?

Я смутился. Конечно, меня отучали и иногда даже очень сильно. И, говоря фигурально, сердце мое сильно, в общем-то, зачерствело. Но когда я напьюсь, мне становится почему-то всех жалко. Даже каких-нибудь змей, скорпионов и террористов. Даже самых отвратительных тварей жалко, и все, и ничего не могу с собою поделать.

— Ну и дурак, — сказал Эдик. — Жалость есть глупое и бесполезное чувство. И жалельщики — это самые вредные люди. Они всегда мешали всему самому передовому. Мы им, кстати, тоже никакого эликсира давать не будем.

— Ага! — поймал я его на слове. — Значит, и меня тоже ждет такая же участь. Я тебе вычеркну Симыча, а ты меня лишишь эликсира и будешь смотреть, как я старею, седею, теряю зубы...

— Ну что ты! — решительно возразил Эдик. — Зачем же ты так обо мне думаешь? Ты будешь жить вечно, но я тебя сделаю бесчувственным. Я знаю, как это делать. Одна маленькая операция, и ты станешь как истукан. На твоих глазах можно будет

кого угодно резать на куски. Пусть он будет корчиться в муках, плакать и стенать, твоей души это никак не затронет. Ты будешь спокойно поглощать пищу, пить вино, наслаждаться светом солнца, ароматом цветов и женскими ласками.

— Ну как же, — спросил я, — неужели, видя, что кого-то бьют, я не буду страдать вместе с ним?

— Пусть страдает только тот, кого бьют, — спокойно ответил Эдик. — Зачем же страдать кому-то еще?

Я бы соврал, сказав, что обещание Эдика меня не смутило. Это чувство жалости или сострадания, или черт его знает, как его называть, мне давно надоело. Оно мне портило всю мою жизнь, мешало моей карьере и лишало меня аппетита. Зачем оно мне нужно, если оно не приносит мне ничего, кроме вреда?

Я обещал профессору подумать над его предложением. То есть мне так кажется, что я обещал, хотя на самом деле я теперь уже даже не уверен, что такой разговор состоялся на самом деле, а не приснился мне и не прибредился. А если этот разговор, как и все остальное, я просто вообразил, то почему же силой воображения я не могу закончить свои приключения и вернуться к себе в Штокдорф?

Я даже попробовал это сделать. Закрыл глаза, напряг все свое воображение, по-моему, даже впал в какое-то такое трансцендентальное состояние. А если этот разговор, как и все остальное, я вижу: нет, я не в Штокдорфе. Но и не у профессора, а в своем гостиничном номере. Искрины нет. А возле кровати валяются листки текста, выдранного из книги. Я подобрал их и стал читать. И текст мне

показался знакомым, как будто я его читал уже раньше, а может быть, даже писал.

На полях, между прочим, я увидел много пометок, сделанных разноцветными карандашами. Пометки были в основном негативного свойства и довольно однообразны. Где-то было написано: «Нехорошо!», или: «Ну это уж слишком!!!» (так прямо там три восклицательных знака и было). Я стал эти листочки просматривать, зачитался и стал думать: может, где-то чего-то и слишком, но чего уж тут нехорошего? Наоборот, очень даже неплохо!

УНЫЛАЯ ПОРА

Степанида прожила в Отрадном больше двадцати лет. Все эти годы она аккуратно записывала свои наблюдения над жизнью в имении, называя хозяина имения или Батюшка, или просто Он с большой буквы. Но записи со временем становятся короче, однообразнее и унылее. Иногда даже прорываются жалобы, что ее лучшие годы потрачены зря, и намеки на то, что хотелось бы когда-то возвратиться домой.

Одно сообщение и вовсе лаконично: «Ничего нового, кроме того, что мы все стареем».

Все эти годы изо дня в день Батюшка неуклонно следует раз заведенному распорядку: подъем, молитва, пробежка вокруг озера, завтрак, работа, выездка на Глаголе, а затем опять работа, работа с короткими перерывами на обед и отдых, и только к вечеру, как всегда, заучивание новых слов из Даля и перед самым сном «Хорошо темперированный клавир».

И никаких развлечений. Гляделку Он сам не смотрит и не любит, когда в нее смотрят другие. Степанида жалуется, что даже еженедельную серию «Даллас» они с Томом смотрят тайком, приглушив звук до предела.

Был только один (впрочем, довольно долгий) период оживления и надежд в Отрадном. Это когда московские вожди начали кочуриться один за другим. В этот период Он сам вечерами выходил к гляделке, с удовольствием смотрел похороны, внимательно слушал все сообщения и комментарии по поводу кремлевских перемен и интриг, иногда толкая локтем в бок Зильберовича:

— О чем они говорят?

Сам Он в местном языке был не силен.

В эти дни Он оживал, меньше тратил времени на ваяние глыб, больше внимания уделял выездке Глагола, часто шутил, и даже Его сексуальная активность в эти дни возрастала.

Но все кончалось одним и тем же. Закопав одного старика, заглотчики ставили на его место другого, еще старее, и все шло своим чередом.

Последний всплеск надежды был у Батюшки, когда на смену немощным старикам пришел наконец вождь молодой и здоровый с двумя высшими образованиями. Комментаторы по гляделке наперебой нового восхваляли, что умный и остроумный, костюмы заказывает только в фирме «Диор», читает в подлиннике Вольтера и тайком в церковь ходит. Этому-то вождю направил Батюшка секретно послание с указанием коммунистическую партию распустить и восстановить в России традиционную для нее монархическую форму правления.

Ответа он не получил, и вскоре стало ясно, что

журналисты нового вождя сильно перехвалили. Костюмы от Диора он носит, но в церковь ходит навряд ли, а в подлиннике читает исключительно Ленина.

Убедившись в этом, велел Батюшка выкинуть гляделку в мусор, перестал даже спрашивать, что там, в Москве, деется, и вернулся к неизбывному своему труду.

С этого периода замечает Степанида в настроениях Батюшки перелом. Он и дальше громоздил свои глыбы, но все с большим трудом и с меньшим желанием. Да и память стала слабеть, и с заучиванием пословиц дело шло все хуже и туже: шесть новых пословиц выучит, восемь старых забудет. Иногда к случаю хочется какую-нибудь пословицу ввернуть, наморщит лоб, пальцами щелкает, ан нет, не припоминается. Хорошо еще, если есть Зильберович поблизости, а без Зильберовича беда, да и только.

На коня Батюшка взбирался все реже, а потом эти репетиции вовсе сошли на нет, и совсем скучно стало в Отрадном.

Мне было больно и грустно читать донесения Степаниды, что Батюшка, теряя веру в свое предназначение, стал попивать (все чаще выгребала она из Его кабинета бутылки из-под виски и содовой).

И вдруг такое письмо.

ПРОПАЖА

«Катюшка, родненькая!

Пишу тебе в ужасном смятении. У нас происходит черт-те чего. Сегодня утром я проснулась чуть

позже обыкновенного и смотрю, Тома со мной уже нет. Я подумала — ушел на конюшню. Ну ладно. Встала, прибралась, пошла клинить к Нему. Тем более что время было, когда Он бегает. Гляжу: в спальне все застелено, как будто и не ложились, а кабинет тоже убран. На столах ни одной бумажки, не считая какого-то медицинского журнала. До завтрака времени было еще много, я пошла на конюшню, спросить у Тома, не знает ли он, не случилось ли чего. Но в конюшне Тома не было. Я бы не удивилась, но там не было не только Тома, но и Глагола. Пошла искать еврейчика, у него дверь заперта, а во дворе его тоже не видно. Ну я все еще ничего такого не думала, думала, может, они все вместе поехали, допустим, к ветеринару. Хотя все было как-то чудно, поскольку ветеринар южели[1] к нам приезжает сам, а если надо, то Том с еврейчиком сами могли управиться. Он такими делами не занимается.

Но я все равно ничего такого не подумала, а подумала только, когда пришла на брекфаст[2]. Когда я туда пришла, там уже сидят Жанета Григорьевна с мамашей, и обое заплаканные. Я спрашиваю: чего случилось? Говорят, ничего. Спрашиваю: где же Батюшка? Говорят, его больше нет и не будет. Умер, что ли? Смотрю, Клеопатра Казимировна как-то так дергается, отводит глаза в сторону и ничего не говорит, а Жанета Григорьевна говорит: умер. Я спросила про Тома и про еврейчика — куды они делись? Может, в морг Его повезли? На ло-

---

[1] Usually — обычно (*англ.*).

[2] Breakfast — завтрак (*англ.*).

шади? Клеопатра Казимировна обратно молчит, а Жанета Григорьевна говорит: «Тома и Леопольда Григорьевича тоже больше нету». — «Тоже, спрашиваю, умерли?» — «Тоже, говорит, умерли».

Ты себе представляешь, как я на такие слова должна реагировать и что говорить? Спрашиваю, где же находятся ихние трупы? Ничего, говорит, не спрашивай, не твое дело. Я говорю, как же это не мое дело. Это где ваш труп находится, не мое дело, а где мой труп находится, моего Тома, это очень даже мое дело. Они ничего не отвечают, а я тоже не знаю, чего делать, то ли полицию вызывать, то ли не стоит. Если, Катюшка, это твоих рук дело, то надо было меня поставить в известность, поскольку я совсем не знаю, как быть. Жду дальнейших инструкций...»

Последняя фраза выдает Степаниду с головой, она могла быть написана только в состоянии крайней спешки и волнения.

Видимо, ожидаемые инструкции Степанида получила, потому что в следующем письме она, уже и вовсе плохо подделываясь под простонародный стиль, сообщает, что последние дни перед исчезновением Батюшка ходил очень задумчивый. Много раз вызывал к себе еврейчика и Тома и, запершись в своем кабинете, подолгу с ними беседовал. Том тоже эти дни ходил сам не свой, но на вопросы Степаниды отвечал что-то невразумительное (хотя, пишет она в скобках, уж мне-то должен был все сказать). И Зильберович вел себя загадочно, но был весел.

Однажды, за несколько дней до исчезновения, Степанида, заметив, что у Батюшки свет горит необычно поздно, подкралась к его открытому окну и

слышала, что он говорил по-русски с каким-то человеком, которого он называл «мистер Ривкин». Она слышала только часть разговора, который показался ей в высшей степени странным, хотя только потом она догадалась, что имелось в виду.

— Я не понимаю, в чем закавыка, — говорил будто бы Сим Симыч с необычайной для него возбужденностью. — Масса лошади превышает человеческую, но надо же понимать и то, что лошадь все-таки находится на более примитивной стадии развития и организм ее гораздо проще нашего...

Стеша стала догадываться о предмете разговора, только когда, уже после исчезновения Батюшки, нашла на его столе ксерокопию статьи из научно-популярного журнала «Медикал ревью». Многие строки статьи были подчеркнуты, и на полях имелись пометки, сделанные Батюшкиной рукой. В статье сообщалось об опытах гарвардского профессора доктора Доналда Ривкина по охлаждению организмов высших млекопитающих. Там говорилось, что, как показали эти опыты, уже сейчас существует достаточно надежная методика охлаждения организмов, которые в состоянии анабиоза могут находиться сколько угодно времени (практически вечно). Говорилось и о первых опытах не только на обезьянах, но и на живых людях, которые, будучи безнадежно больны (обычно раком), согласились подвергнуться замораживанию в надежде дождаться в замороженном виде действенных средств от своей болезни.

Тут же была еще одна копия. Но не статьи, а телефонного счета за международный разговор, который Степанида подслушала. Этот разговор продолжался четыре с половиной часа, стоил безум-

ных денег и, учитывая то, что Батюшка деньгами зря не сорил, был, вероятно, для него очень важен.

На этом, как сказано в книге, сообщения Степаниды прерываются. Приложенная к ним справка сухо сообщает, что, выполнив боевое задание, Герой Советского Союза майор КГБ Степанида Макаровна Зуева-Джонсон вернулась на Родину, но по дороге из аэропорта в Москву погибла в автомобильной аварии.

Дело на этом, однако, не кончилось. Я читал сообщения но крайней мере десятка агентов, которым было поручено выяснить, что же все-таки произошло с Карнаваловым и куда он делся. Некоторые агенты честно сообщали, что выяснить ничего не удалось. Другие передавали какие-то нелепые слухи. И только от одного пришла наконец вразумительная информация о том, что в клинике профессора Ривкина состоялся недавно очень громоздкий и сложный эксперимент по одновременному охлаждению трех человеческих организмов и одной лошади.

И дальше уже совсем что-то невообразимое: «С. С. Карнавалов, два его телохранителя и конь Глагол в состоянии анабиоза доставлены в Женеву и помещены на неограниченное хранение в один из сейфов Швейцарского банка».

— И вот там, в сейфе, — сказал мне при следующей встрече Дзержин Гаврилович, — он лежит по сей день и ждет своего часа. Он ждет, когда коммунистическая власть рухнет и он, размороженный, въедет сюда на белом коне.

— Да, — сказал я пессимистически. — Это такой человек, что от него можно ожидать чего угодно. Но я уверен, что славные наши коммунистиче-

ские разведчики совместно, конечно, со славными агентами ЦРУ уже выяснили, в каком именно сейфе хранится этот самозванец.

— Ну что ты! — не уловив моего намека, горько усмехнулся Дзержин Гаврилович. — Если б мы знали, где он, мы бы в твоей помощи не нуждались.

ТВОРЧЕСКИЙ ПЯТИУГОЛЬНИК

— Внеочередное заседание творческого Пятиугольника объявляю открытым, — будничным голосом сказал Смерчев и вопросительно посмотрел на сидевшего рядом с ним Берия Ильича.

Тот, положив подбородок на кулаки, смотрел куда-то мимо моего левого уха, своим видом показывая, что он здесь присутствует как посторонний и вмешиваться в работу Пятиугольника вовсе не собирается.

— Заседание наше — сугубо секретное, — продолжил Смерчев. — Никаких записей никому, кроме стенографистки, вести нельзя. — При этом он многозначительно посмотрел на меня, а я показал ему свои пустые руки и похлопал себя по груди, показывая, что у меня того, чем и на чем пишут, нет ни в руках, ни на столе, ни за пазухой. — Членам Пятиугольника это известно, а кому неизвестно, — Смерчев опять посмотрел на меня, — предупреждаю, что проблемы, обсуждаемые Пятиугольником, никакому разглашению вне этих стен не подлежат.

— Вместе со мной и маршалом, — заметил я, — у вас получается не пяти-, а семиугольник.

Мне мое замечание показалось остроумным, и

я сам засмеялся. Члены Пятиугольника при этих моих словах напряженно переглянулись. Маршал по-прежнему демонстрировал невозмутимость, а Коммуний Иванович, быстро глянув на маршала, изобразил что-то вроде улыбки, дающей понять, что мое игривое настроение неуместно и серьезности данного момента не соответствует.

Я смутился, съежился и исподволь стал рассматривать членов Пятиугольника. Они располагались так: Смерчев сидел за своим столом справа от маршала. К торцу того же стола пристроилась Искра с карандашом и блокнотом (именно она вела стенограмму). Иногда я пытался встретиться с ней взглядом, но она держалась отчужденно и в мою сторону не смотрела. Остальные члены Пятиугольника: Пропаганда Парамоновна, Дзержин Гаврилович и отец Звездоний — расположились за столом для совещаний. Я сидел через несколько стульев от Звездония, ближе к другому концу стола.

— Я думаю, — продолжал Смерчев, — мы будем вести наше заседание без лишних формальностей, по существу. Должен сразу заметить, что у нас с нашим Классиком отношения складываются не сразу, приходится преодолевать некоторые трудности. Я лично объясняю это наше взаимонепонимание тем, что мы воспитывались и росли в разных социальных условиях. Мы этот фактор учитываем и проявляем много терпения и гуманизма. Мы встретили нашего гостя очень приветливо, поселили его в лучшей гостинице, ввели в категорию повышенных потребностей и даже переименовали в его честь одну из главных улиц нашего города, хотя он этого еще никак не заслужил. Мы собирались очень торжественно и всенародно отметить его сто-

летие. Руководство КПГБ, Верховный Пятиугольник и Редакционная комиссия при личном участии Гениалиссимуса приняли исключительное по своей смелости решение: несмотря на временный дефицит бумаги и на то, что у нас вообще не принято печатать книги, не имеющие прямого отношения к Гениалиссимусиане, несмотря на все это, мы намеревались опубликовать произведение нашего гостя, но просили его внести некоторые сугубо необходимые исправления, исключить те места, без которых можно было бы легко обойтись. Для этой небольшой работы ему были предоставлены все необходимые материалы, с которыми он ознакомился. Не так ли? — Смерчев посмотрел на меня.

— Если вы имеете в виду главы из приписываемого мне романа, — сказал я, — то с ними я, да, ознакомился.

— Встать нужно, когда с тобой генерал разговаривает, — прошипел вдруг Звездоний.

Я посмотрел на Звездония, а потом на Смерчева. Тот отвел глаза, но ничего не сказал. И я понял, что он со Звездонием согласен, но настаивать не будет, ну а я вставать, конечно, не собираюсь, я им не мальчик.

— Ну вы теперь все знаете, — сказал Смерчев, — Сим Карнавалов не умер, как вы предполагали вначале, он жив, хранится в Швейцарском банке и ждет своего часа.

— Ждет, но не дождется, — заметил Звездоний, и все члены Пятиугольника засмеялись весело, но напряженно.

— Да, — уверенно подтвердил Коммуний Иванович. — Он своего часа не дождется, если, конеч-

но, наш гость все-таки подумает и пойдет нам навстречу.

— У меня есть вопрос, — сказал я.

— Пожалуйста, — разрешил Смерчев.

— Скажите... — Я посмотрел на Звездония и как-то машинально встал. — Вот то, что я там прочел, в этом романе, подтверждается какими-нибудь независимыми документами?

— Разумеется, подтверждается, — сказал Дзержин Гаврилович и, раскрыв лежавшую перед ним зеленую папку, стал перебирать какие-то бумажки. — Это подтверждается донесениями майора Степаниды Зуевой-Джонсон, информацией нашего разведчика Тома Джонсона и счетом за телефонный разговор, состоявшийся между Карнаваловым и профессором Доналдом Ривкиным.

— Слушайте, ну что это за глупости! — сказал я, занервничав. — Ведь вся эта чепуха, на которую вы ссылаетесь, все эти донесения, информации, телефонные счета, ведь вы это все опять-таки взяли из того же романа. Но это же роман, художественное сочинение, иначе говоря, это же просто выдумка.

— Довольно злостная выдумка, — заметила молчавшая до сих пор Пропаганда Парамоновна и посмотрела на маршала.

— Вы говорите, выдумка, — сказал Смерчев, — а вот благодаря этой вашей, так сказать, выдумке в нашей республике симиты ведут себя все более вызывающе. Не далее как вчера, например, неизвестными злоумышленниками прямо под памятником Научных Открытий Гениалиссимуса была наложена огромная куча вторичного продукта и к ней

была приложена записка: «Наш подарок Гениалиссимусу».

— О Гена, какое кощунство! — воскликнул отец Звездоний и, подняв глаза к портрету Гениалиссимуса, истово перезвездился. Другие сделали то же самое, и я последовал их примеру.

— И по размеру кучи, — продолжал Смерчев, — ясно, что это действовал не какой-нибудь одиночка, а целая организация. И, само собой, записка была подписана известным словом из трех букв. А позавчера была обезврежена группа стиляг. Они собирались на частных квартирах в длинных брюках и юбках и танцевали враждебные танцы. Будучи арестованы, они, конечно, сразу стали юлить, отпираться и утверждать, что длина брюк политического характера не имеет. Но при этом оказалось, что у каждого в Знаке принадлежности запечатан маленький портрет той личности, которой они поклоняются.

Услышав это, я невольно взглянул на Искру, но она продолжала прилежно писать, не проявляя никаких эмоций.

— Ну ладно, — сказал Смерчев, — не будем затягивать наш разговор. Я только хотел бы сказать нашему гостю (я заметил, что он избегает именовать меня Классиком), мы очень хорошо понимаем, что исправлять уже написанную книгу и делать лишнюю работу не хочется. Но это очень нужно, и вот мы все... не только я лично, но и другие члены Творческого Пятиугольника очень вас просим: вычеркните вы этого, который там у вас ездит на белом коне. Это будет лучше и для вас, и для нас. Ну что вы так за него уцепились? Чем он вам так уж дорог?

О Гена, ну что мне с ними делать?

Я опять поднялся и стал нервно ходить по комнате.

— Господа комсоры, — начал я, стараясь быть как можно более убедительным, — поверьте мне, я ничего плохого против вас не замышляю. Я хотел бы сделать все, как вы хотите. Вчера, перечитывая некоторые страницы романа, я уже взял ручку и хотел, искренне хотел Сим Симыча вычеркнуть...

— И что же вам помешало? — насмешливо поинтересовалась Пропаганда Парамоновна.

— Натура помешала, — сказал я. — Вот, понимаете, вижу слово «Сим», нацеливаюсь на него, а рука просто не поднимается. И кроме того, так же просто он не вычеркивается. Если вычеркнуть его, значит, надо вычеркнуть и Зильберовича...

— Очень хорошо, — вмешался Звездоний. — Одним симитом будет меньше.

— Да не одним, — возразил я. — Вычеркнуть Зильберовича, тогда и Жанета там ни к чему. А за Жанетой надо вычеркивать и Клеопатру Казимировну. И Степаниду, и Тома, и лошадь, и доктора Ривкина.

— Ну и вычеркните их всех, — закричал Смерчев.

— Но вы же понимаете, что тогда никакого романа не получается. Получается какая-то чепуха. И вообще, вы меня просто не понимаете. Да если бы я умел так корежить свои романы, мне бы к вам и ездить незачем было. Я бы еще тогда, в социалистические времена, при культистах, волюнтаристах, коррупционистах и реформистах, сделал бы знаете какую карьеру! Я бы уже тогда был секретарем Союза писателей. Героем труда, депутатом и лау-

реатом. И еще б гонорар получал мешками. Но я тогда этого не умел и сейчас не умею.

В кабинете наступило тяжелое молчание. Участники заседания переглядывались, а Коммуний Иванович расстегнул и опять застегнул верхнюю пуговицу гимнастерки.

Вдруг Пропаганда Парамоновна вскочила на свои короткие ножки, подкатилась ко мне сзади, обняла меня и своими большими грудями прижалась к моим лопаткам.

— Ну, пожалуйста, ну, миленький, — забормотала она сладеньким голоском, — ну что ж ты такой упрямый, ну что ты противишься, прямо как осел какой-то. Ну, пожалуйста, помоги нам, я тебя прошу. Как женщина тебя умоляю. — Она вдруг опустилась на колени, обхватила мои ноги руками. — Ну, миленький, ну, хорошенький...

Я разволновался, вскочил на ноги, уперся руками в ее колючее темя и стал отталкивать.

— Да что вы! — сказал я. — Да что это вы такое устраиваете? Да как вам не стыдно!

— Позорник! — вдруг услышал я голос Звездония. — Он еще говорит о стыде! Негодяй! Ты посмотри, кто перед тобой стоит на коленях! Женщина! Мать! Генерал! А ты... Да я тебе сейчас всю морду в кровь разорву!

С этими словами он подскочил ко мне, стукнул ногою в пол и ринулся на меня с кулаками. Хорошо, я успел как раз вырваться из объятий Пропаганды, схватил Звездония за бороденку, потянул вниз и расквасил его физиономию о свое колено.

Умываясь красной юшкой, он отскочил с диким ревом и стал у стены, прижавшись к ней спи-

ной. Он закрыл лицо руками, но кровь текла сквозь пальцы, капала ему на рясу и на пол.

Участники заседания изумленно смотрели то на меня, то на Звездония. Первый раз за все время я перехватил взгляд Искрины и понял, что она в ужасе.

— Да это же настоящий террор! — вдруг зловеще произнесла Пропаганда Парамоновна.

И в кабинете наступило молчание, от которого мне стало не по себе.

Маршал Взрослый вдруг встал и вышел.

И я заметил, что сразу все присутствующие не то чтоб облегченно вздохнули, но расслабились. Дзержин вскочил и подбежал к Звездонию.

— Ну что тут у тебя? — спросил он довольно грубо. — Ну, ничего страшного. Задери голову вверх, и кровь остановится. Все в порядке, — сообщил Дзержин Смерчеву.

— Да как это все в порядке? — возмутилась Пропаганда Парамоновна. — Какой же это порядок, когда совершается бандитское нападение.

— Помолчи! — оборвал ее Дзержин. — Вот что, — сказал он и заходил кругами по комнате. — Наша дискуссия с Классиком зашла слишком далеко. Мы требуем от него чего-то, он нас не понимает, а почему?

— А потому что враг, поэтому и не понимает, — сказала Пропаганда.

— Да, вероятно, поэтому, — печально улыбнулся Смерчев.

— Ну зачем же так! — хлопнул себя по ляжке Дзержин. — Зачем сразу уж враг? Зачем кидаться такими словами? Я лично, как работник БЕЗО, привык искать в людях хорошее, самое лучшее, что

в них есть. Мы должны нашего Классика попытаться понять. Дело в том, что я тут просматривал всякие старые дела предварительных писателей и обнаружил, что среди них было много, в общем-то, ненормальных и с ними надо обращаться тонко. Потому что иначе они упираются. Как вот сейчас он. А все дело в том, что он человек творческий, ему нельзя просто приказывать сделать то-то и то-то, а мы должны предложить ему широкий выбор, чтобы размах был для творчества. Ну, допустим: не хочет он указать местонахождение сейфа. Ладно, не надо. Не хочет вычеркнуть своего героя, это можно понять. Но послушай, дорогуша, — обратился он уже лично ко мне. — Ты можешь сам что-нибудь придумать. Допустим, не хочешь вычеркивать своего этого, но можно сделать, что он умер, и все. И на этом поставить точку. Или, допустим, его не заморозили, а засолили. А?

Дзержин посмотрел на меня, и другие ему последовали. Даже Звездоний, боясь опустить голову, как-то ее слегка развернул и посмотрел на меня по-птичьи.

— А что? — сказал Смерчев. — По-моему, идея хорошая. Продуктивная.

— Да глупости это, — возразил я устало. — Кто это станет засаливать человека? Он же не огурец и не свинина.

— Ну это я просто так, — сказал Дзержин. — Это я сказал как бы в порядке бреда. Ну, можно чего-нибудь другое придумать. Допустим, его заморозили, в сейф положили, а там дырка, он разморозился и протух. Короче говоря, всякие варианты могут быть. Тебе лучше видно, ты ж художник.

В это время Искра глянула на меня, и я понял, что она категорически против таких поправок. Может быть, если б не этот ее взгляд, я бы и уступил. А так...

— Нет, — сказал я, чувствуя, что минута слабости прошла. — Нет, такого не будет. И вообще, раз вы так со мной разговариваете, я с вами никаких дел больше иметь не хочу. Не надо мне ни юбилеев ваших, ни почестей. Я вот только дождусь своего космоплана и уеду к себе обратно в Штокдорф.

— Без визы? — зажимая нос, с любопытством прогнусавил Звездоний.

— Без какой еще визы? — спросил я настороженно.

— Ну как же, — улыбнулся Смерчев. — У нас же существуют определенные правила пересечения границ. У нас без визы нельзя. У нас даже для того, чтобы выехать в Первое Кольцо, куда-нибудь, понимаете, допустим, в Калужскую область, и то виза нужна.

— Так это, — махнул я рукой, — касается ваших комунян. А я не только не комунянин, я даже советского гражданства вот уже шестьдесят лет с лишним лишен. И вообще я не ваш.

При этих моих словах все члены Пятиугольника как-то странно переглянулись, а Коммуний Иванович улыбнулся, широко развел руки и, называя меня моим человеческим именем, удовлетворенно сказал:

— Нет, Виталий Никитич, вы наш. Ведь мы вас реабилитировали.

ЧАСТЬ VI

ГОСТИНИЦА «СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ»

— Куда ты меня привез? — спросил я Васю.

— Куда приказали, — отвечал он. — Вы теперь будете жить здесь. — Он указал мне на длинное приземистое здание и, пока я разглядывал это здание, включил скорость и укатил, обдав меня клубами пара.

Когда пар рассеялся, я при лунном свете разглядел, что здание представляло собой что-то вроде барака, все окна которого были совершенно темны. Над дверью посреди барака тускло отсвечивала ободранная вывеска:

ГОСТИНИЦА
«СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ»

Прямо напротив гостиницы был какой-то пустырь, справа тянулся высокий железобетонный забор с колючей проволокой наверху, из чего я заключил, что нахожусь на самой окраине Москорепа.

Постояв в некотором недоумении, я решил войти в гостиницу и толкнул дверь, которая с ужасным скрипом открылась, когда я надавил на нее плечом.

В нос сразу шибануло запахом мочи.

— И как это вы в такой вонище живете? — спросил я пожилую женщину, младшего лейтенанта. Она сидела возле тумбочки, на которой слабо светила коптилка, сделанная из консервной банки. Интересно, откуда они взяли эту банку? Я в Москорепе ни разу никаких консервов не видел.

— А вам что нужно? — спросила младший лейтенант.

Я ей сказал, что меня перевели сюда из гостиницы «Коммунистическая».

— Как фамилия?

Я думал, что, услышав мою фамилию, она тут же придет в восторг и попросит автограф, но ничего подобного не случилось. Она долго мусолила какую-то грязную книгу и водила по строчкам скрюченным пальцем. Отыскав нужное, она взяла с тумбочки связку ключей, взяла коптилку, повела меня куда-то в глубь коридора и, открыв дверь № 14, сказала:

— Вот ваша комната.

И тут же ушла.

Я пошарил по стенке в поисках выключателя, но никакого выключателя не было, как не было, впрочем, и лампочки. Но луна светила достаточно ярко, и я разглядел узкую железную кровать, стоявшую в углу у забранного решеткой окна, и покосившуюся табуретку. Кровать была покрыта суконным одеялом, поверх которого лежала подушка, набитая, как я понял, трухлявой соломой. По-моему, ничего больше в комнате не было, не считая пластмассового горшка, который я нашел в углу возле двери.

Откровенно говоря, мне все это крайне не понравилось, но я же знал, что за мое упрямство мне

придется как-то платить, и решил, ну и черт с ними, поживу и здесь. Хорошо еще, что дали отдельный номер, а не койкоместо в общей комнате, где потребители свинины вегетарианской наверняка не только храпят.

Под одеялом, разумеется, никакой простыни я не нашел.

Ну что было делать? Я выставил ботинки за дверь, а дальше раздеваться не стал и лег поверх одеяла.

Я так устал, что заснул немедленно, но вскоре проснулся оттого, что меня грызли какие-то насекомые. Несколько раз за ночь я вставал, отряхивался, опять ложился, к утру немного поспал, а когда встал, ужаснулся. По стенке ползали клопы, одеяло шевелилось от вшей, а между ними прыгали блохи. Я задрал рубашку и увидел, что все тело у меня покрыто красными точками.

— Скорей, скорей отсюда! — сказал я себе самому и выскочил в коридор. У меня, конечно, было подозрение, что ботинки мои я найду вряд ли начищенными, но их там и вовсе не оказалось.

Дежурная была уже другая, в звании старшины. Когда я ее спросил про туфли, она слегка удивилась, а потом объяснила, что за вещи, выставленные в коридор, администрация не отвечает. Этого следовало ожидать. Я спросил у нее, где тут у них кабесот, она сказала, что никаких кабесотов в гостиницах этого класса не бывает, а накопитель продукта вторичного находится у меня в номере. Она имела в виду, очевидно, горшок.

Мне, понятно, пользоваться этим сосудом не очень хотелось, но ничего не поделаешь, я вернулся в номер. Интересно, что кусок газеты метра в два с

половиной там все-таки был. Развернув этот кусок, я сразу увидел крупный заголовок: «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО».

Как я сразу догадался, речь в статье шла обо мне, хотя имя мое ни разу не было упомянуто.

Разумеется, мне и раньше приходилось читать подобную критику, но раньше я был, может быть, более толстокожий и не принимал все так близко к сердцу, но теперь прочитанное меня глубоко ранило. В статье было сказано, что некий отвратительный тип с давних времен ступил на путь критиканства и оплевательства всего, что нам дорого. Что, живя во времена развитого социализма, он не видел ничего хорошего в поступательном движении предкоммунистического общества вперед и по заданию разведок Третьего Кольца клеветнически оплевывал все, что видел. Своей, с позволения сказать, деятельностью он заслужил самого сурового наказания, но благодаря попустительству тогдашних распоясавшихся коррупционистов сумел избежать возмездия, скрывшись в Третьем Кольце, где в угоду своим заокеанским покровителям с усердием облаивал страну, которая его растила, кормила, поила, одевала и обувала. И вот он снова появился у нас. Наше общество простило отщепенцу его прежние преступления. Мы надеялись, что за шестьдесят лет пребывания в Третьем Кольце он осмотрелся, одумался, понял принципиальную разницу между коммунизмом и миром, где трудящиеся дошли до такой нищеты, что даже вторичный продукт вынуждены ввозить из-за границы. Надеясь на это, Верховный Пятиугольник принял решение о полной реабилитации отщепенца. Мы встретили его с распростертыми объятиями, но,

как говорится, сколько волка ни корми, он все в лес смотрит. Этот потерявший всякую совесть лакей международной реакции и на нашу жизнь периода зрелого коммунизма смотрел сквозь черные очки, все ему не нравилось настолько, что он не отличал прекомпита от кабесота. Наше общество, как известно, самое гуманное в мире. Но с теми, кто нарушает его законы и нормы поведения, оно поступает сурово. Заканчивалась статья призывом к комунянам перед лицом моей провокации проявить собранность, бдительность, еще теснее сплотиться вокруг партии, Верховного Пятиугольника, Редакционной комиссии и лично Гениалиссимуса и давать решительный отпор всяким враждебным вылазкам.

Да, мне было очень неприятно это читать. Мне даже противно было использовать эту газету для той цели, ради которой она издавалась. Но, не имея под рукой ничего более подходящего, я все-таки ее употребил и, очень расстроенный, вышел в коридор.

БОЙКОТ

Дежурная у тумбочки штопала нитяной чулок, натянутый на какую-то чурку. Я спросил ее, где можно умыться.

— Потребности в умыве не удовлетворяются, — сказала она вполне грубо.

— А завтракательные потребности где-нибудь удовлетворяются? — спросил я довольно ехидно.

— Прекомпит за углом, — ответила она, не подняв головы кочан.

Я вышел на улицу. Асфальт за ночь остыл, и

моим изнеженным и необутым ногам было холодно. А кроме того, попадались всякие камушки, мелкие осколки пластмассы, и идти было просто больно. Подгибая пальцы, я кое-как доковылял до прекомпита. Очередь была небольшая, человек сорок. Меня удивило, что так мало людей, но тут же я догадался, что нахожусь в Третьей Каке, где живут в основном комуняне самообеспечиваемых потребностей. Значит, эти, которые в очереди, приехали сюда из центра. А может быть, это вообще были даже не комуняне, а приезжие из Первого Кольца, потому что никто из них меня не узнавал и никто не просил автографа.

На стенке у дверей было вывешено меню. Я прочел его. Слава богу, свинины вегетарианской не было. Там значилось только два блюда: каша рисовая из пшена и чай из дубовых листьев «Дубравушка». Я подумал, что, может быть, это то, что я могу употребить без особого риска для своего желудка. Но рядом с меню висело уже знакомое мне объявление, что комуняне удовлетворяются только по предъявлении документа о сдаче продукта вторичного.

Я побежал назад в гостиницу. Но мой горшок оказался совсем пустым и даже чисто вымытым. Мне было, право, очень неловко, но все же я обратился к дежурной и, запинаясь от смущения, спросил, не знает ли она, куда делся мой продукт, оставленный в номере.

— За пропажу вещей, оставленных в номере, администрация ответственности не несет, — сказала она, не глядя на меня, и я понял, что мой вторичный продукт украла именно она.

И что же теперь получалось? Не имея вторичного продукта, я не могу получить первичный, а не получая первичный, не могу произвести вторичный. И значит, что же мне, с голоду помирать?

Тут у меня, надо сказать, мелькнула мысль, что, может быть, здешние идеологи правы: вторичный продукт первичен, а первичный вторичен. Что же мне было делать?

— Прежде всего разыскать Искру, — сказал я себе самому. — Конечно, я понимаю, она служит им, но все же она была со мной в таких близких отношениях. Может быть, она захочет мне как-то помочь.

Я спросил у дежурной разрешения позвонить.

— Телефон только для служебных потребностей, — отрезала она, не глядя.

Я опять вышел на улицу, рассчитывая позвонить из автомата, тем более что автоматы в Москорепе все совершенно бесплатны. Один автомат у входа в гостиницу не работал. У второго была сорвана дверь и перерезана трубка. В третьем, за углом, трубка имелась, но стекла были выбиты, и я не вошел, боясь пропороть ноги.

Следующий автомат был примерно через квартал, в нем были и дверь, и трубка, не было только звука.

Улицы здесь назывались как-то по-дурацки: Окраинная, Остаточная и Информационная. Движения почти не было, но шум был. На балконах блеяли овцы, хрюкали свиньи. Одну свинью где-то резали, и она визжала ужасно. По Информационной улице я дошел до станции метро Коммунистическая Конечная. Здесь было восемь автоматов. Из них семь не работали. В восьмом стояла средних

лет женщина и разговаривала. Я стал за ней, невольно прислушиваясь к разговору.

— Да что ты, Дусь, — говорила она, — да какая там жизнь! Никакой жизни нету. Чаво? Да нет, говорю, никакой жизни нету. Ну да, нет никакой. Ага, так никакой вот и нет. Да ты что! Это ж разве жизнь? Это не жизнь, а одна морока. Да кто жалуется? Никто и не жалуется. Ты ж сама спрашиваешь, что, мол, как жизнь, а я тебе, значит, так именно и отвечаю, что никакой жизни нету. Какая ж тут жизнь, если ее вовсе нету.

Я понял, что этот разговор только в самом начале, и постучал в стекло. Я думал, что женщина будет вести себя хамски, но она, увидев меня, тут же прекратила разговор и, пообещав Дусе позвонить попозже, тут же вышла из будки и нырнула в метро.

Я схватил еще теплую и влажную трубку и приложил к уху, ожидая услышать вожделенный гудок, но гудка не было.

Тут я увидел, что человек с портфелем говорит в будке через одну. Я кинулся к этой будке. Говоривший как раз при мне с кем-то попрощался и попросил передать привет Планете Семеновне.

Когда я взял только что повешенную трубку, она тоже молчала. Тогда, разозлившись, я так хватил этой трубкой по ящику автомата, что она разломилась на две половины.

Оборотившись, я вздрогнул. Передо мной стоял мордатый внубезовец. Я подумал, что сейчас придется объясняться, почему я сломал трубку, но внубезовец, не обратив на меня никакого внимания, вошел в будку, приложил одну часть трубки к другой, набрал номер и тут же заговорил.

Но когда он вышел из будки, а я схватил ту же трубку, она молчала.

Места для сомнений не оставалось. Со мной затеяна та идиотская игра, с правилами которой я достаточно близко ознакомился в своей прошлой жизни. Правда, я должен был отдать должное службе БЕЗО — за последние шестьдесят лет она кое-чему научилась. В те времена они не успевали выключать вовремя все телефоны. Сейчас успевают.

Опыт — великое дело. Обернувшись вокруг своей оси, я сразу заметил парочку, которая обнималась на лавочке под памятником «Друг детей» (Гениалиссимус с девочкой на руках). Обратил я внимание и на пожилого комсора в соломенной шляпе, который читал на стене газету, на шофера, возившегося под открытым капотом, и на молодую мамашу, прокатившую мимо меня детскую коляску. Коляска, между прочим (я успел сунуть в нее нос), была, конечно, пустая.

Ну что делать?

БОЙКОТ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Жизнь моя превратилась в сплошной кошмар. В гостинице находиться невозможно. Душно, насекомые и, кроме того, нет света, поскольку у меня, как мне сказала дежурная, нет осветительных потребностей. Да свет мне, собственно, ни для чего не нужен, обычно я им пользуюсь для чтения, но читать нечего, кроме этой мерзкой газеты, куски которой мне регулярно подкладывают, несмотря на то, что потребность в ней у меня совершенно исчез-

ла. И в каждом куске я нахожу что-нибудь, имеющее ко мне самое прямое отношение. Некоторые заголовки мне были до смешного знакомы: «Человек из прошлого», «Не в ладах со временем», «Осторожно: провокация!», «Не помнящий родства», «Иуда из Штокдорфа», «Свинья под дубом»...

Целыми днями я мотаюсь по городу без всякого смысла, только потому, что не могу находиться в гостинице. Жрать, между нами говоря, хочется настолько, что даже вегетарианская свинина снится мне иногда как самое вожделенное блюдо. Но в прекомпит без справки не пускают. Я попробовал как-то использовать старый трюк и сунуть прекомпитскому вертухаю кусок «Правды», но (видимо, «Зюддойче Цайтунг» имеет больше сходства с необходимой справкой) моя нехитрая уловка была тут же разоблачена, и я чуть не схлопотал по шее. А другого вертухая я пытался обмануть еще более простым способом. Выстояв очередь и будучи уже совсем близко к дверям, я сказал ему: «Дядя, смотри, птичка летит» — и тут же сунулся в дверь, но дядя со словами «Я тебе покажу птичку!» схватил меня за шиворот. Я убежал от него, пожертвовав воротником рубахи.

Вот говорят, материя никуда не исчезает. А я вижу, что материя, из которой состою я, очень даже исчезает. Проходя мимо какого-то окна, я глянул мимоходом на свое отражение и даже испугался. Я выглядел как идеальное пособие для анатомических занятий.

Интересно, что комуняне меня совершенно не узнают. Еще недавно они все подряд со мной здоровались и кидались ко мне за автографами. А те-

перь они меня просто не видят, не замечают, словно я уже и вовсе стал нематериален. А когда я обращаюсь к кому-то из них и спрашиваю, как куда-то пройти или который час, они проходят мимо, словно не слышат.

Только иногда мне удается вступить в контакт с охранителями каких-нибудь входов. Так, сначала, когда я еще надеялся разыскать Искру и пытался проникнуть в гостиницу «Коммунистическую», стражник не только не пустил меня, но даже толкнул очень грубо. Я мог бы подумать, что он не знает, кто я такой, но еще совсем недавно этот же самый человек заискивающе мне улыбался, кланялся и широко распахивал передо мною дубовые двери. Мои попытки найти Смерчева или Дзержина тоже кончились ничем. Я ездил и в Безбумлит, и в Бумлит. Но и там, и там часовые скрещивали передо мной автоматы, а один даже замахнулся прикладом. Только с одним из них мне удалось хотя бы поговорить. Я его спросил, как мне пройти в Бумлит. Он сказал: нужен пропуск. А где взять пропуск? В бюро пропусков, которое находится там внутри. А пройти внутрь можно только по пропуску. Короче говоря, старая, очень знакомая мне еще с социалистических времен сказка про белого бычка.

Из всех известных мне должностных лиц я только однажды встретил возле Безбумлита отца Звездония.

— Батюшка! — кинулся я к нему.

Он, увидев меня, весь изменился в лице, забормотал: «Свят! Свят! Свят!», отзвездился от меня, как от черта, и скрылся в дверях Безбумлита.

Остальные же комуняне и вовсе меня игнорировали. Иногда это настолько выводило меня из себя, что я готов был, чтобы меня арестовали, расстреляли, но чтобы как-то обратили внимание, что я все еще есть. Однажды я дошел до такого отчаяния, что запузырил кусок кирпича в окно внубеза. И что вы думаете? Внубезовцы высыпали на улицу, но, увидев меня, сразу отвернулись и стали собирать стекла, не обращая на меня никакого внимания. Другой раз я подошел к одному комсору на остановке паробуса и спросил, сколько времени. Он смотрел мимо меня, никак не реагируя, словно звук совершенно не колебал его барабанные перепонки.

— Милостивый государь, — повторил я настойчиво, — я к вам обращаюсь. Я вас лично спрашиваю, не будете ли вы столь любезны и не скажете ли, сколько времени, мать вашу так и так?

И что вы думаете? Опять никакой реакции.

И тут я вдруг озверел, кинулся на него, повалил его навзничь (здоровый такой бугай, он просто рухнул, как сноп, под моим натиском), придавил его коленом, схватил за глотку:

— Говори, сука, сколько времени, а то задушу! — И задушил бы (он уже хрипел), но тут толпа как-то сгруппировалась, меня моментально от него оторвали, и все дружно отхлынули, словно ничего и не было.

Мои страдания стали еще большими, когда погода начала портиться. Ночи стали холодными, а асфальт по утрам был влажен от росы. И хотя я уже привык ходить босиком, но все-таки ноги мерзли. Зато днем стало приятнее. Не жарко и не холодно. Небо все чаще стало заволакиваться облаками,

и комуняне, как я заметил, смотрели на облака с какими-то непонятными мне надеждами.

Признаваться в своей слабости всегда неудобно, но, будучи исключительно искренним человеком, я вынужден сообщить, что моя идейная стойкость не выдержала свалившихся на меня испытаний. Я всегда завидовал людям, проявлявшим преданность своим убеждениям, несмотря ни на что. Среди коммунистов бывали люди, которые оставались верны своим идеям даже после многолетнего тюремного заключения, даже когда им в задницу засаживали раскаленное железо, а глотку заливали свинцом. Юный террорист на моих глазах выдержал ужасные пытки. А я оказался таким слабаком, что уже через несколько дней голода все свои туманные идеалы, свои незрелые убеждения и любые секреты (если б я их знал!) готов был продать за чечевичную похлебку. Однако никто мне такой сделки не предлагал. Агенты Третьего Кольца так законспирировались, что их не было видно, а симиты, о которых я столько слышал, тоже ни в какие контакты со мной не вступали.

Хотя их существование как-то проявлялось. Бродя по городу и думая только о своем желудке, я тем не менее замечал, что что-то такое происходит. Люди собираются какими-то группками, о чем-то шепчутся, как-то странно между собой переглядываются. И слово «СИМ» мне попадалось все чаще и чаще. Я видел его на заборах, на асфальте и даже на зданиях официальных учреждений. Оно было написано иногда мелом, иногда углем, а на одной телефонной будке я видел это слово, написанное вторичным продуктом.

Однажды, проснувшись утром, я обнаружил слово «СИМ» у себя в номере. Оно было нацарапано чем-то острым на противоположной стене.

Я, естественно, немедленно побежал к дежурной, привел ее в номер, показал надпись и сказал, что это сделал не я.

— Разберемся, — сказала дежурная и побежала кому-то докладывать.

Что она кому доложила и какие были сделаны выводы, я так и не узнал, потому что следующей ночью случилось событие, которое затмило все, что со мной происходило до этого.

«ДАЛЛАС»

Уже вечерело, когда, измученный бессмысленными передвижениями по Москорепу, отвергнутый всеми, голодный, несчастный, со сбитыми в кровь ногами, я медленно, как больной, брел к своей проклятой гостинице. «Ну что мне делать? — думал я. — К кому обратиться, чтоб меня выпустили отсюда, если никто не хочет со мной разговаривать? Может быть, лично к Гениалиссимусу? Хотя у нас разные убеждения, но все-таки когда-то мы вместе учились, пили в Доме журналистов, встретились в Мюнхене, и, в конце концов, если, даже будучи простым генералом, он спас меня от «якутского варианта», то почему бы ему и сейчас не проявить милосердие? Неужели ему тоже так нужно, чтобы я искалечил этот идиотский роман?»

Я уже понял, что власть его над земными делами не так велика, как может показаться с первого взгляда, но все-таки, если он лично скажет: «Ос-

тавьте его в покое! Он — мой друг!» — или что-нибудь в этом духе, они, может быть, все-таки подчинятся, не посмеют ослушаться.

Но как я мог к нему обратиться? Как? Разве что только прямо? Если он оттуда все видит, за всем следит, так, может, он и за мной как-нибудь наблюдает. Вот он появится на небе, упаду на колени, протяну руки...

Я поднял голову и только сейчас заметил, что все небо сплошь затянуто плотными облаками. Пожалуй, сквозь такой покров даже Гениалиссимус разглядеть меня не сумеет. Да и я его не увижу.

— Думаете, сегодня чего-то будет? — услышал я рядом с собой молодой голос.

Удивленный, что со мной хоть кто-то заговорил, я оглянулся и увидел рядом щуплого комсора, который, слегка отвернув козырек кепки, тоже пялился в небо.

— Что будет? — спросил я его.

— Как это — что будет? — Оторвавшись от созерцания облачного покрова, комсор перевел взгляд на меня, и я немедленно узнал в нем подкомписа Охламонова из Безбумлита. К сожалению, он тоже меня узнал.

— Ах, это вы! — сказал он растерянно и вдруг повернулся и стал быстро от меня удаляться.

Я не пытался его остановить. В этом городе я привык уже ко всему.

Пока я добрел до своего жилища, уже совсем стемнело. Я прошел мимо сидевшей у коптилки дежурной, сказал ей на всякий случай «слаген», но она, как и следовало ожидать, не ответила.

Потом я сидел на своей кровати, предаваясь мыслям самого мрачного свойства. Пожалуй, это

был во всех отношениях самый темный вечер за все время моего пребывания в Москорепе. Ни одна звезда не проникала сквозь облака, и весь коммунистический город утонул в темноте, как в чернилах. Сколько ни выглядывал я в окно, других окон не видел, они не светились. Не видно было ни уличных фонарей, ни сполохов от фар городского транспорта. Только где-то в отдалении, на фронтоне официального здания, подсвеченный с обратной стороны, сиял большой портрет Гениалиссимуса и мерцало золотом его мудрое изречение:

«Вековая мечта человечества сбылась!»

Жалкие остатки этого излучения, рассеявшись по пути, проникали в мой бедный номер, делая едва различимыми отдельные предметы — изгиб железной спинки кровати, табуретку, два пустых пластмассовых крючка вешалки на стене.

Эти крючки с недавних пор стали наводить меня на мысль, которая в моей прошлой жизни никогда не приходила мне в голову, а теперь казалась почти естественной.

Мое положение я оценивал как безвыходное. Я хожу среди каких-то чуждых и непонятных мне людей, я не могу никуда пробиться, не могу ничего добиться и не представляю, как вырваться из этого капкана. А если я не могу отсюда вырваться и не смогу никогда и никому рассказать, что я здесь увидел, то какой смысл в моем здешнем существовании?

Эти крючки такие хлипкие, но для моего сильно облегченного тела их, пожалуй, будет достаточно. Мой замысел еще никак не оформился, но я уже видел самого себя, синего, тощего, жалкого, с высунутым языком и с подогнутыми ногами. Я даже

представил себе, как какой-нибудь ражий санитар или внубезовец брезгливо, двумя пальцами снимает мои останки с вешалки и швыряет на носилки. Интересно, как на это отреагирует «Правда»? Напишут в ней что-то вроде «Собаке — собачья смерть» или ничего не напишут, а сделают вид, что меня просто никогда не бывало?

Пока я так думал, комната вдруг озарилась каким-то странным всеохватывающим светом и опять погрузилась во тьму. Я даже не понял, что именно произошло. То ли действительно этот световой эффект возник от какого-то заоконного источника, то ли меня посетило некое озарение. Так или иначе, мысли мои вдруг резко переменились и пошли совсем в другом направлении.

— А в чем, собственно, дело? — спросил я себя самого. — Почему я здесь должен остаться, почему и ради чего обрекаю я себя на явную гибель и на то, что никогда не вернусь в милый моему сердцу Штокдорф и никогда не увижу свою жену и своих детей? Только потому, что моя мерзкая натура требует от меня каких-то бессмысленных подвигов, не дает вычеркнуть то, что я сам написал?

Я взглянул критически на все свое прошлое и подумал, ну что же это такое? Почему я всю жизнь цепляюсь за свои выдумки, образы и слова, обрекая себя и свою семью на ужасные неприятности? Да неужели мне все эти фантазии действительно дороже собственного благополучия и даже жизни?

— Нет! — перебил я себя. — Конечно, нет. Я же не идиот и не сумасшедший, и, сохраняя здравый смысл, я еще в состоянии понять, что моя жизнь первична, а выдумки вторичны. Выдумывать можно так, а можно иначе. И в конце концов, выдуман-

ное всегда можно вычеркнуть. Как бы мне ни было жалко Сим Симыча, но себя самого-то жальче.

И я отчетливо и даже радостно осознал, что могу и очень даже легко могу повычеркивать все, что придумал. Симыча, Жанету, Клеопатру Казимировну, Зильберовича, Степаниду, Тома да и себя самого. Не только вычеркнуть, а вырезать, выдрать, сжечь к чертовой матери. Дайте мне эту проклятую книгу, и я ее немедленно сожгу или аннигилирую всю целиком. Я даже представил себе, с какой радостью я буду рвать в клочья эти листы и швырять их в огонь...

— Рукописи не горят! — ехидно напомнил мне мой черт высказывание одного предварительного писателя.

— Сгинь! — отмахнулся я. — Если кидать их в огонь плотными пачками, они, конечно, горят плохо, но если бросать по листку, предварительно скомкав, они самым основательным образом прекрасно сгорают дотла.

Пожалуй, из всех замыслов, которые мне в жизни приходилось вынашивать, этот был самый простой, гениальный и требовавший немедленного осуществления. Больше я не мог ни секунды оставаться на месте.

Я выскочил в коридор и пошел на отдаленный мигающий свет коптилки. Мне нужно было увидеть дежурную и сказать ей, что я должен немедленно связаться со Смерчевым, Дзержином Гавриловичем, Пропагандой Парамоновной или даже Берием Ильичом. Я им скажу, и сразу все станет на свои места. Меня отвезут в Упопот, и я в первую очередь удовлетворю свои питательные потребности, а потом... Да, я сделаю все, что они хотят.

Обращаясь к дежурной, я напрягся, ожидая встретить самое враждебное отношение к моим просьбам. Но она меня удивила тем, что сама обратилась ко мне.

— Слушайте, — сказала она мне взволнованно, — вы человек ученый. Вы не скажете, где находится пустыня Ненадо?

Как-то она меня сбила с толку. Я подумал и сказал, что такой пустыни, насколько мне известно, нет нигде, а Невада находится в Америке.

— Значит, в Третьем Кольце? — уточнила она с видимым удовлетворением. — Так я и думала.

— А что там, в Третьем Кольце, случилось?

— А вы даже не знаете? — удивилась она. — Ну как же, как же. — Она оглянулась и, убедившись, что в коридоре нет никого, кроме меня и ее, зашептала: — Вы знаете, что у наших космонавтов родились близнецы — Съездий и Созвездий.

— Самым сердечным образом вас поздравляю.

— Спасибо. — Она отозвалась растерянно, не уловив горького моего сарказма. — Но поздравлять-то не с чем. Дело в том, — она опять понизила голос, — что эти подлецы вместе с доктором и детьми приземлились в этой пустыне и попросили политического убежища. Надо же, какие предатели! Их родина воспитывала, кормила их первичным продуктом вне категорий, а они туда. Ведь там же все нищие, там все питаются только вторичным продуктом. Ведь так же? Ведь вы же там были? Вы же знаете? — допрашивала она, почему-то волнуясь и явно не доверяя собственным знаниям.

По прежней своей порочной приверженности к правде я хотел рассказать ей то, что видел в Амери-

ке шестьдесят лет назад, но тут же понял, что это может быть еще одним шагом к самоубийству.

— Да что там говорить! — махнул я рукой. — Там в этой пустыне и вторичного-то продукта не найти. Разве что от каких-нибудь ящериц.

Я хотел придумать еще что-нибудь такое ужасное, но не успел.

Свет хлынул в коридор сразу из боковых окон и из открытой двери.

— Кино! Кино! — закричала дежурная и кинулась на улицу, на ходу заворачивая назад козырек своей кепки.

Ничего не понимая, я ринулся за ней, выскочил наружу и остолбенел. Все небо над головой полыхало разноцветным пламенем. На облаках, покрывавших сотни или даже тысячи гектаров неба, демонстрировался какой-то фильм. Появились ясно различимые фигуры. Две дамы в роскошных платьях пили в ресторане шампанское. Медленно проплыл длинный «Кадиллак». В кабинете, уставленном антикварной мебелью, спортивного сложения господин говорил по телефону, откинув в сторону руку с дымящейся сигарой.

Я пригляделся и ахнул: это был «Даллас», знаменитый американский фильм, тысячи серий которого еженедельно в мои времена показывали в самой Америке и во всех странах Европы.

«Кофе без молока все равно что вторник без «Далласа», — припомнилась мне реклама на станции нашей штокдорфской электрички.

Фильм был немой, но русские титры расплывались по облакам.

Опять появилась та же пара женщин. Они уже

переоделись и сидели не в ресторане, а в игорном доме перед рулеткой.

— Какая роскошь! — завистливо ахнула дежурная и посмотрела на меня со странной улыбкой.

По улице мимо нас текла толпа народу: мужчины, женщины, дети и старики. Многие из них тащили в руках подстилки, подушки и одеяла. Это было похоже на массовую внезапную эвакуацию. Я покинул дежурную, влился в общий поток и вскоре вместе со всеми оказался на обширном пустыре.

Там народу уже сидело видимо-невидимо. Тысячи, а может быть, даже десятки тысяч. Они сидели тихо, некоторые поодиночке, другие группами. Все таращились в небо, и все молчали.

Какой-то молчаливый заговор.

Пробираясь между сидящими и лежащими, я нечаянно наступил кому-то па ногу. Владелец ноги вскрикнул и начал было ругаться, но на него тут же зашикали, и он замолчал.

Я нашел свободное место, сел прямо в пыль среди выгоревшей травы и тоже стал смотреть. Хотя отдельные серии этого фильма я видел еще шестьдесят лет назад, я ни одной из них не запомнил и не понял. Я не понимал их по-английски, не понимал по-немецки. И сейчас по-русски тоже ничего не мог понять. По-моему, все содержание сводилось к тому, что герои постоянно переодевались, пили шампанское, ездили на «Кадиллаках» и говорили о каких-то миллионах. Как и полагается, фильм время от времени прерывался рекламой зубной пасты, стирального порошка и японских электромобилей. Впрочем, меня занимали не со-

держание фильма и не реклама, а грандиозность зрелища наверху и реакция зрителей внизу. То есть реакции практически не было никакой. Зрители, как бы состоя в общем массовом заговоре, хранили полнейшее молчание, но, когда на небесном экране два бывших чемпиона по боксу стали жевать гамбургеры фирмы «Макдоналдс», все сидевшие вокруг меня непроизвольно зачавкали. И мне тоже вдруг так захотелось свежего гамбургера с ватной булкой и пузырящейся кока-колой, что я даже, кажется, застонал от вожделения. Моя реакция вызвала крайнее недовольство публики. Со всех сторон на меня зашикали, а кто-то даже ткнул кулаком в бок.

Впрочем, досмотреть фильм до конца мне, так же как и другим, не удалось. В тот самый момент, когда один герой небрежно передавал другому чек на четырнадцать миллионов долларов, над головой возник решительно нараставший гул моторов и на океанском пляже, где главная героиня загорала со своим стареющим, но исключительно богатым любовником, появилась целая армада тяжелых бомбардировщиков, которые, рассредоточившись, стали обстреливать облака трассирующими снарядами.

Тут же послышался шум моторов на земле, и в среде зрителей произошло замешательство.

— Облава! — крикнул кто-то, и это слово пошло по рядам, как огонь по бикфордову шнуру:

— Облава! Облава! Облава!

Люди поспешно вскакивали, подхватывали свои подстилки и подушки и разбегались в разные стороны. При этом они подняли столько пыли, что

не было видно уже не только фильма, а даже ближайшего соседа.

Я тоже вскочил, не зная, что делать. Если это действительно облава, то мне (так я подумал), пожалуй, было бы лучше всего попасться в нее. Я давно мечтал, чтоб на меня хоть как-то обратили внимание.

Моторы и наверху и внизу ревели все громче. Пыль стояла такая, что у меня забило нос, уши и глаза, я ничего не видел. Вдруг вспыхнул ослепительный свет, который шел одновременно со всех сторон. Я слышал топот многих ног, а потом крики и выстрелы.

Как раз в это время кто-то схватил меня за руку и потащил куда-то. Хотя неизвестный человек тащил меня весьма невежливо и решительно, я почему-то подумал, что это друг, который хочет меня спасти.

Я подчинился ему. Когда он побежал, я побежал с ним вместе.

Вскоре мы оказались в каком-то кривом переулке. Было очень светло и шумно. Я задрал голову и увидел, что самолеты все еще кружатся под облаками и стреляют. При помощи специальных снарядов они разгоняли облака и частичного успеха уже достигли. Небо было разорвано в клочья, но на оторванном от общего слоя облаке стареющий миллионер все еще протягивал стакан виски своей уже расстрелянной бомбардировщиками юной любовнице.

Мой неожиданный поводырь затащил меня за угол какого-то сарая и, отпустив мою руку, стал отряхиваться, кашляя и чихая. Глядя на его шишковатую голову, я подумал, что я его раньше видел.

Как раз в этот момент он повернул ко мне свое лицо и спросил шепотом:

— Вы меня узнаете?

Это был опять Охламонов.

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

Мы шли, плутая, тихими переулками, дворами, задворками, дважды бегом пересекли широкие проспекты, прошли через таинственный и безмолвный парк и опять крались каким-то извилистым путем, прижимаясь к стенам домов, избегая встреч с патрулями и случайными прохожими. Впрочем, случайных прохожих, как я уже понял, в этом городе не было.

Когда во втором парке мы остановились передохнуть, я спросил Охламонова, куда мы идем.

— К друзьям, — ответил он коротко, и мы двинулись дальше.

Облачный покров на небе был уже растерзан в клочья, но самолеты все еще рычали, злобно тараня отдельные скопления светящегося пара.

Оголенный серп молодого месяца стыдливо торчал среди этого безобразия.

Пройдя еще минут пять-шесть, мы миновали приземистую постройку и уткнулись в густой кустарник.

— Теперь слушайте меня внимательно, — зашептал Охламонов. — Сейчас мы проползем под кустами, там в заборе будет небольшая дырка. За ней широкая улица. Сначала я вылезу в дырку и перебегу на другую сторону. Вы немного подождете. Если со мной что-нибудь случится, я закричу: «Ка-

раул! Грабят!» Тогда вы остаетесь на месте под кустами, к вам придет кто-нибудь из наших. Может быть, это будет даже кто-то из ваших знакомых. Если вы не услышите крика, то через пару минут вылезайте и тоже бегите прямо к большому дому напротив. Вбегаете в крайний левый подъезд, закрываете за собой дверь и спускаетесь в подвал. Осторожней, там темно. Когда будете спускаться, держитесь за перила.

Эта часть нашей операции прошла успешно, и через несколько минут Охламонов тащил меня за руку по мрачным подвальным лабиринтам. Потом он постучал, открылась какая-то дверь, закрылась, открылась вторая, и я увидел компанию молодых людей обоего пола, которые при свете коптилок пировали под большим портретом... Сим Симыча.

— Господа! — закричал Охламонов, и голос его после тишины улиц прозвучал оглушительно. — Посмотрите, кого я вам привел! Наш Классик с нами! Штрафную нашему Классику!

Молодые люди немедленно вскочили на ноги, держа в руках пластмассовые стаканчики. Какая-то девица в длинном, до пят, черном платье из крашеной мешковины подбежала ко мне со стаканчиком, наполненным до краев.

— Выпейте с нами.

— А кто вы? — спросил я, недоверчиво принимая стаканчик.

— Разве вы не поняли, Виталий Никитич? — улыбаясь, спросил Охламонов. — Мы ваши единомышленники. Мы — симиты.

Все присутствующие смотрели на меня с любопытством. Где-то за последним столом, в самом

дальнем углу я заметил рассеченный лоб Дзержина.

— Дорогие комсоры, — сказал я, оглядываясь, куда бы поставить стаканчик, — вы свою гнусную провокацию разработали очень ловко, но она не проходит. Я не симит. В прошлой своей жизни я знал многих людей и с Симом Симычем Карнаваловым был знаком тоже. Но я никогда не был с ним заодно, никогда не разделял его убеждений, и вы меня на такой дешевой мякине не проведете.

Сказав это, я вдруг автоматически, сам от себя того не ожидая, залпом выпил содержимое стаканчика и чуть тут же не свалился с катушек.

Мне приходилось в жизни употреблять и денатурат, и политуру, и тормозную жидкость для самолетов, но такой дряни я все же еще не пробовал.

— Классику ура! — крикнул Охламонов.

— Ура! — закричали другие.

— Кстати, — сказал я, — Классиком я сам себя не называл. Это вы мне эту кличку придумали, а я на нее вовсе не претендую.

— Скромности нашего Классика ура! — опять прокричал Охламонов.

— Слава Симу! — провопил кто-то.

— Да здравствует симодержавие!

Дураки, подумал я, вот дураки. Ну неужели они думают, что меня с моим-то опытом можно поймать на такой дешевке?

— Дзержин Гаврилович! — крикнул я. — А что это ты там в углу прячешься?

— А я вовсе не прячусь, — сказал Дзержин и, выйдя из-за стола, стал пробираться ко мне. — Я рад, дорогуша, что ты к нам пришел. Я с самого

начала знал, что ты наш и что ты нам поможешь. Дайте второй стакан Классику!

Та же девица в черном поднесла мне второй стакан. Я взял его. Мне терять было нечего.

— Так вот, — сказал Дзержин, приблизившись. — Никакой провокации быть не может. Ты можешь нам верить или не верить, но бояться тебе нечего. Ты все равно приговорен Верховным Пятиугольником к забвению. Если даже мы окажемся провокаторами, то мы для тебя все равно ничего худшего не придумаем. Так что доверься нам, давай выпьем, а потом потолкуем.

РАЗГОВОР С ДЗЕРЖИНОМ

Разговор произошел в здешнем подвальном кабесоте. Собственно, сам разговор я почти не помню. Но вот что сказал мне Дзержин. Наступают очень серьезные события. Во всем Москорепе и на обширной территории Первого Кольца зреет недовольство населения коммунистическими и социалистическими порядками. Движение симитов растет и грозит превратиться в стихийное. В это же время служба БЕЗО («Или, иначе говоря, ЦРУ, — сказал Дзержин. — Понимай, как знаешь») получила совершенно точные сведения, что швейцарские врачи приступили к размораживанию Сима. Вероятно, сразу после размороженния он двинется сюда. Его приход неизбежен, но власти готовятся к сопротивлению, которое следует предотвратить. Надо отвлечь их внимание.

— Каким образом? — спросил я.

— Ты должен пойти на уступки, чтобы они со-

средоточились на твоем юбилее. Им это настолько нужно, что они положат на это последние силы, а мы этим воспользуемся.

— Кто — вы? — спросил я. — Или вот лично ты кто? Генерал БЕЗО, агент ЦРУ или симит?

— А, — махнул он рукой, — это неважно. В этой стране уже никто не знает, кто он на самом деле. Во всяком случае, ты должен сделать такую уступку, чтобы власти на нее клюнули, но чтобы Сим сохранился хотя бы и под другим именем.

— То есть? — спросил я.

— То есть... — Дзержин наклонился к моему уху и быстро нашептал свой план.

— Но ты понимаешь, что я лично симовских идей не разделяю и приходу его способствовать не желаю? Пожалуй, я его все-таки вычеркну.

— Уже поздно, — грустно сказал Дзержин.

ЮБИЛЕЙ

Это было настоящее столпотворение. Пропуска проверяли, начиная от площади Бдительности. У Большого театра сосредоточились наряды конных внубезовцев, и пробиться к Дому союзов можно было только сквозь коридор, образованный двумя шеренгами автоматчиков. Меня сопровождали два полковника БЕЗО, причем один из них был дважды Герой Москорепа. Он мне сам сказал, что свои боевые награды получил за создание заградительных отрядов на Бурят-Монгольской войне. (Я выдал бы ему и третью звезду Героя за то, что именно он нашел и вернул мне мои ботинки, кото-

рые, как я и думал, были украдены дежурной гостиницы «Социалистическая».)

Видимо, чересчур всерьез приняв сведения о моем возрасте, оба полковника поддерживали меня под локотки, а дважды Герой заботливо предупреждал, когда впереди оказывалась выбоина или ступенька.

Колонный зал был уже полон. Многочисленные зрители заполняли партер и балконы. Теле- и радиожурналисты суетились со своими камерами, микрофонами и проводами. Через боковую дверь меня провели за кулисы, и я попал в атмосферу всеобщего нервного возбуждения. Под присмотром агентов БЕЗО рабочие сцены перетаскивали детали декораций. Видимо, в конце торжественной части предполагался концерт, потому что я увидел знакомых мне артистов. У левой кулисы разминалась стайка маленьких лебедей. Акробаты Неждановы с безучастным видом сидели друг против друга на табуретках. А перед расколотым зеркалом охорашивалась и сама себе строила глазки певица Зирка Нечипоренко.

— Здоровеньки булы! — сказал я ей.

Она вздрогнула, обернулась и, узнав меня, сказала серьезно:

— Слаген!

В это время появился озабоченный Смерчев.

— Только что в адрес Юбилейного Пятиугольника пришла телеграмма, — сказал он и протянул мне желтый листок, на котором было написано буквально следующее: «Выступаю походом на Москву. Во избежание излишнего кровопролития предлагаю сложить оружие и не оказывать сопротивления. Сим».

— Вот видите, — жалко улыбнулся Смерчев. — А вы говорите: выдумки.

Я еще раз перечел телеграмму.

— Черт знает что! — пробормотал я. — Метафизика, гегельянство и кантианство. — И повернулся к Смерчеву. — Ну, ничего, Коммуний Иваныч, — попытался я его успокоить. — Вы, главное, не волнуйтесь и берегите свою нервную систему. Сейчас мы этого Сима отменим.

Как только мы вышли на сцену, зал разразился бурными аплодисментами. Меня, естественно, усадили в президиум между Смерчевым и Дзержином. Обстановка в зале была накаленная, но все шло строго по протоколу.

Дзержин объявил торжественное заседание трудящихся Москорепа открытым и предоставил слово Смерчеву.

Смерчев вышел к трибуне. Кратко, но красочно описал мой жизненный путь и перечислил литературные заслуги, напомнил о моем выдающемся вкладе в Гениалиссимусиану, в связи с чем особенно отметил мой вот этот роман.

— Но об этом романе, — сказал он, — органами пропаганды Третьего Кольца враждебности, а также всякими другими органами распространяются клеветнические измышления. Утверждается, что главным героем романа является якобы некий Сим, хотя, как известно, никакого Сима в природе не существует. Впрочем, обо всем этом лучше всех расскажет сам автор.

Я вышел на трибуну. Я волновался. Я чувствовал, что получается не праздник, а что-то вроде пресс-конференции, какие в наши времена устраивались для раскаявшихся шпионов и диссидентов.

— Уважаемые товарищи! — начал я дрожащим голосом. — Дорогие комсоры, дамы и господа! Прежде всего позвольте мне выразить мою глубочайшую благодарность всем устроителям этого замечательного праздника и в первую очередь благодарность нашей партии, ее Верховному Пятиугольнику, органам БЕЗО, — я поклонился Дзержину, — органам религиозного просвещения, — я поклонился отцу Звездонию, но одновременно из-за трибуны показал ему фигу, — и, само собой разумеется, нашему славному, дорогому, любимому и неподражаемому Гениалиссимусу. — Я поднял глаза к люстре и размашисто перезвездился. — Я прожил очень длинную жизнь, большую часть которой, впрочем, провел в бессознательном состоянии. Должен признать, что на протяжении своей жизни я совершил много непростительных и почти что непоправимых ошибок. Например, свои книги я писал обычно в пьяном виде, не соображая, что делаю, и иногда даже совершенно не считался с тем, чего от меня ожидали партия, народ и госбезопасность. Обладая отсталым мировоззрением, я часто не замечал всего того хорошего, что происходит в нашей жизни, в ее, так сказать, революционном развитии, и искажал действительность в угоду своим заокеанским хозяевам. Так, например, в своем последнем романе я слишком много внимания уделил описанию некоего Сима, который якобы является наследником царского престола. А на самом деле никакого такого Сима никогда не было. Я его просто выдумал. Или, говоря иначе, высосал его из пальца. Вот так. — Я сунул большой палец в рот и стал громко чмокать в микрофон.

Кажется, публике такой ораторский прием понравился, по залу прошел смешок, а кто-то даже захлопал. Я посмотрел туда, где хлопали, и сказал:

— Я не понимаю, почему такое несерьезное отношение к моей речи и что там еще за смешки и хлопки. Я знаю, что среди вас есть так называемые симиты, которые надеются на что-то вроде второго пришествия, но... — тут я повысил голос и поднял палец, — тщетны ваши надежды, господа. Дело в том, что никакого Сима больше не существует.

Я услышал аплодисменты. Это аплодировал президиум — Смерчев, Сиромахин, Пропаганда Парамоновна и отец Звездоний.

Но публика напряженно и недружелюбно молчала. А потом в ней послышался какой-то неясный ропот. Агенты БЕЗО, расположившиеся вдоль стен, стали вглядываться в публику.

— Да, дорогие мои комуняне и комунянки, — сказал я, выдержав паузу. — Пересмотрев свой роман, я решил самым коренным образом переработать его и прежде всего вычеркнуть этого Сима ко всем чертям.

Президиум аплодировал стоя. Люди в зале притихли. Отпив из стакана воды, я помолчал и сказал негромко:

— К сожалению, у меня и сейчас не хватило принципиальности и твердости позиции, и я не смог выкинуть этого персонажа совсем. Но я его переименовал, и он будет теперь называться не Сим, а Серафим.

Произнося эти слова, я никак не думал, что они подействуют на аудиторию так сильно. Даже члены президиума, по-моему, тоже этого не предвидели. Но публика вдруг заволновалась, по рядам от

первых к задним прошел шум. Я слышал, как люди спрашивали:

— Что? Как? Вим? Херувим?

И вдруг в середине зала кто-то крикнул:

— Да здравствует Серафим!

И сразу поднялся невообразимый гвалт. Агенты БЕЗО, отделившись от стен, кинулись в середину зала, чтобы извлечь того, кто кричал. Но кричал уже не один человек, а чуть ли не весь зал. И вдруг из задних рядов на двух воздушных шариках взвилось к потолку полотнище, на котором было написано: «СЕРАФИМ».

Агенты посходили с ума. Они перестали искать того, кто кричал, а кинулись доставать полотнище. Они становились на спинки кресел, лезли на плечи зрителей, а некоторые подскакивали так высоко, что могли бы установить рекорд по прыжкам в высоту в закрытых помещениях. Должен отдельно отметить исключительное хладнокровие полковника, который был дважды Героем Москорепа. В общей суматохе он не растерялся, а немедленно выхватил пистолет и двумя меткими выстрелами продырявил оба шарика. Полотнище стало медленно опускаться, колеблясь и открывая народу разные слоги подрывного слова: то «СЕ», то «РА», то «ФИМ». Но пока это полотнище опускалось, к потолку поднялись два других. А в это время другой полковник (не Герой) с каким-то листком бумаги подошел и громко сказал Коммунию Ивановичу:

— Телеграмма из Женевы.

Я подкрался к Смерчеву и заглянул через его плечо. «Выступаю походом на Москву. Во избежание излишнего кровопролития предлагаю сложить оружие и не оказывать сопротивления. Серафим».

«Надо же! — подумал я. — Его хоть горшком назови, он все равно своего добьется».

Сейчас я уже даже не помню, в каком порядке что происходило. Как я потом узнал, слухи о предстоящем прибытии Серафима разнеслись немедленно по всему Москорепу. Началась смута. И, как обычно бывает в таких случаях, граждане стали проявлять недовольство даже без достаточно серьезного повода. Например, на каком-то предприятии как раз по случаю моего юбилея рабочим давали по килограмму колбасы, которая называлась «Колбаса деликатесная мясная из рыбной муки». Так одна комунянка откусила ее тут же и говорит: «Граждане, это говно!» И другие комуняне тоже обратили внимание, что этот первичный деликатес слишком смахивает на вторичный. Как будто раньше они этого не замечали и сами не складывали по этому поводу анекдотов. Я думаю, что они были просто в таком состоянии, что, если бы в тот момент им дать настоящее венгерское салями, они бы тоже приняли его за вторичный продукт. Бунт перекинулся на другие предприятия. Его, конечно, можно было подавить, но тут где-то в районе Новой Калужской заставы в город прорвались первокольцовые симиты. Они сначала кинулись к прекомпитам и другим пунктам удовлетворения потребностей, где их ожидало большое разочарование. Они-то думали, что москореповцы питаются исключительно финиками и мороженым-пломбир. Но сила разочарования была столь велика, что симиты москорепские и первокольцовые объединились и стали крушить все подряд.

КОНЕЦ ЭДИСОНА

Ночь была беспокойной. С раннего вечера и до самого утра в воздухе гудели тяжелые самолеты. Они снижались как раз над моей гостиницей и садились, как я без труда догадался, на бывшем Ходынском поле. Потом я узнал, что за ночь в городе высадились шесть воздушно-десантных и две мотострелковые дивизии.

Когда же на улицах появились колонны танков, то от грохота вообще не стало никакого спасения.

В моем номере (а я жил опять в гостинице «Коммунистическая») ходуном ходили стены, дребезжали стекла и люстра под потолком раскачивалась, как маятник.

По всему городу то там то сям вспыхивали зарева пожаров и слышались выстрелы.

Перед рассветом, завернувшись с головой в одеяло, я заснул, но долго спать не пришлось. Около семи часов что-то где-то так рвануло, что со звоном брызнули стекла. Потом выяснилось, что какой-то летчик-идиот на сверхзвуковой скорости прошел над самыми крышами.

Хорошо, что я был укрыт с головой.

Делать было нечего. Стряхнув с одеяла стекла, я встал и подошел к окну.

На площади Революции стояли танки. В сквере перед Большим театром солдаты с котелками топтались в длинной очереди перед походной кухней. Но в основном было тихо.

В семь часов я включил телевизор.

На экране появились дикторы Семенов и Малявина.

— Говорит Москва, — сообщил Семенов самым обыкновенным голосом. — Передаем последние известия. С большой трудовой победой поздравил сегодня наш любимый Гениалиссимус коллектив ордена Ленина, ордена Гениалиссимуса и ордена Трудовой славы первой степени чулочнотрикотажной фабрики «Красный Чулок», выполнивший к середине сентября два годовых задания...

Затем было сообщено об успехах метростроителей и прокатчиков листовой стали, о расширении движения доноров и о выставке детских рисунков в Третьяковской галерее имени Художественных Дарований Гениалиссимуса. Были показаны и сами эти рисунки, в которых, как сказала диктор Малявина, дети со свойственной им непосредственностью выражают свою пылкую любовь к Гениалиссимусу и горячую преданность делу коммунизма и государственной безопасности. И ни слова обо всех этих бунтах, пожарах, танках и самолетах...

Я думал, что они, может быть, скажут об этом в конце передачи. Но конца передачи я не дождался. Раздался резкий телефонный звонок, и в трубке я услышал взволнованный голос Эдисона Ксенофонтовича, или, точнее, Эдика.

— Витюш, не удивляйся, у меня к тебе дело. Очень серьезное и очень срочное. Ты не мог бы немедленно приехать ко мне?

— К тебе? — переспросил я почти саркастически. — А ты себе представляешь, что происходит в этом городе?

— Да-да, — нетерпеливо сказал он. — Я все знаю. И тем не менее у меня к тебе очень и очень серьезное дело. Внизу у гостиницы тебя ждет бро-

нетранспортер с пропуском, подписанным лично министром обороны. С этим пропуском у тебя не будет никаких неприятностей. Я тебя жду.

Не успел я положить трубку, как в дверь постучали. Открыв ее, я увидел уже знакомого мне полковника БЕЗО, который сказал, что именно ему приказано доставить меня в подземный городок.

Дорогой я не отрывался от смотровой щели и был просто потрясен тем, как Москва в считаные часы превратилась во фронтовой город.

Буквально все улицы и переулки были забиты войсками. Движением руководили офицеры с красными повязками на рукавах.

Неприятностей у нас действительно не было, кроме бесчисленных проверок, из-за которых нам пришлось добираться до подземного городка часа два с половиной, если не больше.

Эдика я нашел в его кабинете, очень взволнованного.

— Ну что? — спросил он меня. — Как добрался? Нормально? Ну да, я вижу, что нормально. Если бы ненормально, ты бы никак не добрался. Ужас, что происходит. Этот твой Сим...

— У меня нет никакого Сима, — перебил я.

— Знаю, знаю, ты его переименовал. Но ему это, кажется, даже понравилось. И теперь под именем Серафима он приближается. Войска, посланные ему навстречу, без единого выстрела переходят на его сторону. Откровенно говоря, я просто не понимаю, как это можно. Люди еще вчера прославляли коммунизм, клялись в верности Гениалиссимусу, восторгались каждым его словом. А сегодня они крушат его памятники, сжигают портреты и толпа-

ми переходят на сторону Серафима. Неужели все их славословия и клятвы в вечной преданности были всего лишь массовым лицемерием?

— Ну да, — сказал я, — возможно. Народные массы, они вообще лицемерны. Еще когда Древнюю Русь крестили, они с удовольствием повыкидывали всех болванов, которым до того молились, в Днепр.

Зазвонил телефон. Профессор схватил трубку:

— Да, слушаю. Что вы говорите! Ну конечно, ну конечно, это следовало сделать. И где он сейчас? Ага. А Серафим? Уже? Так быстро? Ну что ж, будут новости, звоните еще.

Он положил трубку и посмотрел на меня растерянно.

— Все кончено!

— Что кончено? — спросил я.

— Наступил конец эпохи. Два часа назад специальным космическим отрядом БЕЗО Гениалиссимус был арестован в космосе, спущен с орбиты и доставлен на Лубянку.

— Интересант! — сказал я.

— Интересант? — закричал он. — Ты думаешь, это интересно? Тогда тебе, может быть, интересно узнать, что Серафим, сопровождаемый разнузданными толпами озверевшего народа, пересек Кольцевую дорогу и теперь движется в сторону центра по шоссе имени Стратегических Замыслов Гениалиссимуса.

— Каких замыслов? — спросил я.

— Это Минское шоссе, — сказал Эдик. Он задумчиво подошел к своему аппарату, взял стакан-

чик с розой, отхлебнул из него и, кажется, успокоился.

— Да, между прочим, — сказал он, как бы очнувшись от забытья, — не хочешь ли отведать еще? — и протянул стаканчик мне.

— Спасибо, — уклонился я, — я уже пробовал.

— Слушай, — сказал Эдик, — у меня есть идея. Как ты считаешь, что за человек Серафим? Он, наверное, хочет жить долго?

— Ну, он и так уже живет слава богу.

— Но наверняка он хочет жить еще дольше.

— Кто ж не хочет, — сказал я.

— Вот именно, — засмеялся он радостно. — Кто ж не хочет. Хотят все, да не всем дано. Так вот слушай... — Он оглянулся, проверил, закрыта ли дверь, и заговорил быстрым шепотом: — Когда ты его увидишь, расскажи ему обо мне и моем изобретении. Скажи, чтоб он приказал не трогать меня и не мешать мне работать. А я с ним поделюсь. Я его регулярно буду снабжать эликсиром, и он будет жить сколько захочет.

— Не дай бог! — закричал я. — Умоляю, не делай этого. Если он будет жить сколько захочет, он наваляет столько глыб, что всех ими задавит.

— Ну что ты! — сказал он. — Какие там глыбы! Ему сейчас будет не до них. Нет, ты пойми. То, что я говорю сейчас, очень серьезно. Если он прикажет не трогать меня и даст мне возможность работать, он будет жить практически вечно. — Он замолчал, внимательно посмотрел на меня и, подумав, сказал: — И ты тоже будешь жить. Пока не начнется промышленное производство, мы будем потреблять эликсир только втроем. Я, он и ты!

— Ты забыл еще одного человека, — напомнил я.

— Кого? Ах да! Боюсь, ему уже никакой эликсир не поможет.

Он схватил стаканчик, отхлебнул сам и опять протянул мне:

— Глотни, не бойся. Это только сначала кажется противно. А потом, когда распробуешь и осознаешь, что это делает тебя вечным и молодым, эликсир будет казаться вкуснейшим нектаром.

Опять зазвонил телефон. Он кинулся к трубке, а я взял оба стаканчика и поменял их местами. За окном происходила какая-то суматоха. Подъезжали и отъезжали военные паровики. Куда-то с визгом промчалась карета «Скорой помощи». За ней, но уже не с визгом, а с воем, пронеслась пожарная машина.

— Да-да, — говорил тем временем профессор. — Все понятно. Обязательно сделаю все, что в моих силах. Это какой-то ужас! — сказал он, положив трубку. — Толпы на улицах хватают и тут же раздирают на куски комунян повышенных потребностей и штатных агентов БЕЗО. О Гена, кажется, я волнуюсь!

Он схватил стаканчик и, в состоянии аффекта, залпом выдул все, что в нем было. А потом вдруг задумался, отвел стаканчик ото рта и увидел череп с костями. Его глаза были полны ужаса, когда он перевел взгляд на меня.

— Слушай, — сказал он, — по-моему, я перепутал стаканы. Я выпил что-то не то. Я выпил смерть! — закричал он и швырнул стакан на пол, и тот покатился под письменный стол. — Гена! Гена! Гена! — обхватив голову руками, кричал в истери-

ке несчастный профессор. Вдруг остановился, пристально посмотрел на меня и спросил тихо: — Это ты сделал?

— Я, — сказал я и криво ухмыльнулся, видя, как он бледнеет.

Из всех удивительных вещей, которые мне пришлось увидеть в жизни, то, что происходило сейчас, оставило во мне самое незабываемое впечатление.

Эдисон опустился на диван, схватился руками за виски и на моих глазах стал превращаться в глубокого старика. Не веря себе, я видел, как у него быстро стали расти, седеть и выпадать волосы. Лицо увядало и морщилось, как печеный картофель.

Вдруг остатки сил взыграли в нем, и этот жалкий старик весь затрясся, вскочил со сжатыми кулаками, посмотрел на меня с ненавистью, плюнул и выплюнул все зубы, которые со стуком посыпались но полу.

Это был последний всплеск жизни.

Он посмотрел на рассыпанные зубы, посмотрел па меня, но уже без ненависти, а в кротком смирении.

— Эх, ты! — сказал он и улыбнулся проваленным ртом. — Их штербе[1], — добавил он тихо. Лег на диван, свернулся комочком и умер.

Конечно, мне его стало немного жаль. Все-таки мы встречались в прошлой жизни и даже пили когда-то вместе. Но я знал, что этот эликсир, эту дрянь я должен был уничтожить, и ее создателя тоже. Если люди не равны в жизни, они должны быть рав-

---

[1] Ich sterbe — Я умираю (*нем.*).

ны хотя бы в смерти. Но мне некогда было ни философствовать, ни предаваться печали, потому что уже и в подземном городе слышалась стрельба.

Я схватил какую-то стоявшую в углу железяку и сначала трахнул по колбе, в которой бурлила жизнь, а потом по колбе, в которой тихо булькала смерть. Брызнуло по полу стекло, пролилась жидкость, и на полу образовались две лужи. Они растекались и стремились слиться в одну. Обе лужи были прозрачны. Они ничем друг от друга не отличались. Но в одной была жизнь, а в другой смерть. За миг до того, как они сомкнулись, я понял, что сейчас произойдет что-то ужасное, и отскочил к дверям. Лужи, соединившись, образовали горючую смесь, она немедленно вспыхнула и дала столб нестерпимо белого пламени, которое ударило в потолок и прожгло его, как бумажный лист.

Внутри пламени возникло что-то вроде цепной реакции. Столб превратился в вихрь, который, передвигаясь по комнате, немедленно сжигал все, что захватывал. Я увидел, как встает дыбом обугливающийся паркет, вспыхнул край письменного стола, занялись занавески и стали плавиться стекла. С опаленными ресницами и бровями я выскочил из комнаты.

Подземная улица была охвачена паникой. По ней бежали люди с оружием и без. На огромной скорости пронесся тяжелый бронетранспортер, неизвестно куда стреляя из пулеметов. Транспортер, на котором приехал я, стоял по-прежнему у тротуара, мирно попыхивая клубами пара. Я вскочил в кабину и приказным тоном крикнул полковнику:

— Поехали!

Он не отвечал. Я посмотрел на него и только сейчас заметил струйку крови, стекавшую с его виска.

С большим трудом я оторвал его от руля, вытолкнул из кабины. Затем, разобравшись кое-как с педалями и рычагами, я развернул машину и направил ее в сторону выезда из подземелья.

ЧАСТЬ VII

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ

Огромная, в несколько десятков тысяч человек, толпа народу волновалась у Триумфальной арки, и я, стоя в самой гуще, волновался вместе со всеми. Со всех прилегающих домов люди срывали портреты Гениалиссимуса и полотнища с его изречениями. Портреты и полотнища летели, кувыркаясь, в толпу и тут же раздирались ею в клочья. Недалеко от меня группа молодежи, взявшись за руки, приплясывала вокруг пылающего чучела Гениалиссимуса, которое было слеплено, конечно, из вторпродукта. Чучело дымило, плавилось и плакало вторичными слезами.

— Как живой корчится! — сказал кто-то радостно.

Я оглянулся и увидел рядом с собой Дзержина Гавриловича в длинных штанах и нижней рубахе с крестом, как бы случайно вылезшим из-под нее.

— Вот видишь, — сказал он мне, обводя руками толпу, — это все симиты.

Я стоял потрясенный. Я думал: откуда же их взялось столько, этих симитов, и как всем им удавалось до сих пор скрываться? Откровенно говоря, я их немного побаивался, но надеялся, что они ме-

ня все же не тронут, поскольку я для них вроде как посторонний.

Но за Дзержина Гавриловича мне было немного боязно. Хотя я и знал, что он тоже симит, но те, кто не знали, могли признать в нем бывшего генерала БЕЗО. А мне было известно из истории, что в периоды народных волнений работники безопасности попадают порой даже в очень щекотливое положение. Но Дзержин Гаврилович, кажется, не выказывал никаких признаков беспокойства.

— Едут! Едут! — вдруг закричала рядом со мной тетка, в которой я без труда узнал ту самую скандалистку, благодаря которой я когда-то попал во внубез. Теперь она была в форме, но без знаков различия, а на груди у нее висел крест, вырезанный, по-видимому, из картона.

— Едут! Едут! — закричали другие.

В толпе произошло большое волнение, все кинулись на середину дороги. В общем гуле ликования стоны и вопли раздавленных были почти не слышны и не нарушали настроения общей приподнятости. Все смотрели в сторону Минского шоссе (у меня язык не поворачивается называть эту дорогу иначе), где, вероятно, что-то происходило, но что именно, я видеть никак не мог, потому что передо мной стоял высокий и широкоплечий работяга в промасленном комбинезоне.

— Кузя, ты? — толкнул я его в спину.

— Здорово, отец! — узнал он меня и широко улыбнулся. — Вишь, какие дела-то. Вчерась был коммунизм, а сегодня уже невесть чего. — И от избытка чувств он добавил тираду, которую я не решаюсь воспроизвести.

Тем временем толпа густела. На меня напирали и слева, и справа, и сзади. Вдруг рядом со мной появился некто в рваной майке и тоже с пластмассовым крестом на груди.

— Коммуний Иванович! — удивился я. — Вы ли это?

— Тише, тише, — зашептал мне Смерчев и наклонился к моему уху: — Вы знаете, меня мама называла Колюней.

— Неужели у вас была мама? — удивился я, но ответа не услышал, потому что волнение в толпе достигло высшего накала.

Приподнявшись на цыпочки, я мог разглядеть сначала только кончики каких-то пик, а потом, пробившись немного вперед, увидел трех богатырей, которые медленно приближались к Триумфальной арке. Посредине на белом коне, в белых развевающихся одеждах и в белых сафьяновых сапогах ехал Сим Симыч, а по бокам от него на гнедых лошадях покачивались в седлах справа Зильберович, слева Том, оба с длинными усами и, несмотря на жару, в каракулевых папахах. Оба были вооружены длинными пиками.

Сим Симыч в левой руке держал большой мешок, а правой то приветствовал ликующую толпу, то совал ее в мешок и расшвыривал вокруг себя американские центы.

Проехав сквозь Триумфальную арку, Симыч и его свита остановились. Симыч поднял руку, и толпа немедленно стихла. Какой-то человек подскочил к Симычу с микрофоном, и я удивился, узнав в этом человеке Дзержина, который только что был рядом со мной. Симыч милостиво взял из рук

Дзержина микрофон и вдруг закричал пронзительным голосом:

— Мы, Серафим Первый, царь и самодержец всея Руси, сим всемилостивейше объявляем, что заглотный коммунизм полностью изничтожен и более не существует. Есть ли среди вас потаенные заглотчики?

Я хотел крикнуть, что они тут все заглотчики, потому что все до единого в заглотной партии состояли. Но я стоял далеко, а Дзержин стоял близко.

— Есть! — закричал он и, нырнув в толпу, выволок из нее упиравшегося Коммуния Ивановича. Коммуний Иванович вырывался, рыдал, цеплялся за землю и наконец упал на колени чуть ли не под копыта Глагола.

— Признаешь ли по правде, что служил, как собака, заглотному пожирательному и дьявольскому учению?

— Признаю, Ваше Величество, что служил, — залепетал, опустив голову, Смерчев, — но не по идее служил, а исключительно ради корысти и удовлетворения стяжательских инстинктов. Больше никогда не буду и проклинаю тот час, когда стал заглотчиком.

— Теперь уже поздно, — сказал царь и махнул рукой. Под аркой уже стоял пожарный паровик с выдвинутой высоко лестницей, и стоявший на самом конце лестницы симит спускал вниз веревку с петлей.

— Ваше Величество, простите, помилуйте! — простирал Смерчев руки к Сим Симычу.

В это время Дзержин потащил своего бывшего коллегу за ноги, тот упал на брюхо и ухватился за заднюю ногу Глагола. Глагол дернул копытом, и

бедная голова Коммуния Ивановича треснула, как грецкий орех.

Мне стало очень не по себе. Будучи от природы последовательным гуманистом, я всегда был решительно против такого рода расправ. Я лично за то, чтобы таких людей, как Коммуний, сечь на конюшне розгами, но я никогда не был сторонником чрезмерных жестокостей.

Но они продолжались.

Поскольку вопрос с Коммунием решился столь скоро и радикально, Дзержин тут же оставил главкомписа дергаться в одиночестве, а сам, вновь кинувшись в толпу, извлек из нее отца Звездония с воспаленными глазами и всклокоченной бороденкой. Таким он и предстал перед новоявленным императором.

— Признаешь ли, что служил, как собака, дьявольскому, заглотному и богопротивному учению? — вопросил тот.

— Признаю, батюшка, — нисколько не смутившись, сладким своим голоском пропел Звездоний. — Признаю, что служил, сейчас служу и до самого последнего вздоха буду служить светлым идеалам коммунизма и великому вождю всего человечества гениальному Гениалиссимусу...

— Распять его! — приказал царь.

Я удивился такому приказу. Уж кто-кто, а Симыч должен был знать, что распинать на кресте — дело не христианское. Другое дело — сжечь живьем или посадить на кол. Но приказ есть приказ.

Тут же откуда-то взялся огромный, грубо сколоченный крест, и четыре симита стали приколачивать несчастного отца Звездония к кресту большими ржавыми гвоздями. Сработанные передовой

и прогрессивной промышленностью Москорепа, эти гвозди, конечно, гнулись, и распинальщикам приходилось их выдергивать, выпрямлять и вновь заколачивать. Терпя невероятные муки, отец Звездоний тем не менее не сдавался и, закатывая глаза, громко вопил:

— О Гена, видишь ли ты меня? Видишь ли, какие муки терпит ради тебя жалкий твой раб Звездоний?

Я думаю, никто не может меня заподозрить в излишних симпатиях к отцу Звездонию, но сейчас, видя, с каким мужеством и достоинством принимает он мученическую смерть за свои незрелые убеждения, я проникся к нему глубочайшим почтением, и волна сочувствия залила мою грудь.

Звездоний все еще мучился на кресте и что-то выкрикивал, когда царь со своими сопровождающими двинулся дальше. Люди при приближении этих всадников падали ниц, и я тоже упал на колени. Со звоном сыпались и падали прямо передо мной американские центы, я ухитрился, сгреб несколько и сунул за пазуху. Заметив перед собой еще монету в двадцать пять центов, я сунулся было за ней, но лошадиное копыто опустилось как раз на эту монету. Сначала опустилось, а потом поднялось и замерло над моей головой. Мне сразу стало не до монет. Во рту пересохло. Почему-то немедленно вспомнилось: «Но примешь ты смерть от коня своего». Тогда, в Отрадном, Глагол меня узнал после трехлетней разлуки, но теперь-то прошло шестьдесят. За такой срок не то что лошадь, а и родная мама забудет.

— Но-но! — услышал я властный голос Сим

Симыча и снизу увидел шпору, вмявшуюся в бок Глагола.

Глагол опустил копыто на асфальт, наклонился ко мне, коснулся моего уха мягкими губами и задышал глубоко и жарко.

— Но-но! — закричал на него Симыч и ударил его шпорами нетерпеливо.

Но конь опять не сдвинулся с места. Он только мотнул головой и заржал. Заржал одновременно радостно оттого, что меня видит, и сердито на Сим Симыча.

— Да что же это такое? — возмутился Симыч. — Кто это там лежит? Поднять его!

Кто-то (оказалось, Дзержин) схватил меня за шкирку, оторвал от земли и поставил на ноги. Я поднял голову и встретился взглядом с Симычем. Прищурив глаза, он вперился в меня так строго, что мне стало не по себе, и я даже почувствовал некоторую дрожь во всем теле. Зильберович и Том смотрели равнодушно, не проявляя никаких признаков узнавания. Только, кажется, один Глагол, переступая с ноги на ногу, глядел на меня доброжелательно.

— Это ты? — спросил Симыч тихо.

Я смутился, разволновался, ткнул сам себя пальцем в грудь и переспросил:

— Это? — Но тут же опомнился и признал: — Да, это я, Симыч.

— Не Симыч, а Ваше Величество, — поправил меня Зильберович.

— Здорово, Лео! — сказал я ему, неожиданно для себя как-то угодливо подхихикивая. — Ты очень импозантно смотришься на коне.

— Выполнил ты мое задание? — строго спросил Сим Симыч.

— Это какое же, Сим... то есть Ваше Величество? — спросил я, глупо подпрыгивая, кивая головой и про себя думая: «Надо же, гад какой! Даже шестьдесят лет в морозильнике лежа, все помнит». — Если ты... то есть вы имеете в виду флоппи-диск, то нет, не выполнил, потому что...

— Взять его! — Симыч тронул поводья и двинулся дальше, рассыпая вокруг себя американские центы.

ГЕНИАЛИССИМУС

Меня долго вели по вонючим, плохо освещенным коридорам, а потом открыли железную дверь и куда-то втолкнули. Видимо, в камеру, в которой вообще никакого света не было. Только под самым потолком едва-едва что-то брезжило. Там было очень маленькое окошко размером не больше школьной тетради в клеточку, и синий свет сквозь него едва сочился, вырисовывая на фоне общей черноты лишь само это окошечко, и ничего больше.

Я стоял среди этого непроницаемого пространства, надеясь, что глаза, привыкнув к темноте, различат хоть что-то, но они не различали. Я попробовал двинуться вправо и тут же наткнулся на что-то твердое. Судя по запаху, это была параша.

Звуков никаких не было слышно, но я почувствовал, что я здесь не один.

— Есть здесь кто-нибудь? — спросил я негромко.

— Да, — ответил тихий голос, который показался мне знакомым. — Здесь есть я.

— Кто вы?

— Гениалиссимус, — просто ответил голос.

Я мысленно произнес пару нехороших слов, которые в письменном виде воспроизводить не буду. Видимо, эти собаки запихнули меня не в тюрьму, а в психушку. Да еще в одну камеру с сумасшедшим, страдающим манией величия.

— Слушайте, — спросил я, — а вы, случайно, не буйный?

— Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду, что, если у вас хоть капля разума сохранилась, не вздумайте на меня нападать. Я в совершенстве владею приемами карате, и любая попытка применить силу может очень дорого вам обойтись.

Конечно, это была чистой воды чернуха. Ни о каком карате я и малейшего понятия никогда не имел. Но я точно знал, что сумасшедшие, когда знают, что могут получить по зубам, бывают весьма разумны и осмотрительны.

Человек в темноте помолчал, обдумывая мои слова, а потом спросил:

— Витя, это ты?

Теперь помолчал я. А затем спросил:

— Значит, ты утверждаешь, что ты — Гениалиссимус?

— Ну да, — сказал он, — Гениалиссимус. Или бывший Гениалиссимус.

Я еще подумал и сказал:

— Здравствуй, Леша. По-моему, нас с тобой совершенно справедливо упрятали в этот сумасшедший дом.

— Почему? — услышал я вопрос.

— Потому что то, что сейчас происходит в нашем воображении, в действительности случиться никак не могло.

— Почему? — спросил он опять.

— Потому что сам твой вопрос говорит о твоей болезни. Ну посуди сам. Мы с тобой родились, выросли и почти состарились в прошлом веке. Не могли же мы вместе оказаться здесь, да еще чтобы в это же время сюда же прибыл и этот взбесившийся маньяк, который теперь называет себя Серафимом.

Гениалиссимус Букашев, подумав, сказал:

— Ты сам доказал, что понятие «действительность» очень условно. Во всяком случае, для нас она существует только в том виде, в каком отражается в нашем воображении. То есть действительность — это только то, что мы реально видим перед собою.

— В таком случае сейчас для меня никакой действительности не существует, потому что в настоящий момент я перед собой не вижу ничего.

— А тебе ничего видеть не надо. Вытяни вперед руки и иди на голос.

Я так и сделал, и скоро мы с Букашевым, как слепые, ощупывали друг друга, чтобы убедиться, что мы — это мы.

НОЧНАЯ БЕСЕДА

Всю ночь мы просидели на нижних нарах и тихо разговаривали, не видя даже силуэтов друг друга.

Гениалиссимус Букашев был арестован и доставлен на Землю специальным космическим отрядом БЕЗО. Если не ошибаюсь, это был первый в истории арест на орбите. (Впрочем, космические тюрьмы, куда доставляли людей, арестованных на Земле, существовали и раньше.)

— Помнишь наш разговор в Английском парке? — спросил мой сокамерник.

— Еще бы не помнить! — сказал я. — Очень хорошо помню. Помню даже, что ты собирался построить коммунизм, но так же, как твои предшественники, оказался настоящим утопистом.

— Ошибаешься, дружок! — вдруг сказал он совсем весело. — Я утопистом не оказался. Я коммунизм построил.

— Ты называешь это коммунизмом? — спросил я возмущенно. — Это общество жалких нищих, которое уже даже не знает разницы между продуктом первичным и вторичным? Общество людей, для которых вся духовная жизнь свелась к сочинению и изучению Гениалиссимусианы? Ты хочешь сказать, что именно это и есть коммунизм?

— Да, милый, — сказал он с усмешкой, которую я, не видя, почувствовал, — именно это и есть коммунизм.

— Странно, — сказал я. — У меня об этой мечте человечества были другие представления.

— У меня тоже, — сказал он. — Но когда люди начинают воплощать свою мечту в жизнь и идут вместе к единой цели, у них всегда получается что-то вроде того, что ты видел.

— Ты говоришь, — заметил я, — как самый настоящий антикоммунист.

— Ну да, как самый настоящий, — согласился он. — Только с небольшой поправкой. Ты же знаешь, американцы говорят: если животное выглядит как собака, лает как собака и кусается как собака, так это и есть собака.

— То есть ты хочешь сказать, что ты и есть самый настоящий антикоммунист?

— Ну, наконец догадался, — похвалил он меня иронически.

— Интересное признание, — отреагировал я с сарказмом. — Но запоздалое и бесполезное. Зачем ты мне это говоришь? Я же не следователь и не наседка. Да если бы я и был кем-то из них... Неужели ты рассчитываешь, что кто-то тебе поверит? Да сейчас любого останови на улице, он тебе скажет, что всегда был антикоммунистом. Ему еще можно поверить, но не тебе же. Нет, брат, это ты неудачно придумал, это тебя не спасет.

Я слышал, как он вздохнул.

— Неужели ты думаешь, я настолько глуп, чтобы рассчитывать на спасение? Нет, милый, мне вообще уже рассчитывать не на что. Я многие годы жил на эликсире, который присылал мне Эдик. Как раз перед арестом я выпил последнюю порцию, действие ее уже кончилось, и начался ускоренный необратимый процесс, который близок к завершению. Так что терять мне нечего, врать незачем, поэтому то, что я тебе скажу, ты должен принять на веру без всяких доказательств. Ты можешь называть меня как угодно. Но главное не то, как я называюсь, а то, что я сделал. Я коммунизм построил, и я же его похоронил. Ты посчитай, сколько людей боролись с этим учением. Они создавали кружки, партии, разбрасывали листовки,

гибли в тюрьмах и лагерях. А чего они добились? Твой Симыч пытался закидать коммунизм своими глыбами и в конце концов спрятался в морозильнике. А никто не понимал такой простой вещи, что для того, чтобы разрушить коммунизм, надо его построить.

Он замолчал, и я не побуждал его к продолжению разговора, потому что мне надо было подумать. Тайна, которую я никак не мог раньше постичь, открывалась мне с неожиданной стороны.

— Слушай, — сказал я наконец. — Но если следовать твоей логике, то надо признать, что все люди, которые вели нас к коммунизму, были на самом деле его врагами.

— Конечно, — обрадовался он. — Все эти люди от Маркса и до меня, заразив коммунизмом человечество, дали ему возможность переболеть этой болезнью и выработать иммунитет, которого, может быть, хватит на много поколений вперед. Но из всех разрушителей коммунизма мне удалось больше других, потому что именно я на практике довел это учение до полнейшего абсурда.

Он сообщил мне это с явной гордостью и опять замолчал.

— Интересант, — сказал я, повторяя нашего общего покойного друга. — Очень даже интересант. И что же, у тебя всегда были такие вот взгляды? И даже тогда, когда мы встречались в Мюнхене?

— Ну нет, — вздохнул он в темноте. — Тогда были не совсем такие. Тогда я еще думал, что можно что-то сделать. Да, да, — прервал он сам себя раздраженно. — Я чувствую, ты усмехаешься. Ты думаешь, что тебе все было известно заранее. То, что тебе было известно, я знал не хуже тебя. Но ты сто-

ял в стороне и насмешничал, а я пробовал что-то сделать и, во всяком случае, довел исторический эксперимент до конца.

— И ты доволен результатом?

— Доволен или не доволен, значения не имеет, — сказал Букашев. — Если экспериментатор ставит свой опыт честно, любой результат он должен принять таким, как он есть.

Тут уж рассердился я.

— И ты считаешь, — сказал я, — что ставил свой опыт честно? А культ твоей личности тоже был частью эксперимента? А твои бесчисленные портреты, а громоздкие и безвкусные изваяния, а бездарнейшая Гениалиссимусиапа тоже нужны были для честного опыта?

— Уух! — застонал Букашев и заскрежетал зубами. — Ты не можешь себе представить, как я это все ненавидел. Я их просил, умолял, приказывал прекратить славословия. И что ты думаешь? Они в ответ разражались бурными аплодисментами, статьями, романами, поэмами и кинофильмами о моей исключительной скромности. Когда я хотел провести какие-то конкретные реформы, собирал съезды, митинги, говорил им, что так дальше жить нельзя, давайте, наконец, что-нибудь сделаем, давайте будем работать по-новому, в ответ я опять слышал бурные аплодисменты и крики «ура». Газеты и телевидение превозносили меня и мою необычайную смелость и широту взгляда. Пропагандисты меня напропалую цитировали: «Как правильно указал, как мудро заметил наш славный Гениалиссимус, дальше так жить нельзя, давайте что-нибудь сделаем, давайте работать по-новому». И на этих словах все кончалось.

Собственно говоря, в его признаниях для меня ничего нового не было. Советская система и в мои времена вела себя примерно так же.

— Но все же, — сказал я Букашеву, — может быть, беда твоя была в том, что ты окружил себя бюрократами и подхалимами, которые ничего другого, кроме как хлопать в ладоши, и не умели. Может быть, тебе надо было выгнать их к черту и обратиться прямо к народу? Народ, я уверен, он бы тебя поддержал.

— Друг мой, — печально сказал бывший Гениалиссимус, — о каком народе ты говоришь? И вообще, что такое народ? И есть ли вообще разница между народом, населением, обществом, толпой, нацией или массами? И как назвать миллионы людей, которые восторженно бегут за своими сумасшедшими вождями, неся их бесчисленные портреты и скандируя их безумные лозунги? Если ты хочешь сказать, что самое лучшее, что есть среди этих миллионов, это и есть народ, то тогда ты должен признать, что народ состоит всего из нескольких человек. Но если народ — это большинство, то я тебе должен сказать, что народ глупее одного человека. Увлечь одного человека идиотской идеей намного труднее, чем весь народ.

— Может быть, ты и прав, — сказал я. — Может быть. А скажи мне, если ты такой умный, как же ты допустил, что твои соратники оставили тебя в космосе?

— А я этому не противился, — сказал он. — Мне на Земле больше нечего делать. Когда я увидел, что ничего изменить не могу, тогда я решил, пусть будет, как будет. Я видел, что машина запущена и сама собой катится в пропасть. И ход ее да-

же мне не под силу ни замедлить, ни ускорить. Я устал и хотел куда-то спрятаться от всего и от всех, но на Земле подходящего места не нашел. Поэтому, когда они решили оставить меня на орбите, я подумал, может быть, так и лучше. Они делали вид, что я ими руковожу, и я делал вид. А на самом деле я жил своей отдельной жизнью — ел, спал, читал книжки, думал и ждал.

— Чего ждал?

— Ждал, когда это все развалится.

— Ну вот, — поймал я его на слове, — значит, ты вел себя точно так же, как Симыч. Он ждал в «морозильнике», а ты в космосе. Какая разница?

По-моему, мое сравнение показалось ему обидным.

— Разница в том, — сказал он сердито, — что, прежде чем ждать, пока эта лодка затонет, я ее долго раскачивал, а он в это время валял свои глыбы впустую. А потом, конечно, мне захотелось увидеть, чем дело кончится, и только поэтому я регулярно пил микстуру от Эдика.

— Ты знаешь, что с Эдиком случилось? — спросил я.

— Да, я знаю, ты его отравил. Правильно сделал, это был человек мерзкий и вредный. А мне его изобретение уже не поможет. Да и ни к чему. Я дожил до того, чего хотел, теперь можно и умереть.

Я не помню, когда и как заснул. Помню только, что проснулся на верхних нарах, когда было уже совершенно светло. Когда я глянул вниз, я не увидел ничего, кроме аккуратно застеленных нар. Вероятно, Гениалиссимуса увели ночью, когда я крепко спал.

ВЫСОЧАЙШИЙ МАНИФЕСТ

«Мы, божией милостию, Серафим Первый, Император и Самодержец всея Руси, данным Манифестом высочайше и всемилостивейше объявляем диавольское, заглотное и кровавое коммунистическое правление низложенным.

Зловонючая партия КПГБ распущена и объявлена вне закона.

Пропаганда коммунистической идеологии приравнена к числу тягчайших государственных преступлений.

Россия объявляется Единой и неделимой Империей с монархической формой правления. Деление Империи на республики отменяется. Основной административной единицей на местах является губерния во главе с назначенным Нами губернатором.

Империя располагается на территориях, находившихся ранее под контролем бесовской шайки КПГБ, включая в себя также Польшу, Болгарию и Румынию в виде отдельных губерний.

Вся полнота власти принадлежит Императору, который осуществляет ее через назначенный им Правительствующий Сенат, Кабинет министров и Комитет губернаторов.

Бывшие органы госбезопасности (служба БЕЗО) преобразовываются в Комитет народного спокойствия (КНС), главою которого назначается любезный Нам и Нашим верноподданным богобоязненный христианин Леопольд Зильберович.

Всем бывшим коммунистам предлагается сдать свои членские билеты в губернские, уездные и во-

лостные отделения КНС и пройти через церковное покаяние.

Всем остальным Нашим любезным подданным предлагается соблюдать спокойствие и порядок, выявлять заглотных коммунистов и плюралистов, уклоняющихся от регистрации и покаяния, проявлять бдительность и нетерпимость ко всем проявлениям лживой и мерзопакостной коммунистической идеологии.

Данный Манифест Высочайше повелеваю зачитать на площадях, в Церквах и других местах общественного скопления, а также в воинских частях, соединениях и на кораблях Императорского Военно-Морского флота.

С нами бог!

Серафим Первый, Император и Самодержец всея Руси».

Этот Указ я прочел в напечатанной в виде рулона газете «Ведомости Правительствующего Сената», которую мне стали доставлять с первого дня моего заключения.

Если бы не эта газета, я бы вообще с ума сошел. Я и так не находил себе места. Я всю жизнь мечтал стать свидетелем какого-нибудь переломного исторического события, чего-нибудь вроде крушения империи, революции или хотя бы контрреволюции. И не обидно ли, во время как раз такого события (да имея к тому же прямое ко всему отношение) оказаться ни с того ни с сего взаперти! Хотя, впрочем, и в безопасности. Что было нелишне, потому что, как я потом узнал, немедленно по воцарении Симыча (до сих пор не могу его называть Серафимом) на территории Москорепа стихийно

организовались передвижные народные суды, которые отлавливали бывших комунян повышенных потребностей и плюралистов и, руководствуясь упрощенным правосознанием, тут же раздирали отловленных в клочья. Этого в газетах не было, но публиковались длинные списки казненных по приговору Чрезвычайной коллегии КНС.

А кроме того, изо дня в день публиковались бесчисленные указы, я их перечислю в том порядке, в котором запомнил:

1. Указ о создании специальной комиссии по расследованию коммунистических преступлений.

2. Об отказе от уплаты иностранных долгов.

3. Об обязательном и поголовном обращении всего насущного населения в истинное православие. Во исполнение указа провести поэтапное крещение всех подданных Его Величества, используя для данного обряда моря, реки, озера, пруды и другие естественные и искусственные водоемы.

4. О переименовании всех городов, рек, поселков, улиц, заводов, фабрик, морских и речных судов, незаконно носящих имена коммунистических заправил.

5. Вся собственность на землю, производственные предприятия, средства производства и транспорт переходит в руки Его Величества и впоследствии общественными комитетами будет раздаваться бесплатно лицам, способным к производительному труду и уклонявшимся от сотрудничества с заглотным коммунизмом.

6. Паспорта и другие документы, выданные безбожной властью, упраздняются и заменяются единым видом на жительство.

7. Об упразднении паровых, механических и электрических и других средств передвижения с постепенной заменой их живой тягловой силой, для чего крестьянам предлагается немедленно заняться выращиванием лошадей, быков, ослов — и шотландских пони.

8. Об отмене наук и замене их тремя обязательными предметами, которыми являются Закон Божий, Словарь Даля и высоконравственное сочинение Его Величества Преподобного Серафима «Большая зона».

9. О введении телесных наказаний.

10. Об обязательном ношении бороды мужчинами от сорока лет и старше.

11. Об обязательном ношении длинной одежды. Под страхом наказания мужчинам вменяется в обязанность носить брюки не выше щиколоток. Ширина каждой брючины должна быть такой, чтобы полностью закрывала носок. Женщины должны проявлять богобоязненность и скромность. Платья и юбки также должны быть не выше щиколоток. Ношение брюк и других предметов мужской одежды лицами женского пола категорически воспрещается. В церквах, на улицах и других публичных местах женщинам запрещено появляться с непокрытыми головами. Уличенные в нарушении данных правил женщины будут подвергаться публичной порке, выстриганию волос и вываливанию в смоле и в перьях.

12. О запрещении женщинам ездить на велосипедах.

13. О восстановлении буквы «ять» в русском алфавите.

Было много всяких других указов: о порядке хлебопашества, о введении в армии новых чинов и званий, о запрещении западных танцев и много чего еще — я, к сожалению, запомнил не все.

С ВЕЩАМИ

Дверь растворилась, и в камеру в сопровождении вертухая вошел казачий офицер в чине что-то вроде есаула. Он был в длинных шароварах и куртке с газырями и какими-то кистями.

— Дзержин Гаврилович! — кинулся я к нему. — Ты ли это?

— Нет, — сказал он, — я не Дзержин, а Дружин Гаврилович, — и, уклонившись от братания, поглядел в какой-то список.

— Кто здесь на букву «к»?

Оглядевшись вокруг себя, я сказал, что я здесь один на все буквы. При этом я подумал: а какое, интересно, мое имя на букву «к» он имеет в виду — Карцев или Классик?

— На выход с вещами! — буркнул Дзержин.

Я взял свою кепку и вышел. Оставив вертухая у камеры, мы с Дзержином-Дружином долго шли длинным извилистым коридором с ободранными стенами и грязным выщербленным каменным полом.

— Ну что? — спросил по дороге Дружин (пусть будет так). — Боишься?

— Нет, — сказал я. — Не боюсь.

— Ну и правильно, — сказал он. — Страшнее смерти ничего не будет.

— А тебя они, значит, оставили на прежней ра-

боте? — спросил я. — Потому что выяснили, что ты был симитом?

— Нет, не поэтому, — сказал он. — А потому, что им такие специалисты, как я, нужны. И не только им. Любому режиму. Ты хоть какую революцию произведи, а потом результат ее надо кому-нибудь охранять. А кто это будет делать? Мы. Каждого из нас в отдельности можно заменить, а всех вместе никак нельзя, других не наберешь.

— Скажи, пожалуйста, — спросил я по простодушию, — а в ЦРУ ты служишь по-прежнему?

Он остановился, посмотрел на меня внимательно.

— А вот на такие вопросы, дорогуша, я обычно не отвечаю.

И повел меня дальше.

Мы поднялись на лифте и оказались в коридоре с дубовыми панелями и полом, покрытым красной ковровой дорожкой. Дошли до конца этого коридора и попали в просторную приемную, где толпились казаки в больших чинах.

У двери, обитой черным дерматином, усатый секретарь медленно и тупо тыкал в клавиши пишущей машинки «Олимпия» заскорузлыми пальцами. Над ним висело изображенное расторопным художником большое панно, изображавшее въезд царя Серафима в столицу. Толпы народа, восторженные лица, и Серафим, склонившись с лошади, гладит поднятого к нему счастливой матерью счастливого младенца.

— У себя? — коротко спросил Дружин у секретаря.

— Так точно! — вскочил он и вытянулся. — Они ждут.

Дружин открыл дверь и пропустил меня вперед. Кабинет, в котором я очутился, был такой же просторный и роскошный, как и приемная.

За огромным столом человек в форме казачьего генерала, склонив лысину, что-то быстро писал. Громадного размера картина над ним изображала Серафима, который, сидя на вздыбленном коне, поражает копьем пятиголового красного дракона.

Генерал поднял голову, отложил свое писание, вышел из-за стола и, цветя благодушной улыбкой, пошел мне навстречу, подтягивая на ходу штаны с лампасами, которые, несмотря на большой живот, были ему велики.

— Ну, здравствуй, здравствуй! — сказал он, обнимая меня и хлопая по спине.

Дружин стоял рядом и скромно улыбался, как младший чин в присутствии старшего.

— Ты свободен, — кивнул ему Зильберович. Дружин лихо откозырял и вышел. — Ну, садись, — сказал Зильберович, указав на кожаный диван со стоявшим перед ним журнальным столиком, на котором лежал неизвестный мне раньше журнал «Имперские новости». Зильберович занял место в кресле напротив. — Ну вот и свиделись еще раз, — сказал он, продолжая улыбаться.

— Да, — повторил я, — свиделись.

— А ты почти не изменился, — сказал он.

— Зато ты изменился, — сказал я.

— В каком смысле? — озаботился он. — Очень постарел?

— Да нет, — успокоил я его. — Постарел не очень. Но выглядишь не совсем привычно. В этих вот... — Я каким-то образом изобразил руками его эполеты и аксельбанты.

— А, ты это имеешь в виду. — Он, склонив голову по-птичьи, оглядел себя самодовольно. — Ну что ж, старик. Это я, даже ты можешь подтвердить, заслужил. Верой и правдой служил Симычу... то есть я имею в виду Его Величеству. Я поверил в него, когда никто не верил. Я был рядом в самые трудные его времена. И вот видишь, кой до чего дослужился. А что касается тебя, то ты мне вообще должен памятник поставить. Вот как вернешься к себе в Штокдорф — если, конечно, вернешься, — так сразу начинай лепить. Потому что Си... то есть Его Величество был на тебя так зол, что хотел прямо сразу поступить с тобой как с плюралистом. А я тебя отстоял. Понимаешь?

— Не понимаю, — сказал я. — Чем это я Его Величество так прогневил? Что я ему такого сделал?

— Важно не что сделал, а чего не сделал, — заметил Зильберович. — Тебе было поручено «Большую зону» распространять. А ты...

— А я ничего не мог, — сказал я. — У меня этот флоппи-диск сразу конфисковали еще на таможне. А если б и не конфисковали, так все равно ничего сделать нельзя было. У этих комунян ни компьютеров, ни бумаги, один только вторичный продукт в изобилии... Да и с тем перебои, поскольку первичного продукта нехватка.

— Вот! Вот! — просиял Зильберович. — Именно такие слова я от тебя и хотел услышать. Значит, ты к коммунистам критически относишься? Не любишь их?

— Да кто ж их, — сказал я, — любит? Они сами себя не любят.

— Правильно! — одобрил меня Зильберович. — Заглотчиков и плюралистов никто не любит. Все их ненавидят. Сейчас мы поедем с тобой к Его Величеству. Ты ему так прямо и скажи, что заглотчиков и плюралистов ненавидишь и будешь бороться против них до конца. И запомни. Не вздумай называть его Симычем или как-нибудь вроде этого. Только Ваше Величество. И ни в чем не перечь. Отвечай только: слушаюсь, так точно, никак нет. А то если он осерчает...

Зильберович не договорил, вскочил на ноги и хлопнул в ладоши.

— Карету к подъезду! — крикнул он появившемуся в дверях усатому секретарю.

Я думал, что слово «карета» было сказано для красного словца, а оказалось, и правда карета. Из красного дерева, с кожаными сиденьями внутри и с какими-то жандармами на запятках. Кучер сразу погнал лошадей галопом. Погода была прекрасная, и солнце играло на кончиках пик окружавших карету казаков конвойной сотни.

Раздвинув бархатные занавески с кистями, я жадно смотрел на улицу и видел, какие благодатные перемены произошли здесь, покуда я сидел в тюрьме. Все прохожие были в длинных штанах и длинных платьях, а некоторые даже оказались длинноволосыми. Видимо, новая власть еще не окончательно установилась, потому что некоторые улицы были забаррикадированы поставленными поперек паровиками. Поэтому мы ехали каким-то странным кружным путем, чему, впрочем, я был рад. Сначала мы проехали по проспекту Маркса, которому уже было возвращено исконное название Охотный ряд. Зато проспект имени Первого тома

теперь назывался не улицей Горького и не Тверской, и даже вовсе не улицей и не проспектом, а Серафимовской аллеей.

За всю дорогу мы не встретили ни одного портрета Гениалиссимуса. Только портреты Симыча. Но больше всего мне понравился памятник на площади против бывшего Дворца Любви. На лошади, на которой сидел когда-то Юрий Долгорукий, а потом Гениалиссимус, теперь возвышался Симыч, который точно так же, как на картине в кабинете Лео, со зверским усердием пропарывал копьем пятиголового гипсового дракона.

Наконец наша карета застучала колесами по булыжнику Красной площади.

Первое, что я увидел, проезжая мимо Исторического музея, это две грубо сколоченные виселицы. На одной из них болтался с обрезанными шлангами Горизонт Тимофеевич Разин, а на другой Берий Ильич Взрослый в полной форме, за исключением штанов. Куда они делись, догадаться было проще простого. Я посмотрел на штаны Зильберовича, тот перехватил мой взгляд, все понял, смутился и инстинктивно прикрыл лампасы руками.

Я хотел что-то сострить, но, услышав шум, вновь выглянул наружу и увидел возле Лобного места большую толпу православных, которые мешали проезду. Из-за этой толпы мы слегка задержались, и я успел разглядеть палача в красной рубахе и с большим топором. Я сначала не разобрал, кого казнят. Но когда палач взмахнул топором, толпа взвыла, попятилась, и я увидел, что по булыжнику катится черная курчавая голова. Я ахнул, узнав голову Тома.

— Слушай, — обернулся я к Зильберовичу, — за что вы его? Неужели за то, что негр?

— Ну что ты! — сказал Зильберович. — Его Величество к неграм терпимо относится, но ты ж сам написал, что Том был скрытым заглотчиком.

Мне стало очень уж неприятно. Конечно, я написал, но если б я знал, что мое писание приведет Тома к такому ужасному концу, уж его-то я бы точно вычеркнул.

Пока я так думал, наша карета пробилась через толпу и въехала в распахнувшиеся перед нами Спасские ворота Кремля.

ИСКРИНА

В царской приемной Зильберович попросил меня подождать, а сам побежал докладывать. Я огляделся. Я узнал эту комнату. Еще недавно она была приемной Берия Ильича. Но теперь она выглядела несколько иначе. На окнах висели тяжелые занавеси с двуглавыми орлами, разглядывая которые, я не сразу заметил, что царская секретарша прекратила печатать на машинке и смотрит на меня с большим любопытством. Наконец я ее тоже заметил... Она была в черном строгом платье и в белой косынке, из-под которой выбивалась маленькая челочка.

— Клаша! — тихо позвала меня секретарша и улыбнулась.

— Искра! — закричал я. — Неужели это ты? Боже мой! Я тебя не узнал. Ты так изменилась и похорошела. Тебе так к лицу это платье и эта косынка. И челочка.

Я кинулся к ней, хотел ее обнять, но она выставила вперед руки и сказала:

— Нет, нет, только без этого.

Я даже опешил.

— Как же так без этого? Я тебя так долго не видел.

— Я тебя тоже долго не видела и отвыкла, — сказала она. — И это к лучшему. Потому что ты от нас скоро уедешь, а мне оставаться здесь.

— Да, да, — сказал я, оправдываясь, — я тебя никак не могу взять с собой, потому что...

— А почему ты думаешь, — спросила она удивленно, — что я хочу с тобой ехать куда-то?

— Как? — опешил я. — Разве ты не хочешь уехать отсюда со мной?

— С какой стати? Чего я там не видела?

— Что значит, чего ты там не видела? Ты разве не понимаешь? Если я уеду, ты больше никогда меня не увидишь. Никогда-никогда.

— Ну да. — Она улыбнулась и развела руками. — Когда-то же нам все равно пришлось бы проститься.

Причем сказала она это так спокойно, как будто перспектива проститься со мной навсегда не затронула в ней никаких струн души. Это меня ужасно шокировало, обидело и возмутило. Моя мужская гордость была уязвлена.

— Ну как же, — сказал я, — ну как же... Неужели ты все забыла? Ведь мы с тобой даже спали вместе.

— Мало ли, с кем я спала, — сказала она, улыбнувшись очень цинично. — Я же не могу одновременно уехать со всеми, с кем я спала.

Меня от такой откровенности даже всего за-

трясло. Я сжал кулаки, затопал ногами, закричал на нее:

— Да как ты смеешь говорить такие слова? Как тебе не стыдно! Неужели тебе чужды такие понятия, как любовь, женская верность и женская гордость? Неужели ты думаешь, что на свете нет ничего святого? А я-то, дурак, я о тебе думал, я страдал, я вспоминал, как предо мной явилась ты. Как мимолетное виденье, как гений чистой красоты.

Я говорил долго, возвышенно и красиво. Я произносил пушкинские слова, вовсе не думая, что я их украл. Мне казалось, что они только что родились в моем уме или сердце. И я сам искренне верил тому, что я говорил.

Я еще не закончил всех своих сентенций, когда заметил, что она ужасно разволновалась, затрепетала и вдруг с рыданиями кинулась мне на грудь.

— Миленький мой, — бормотала она, глотая слезы, — любимый, Клашенька... Прости меня, я не знала, что ты меня так любишь... Но если так... Ты ведь меня правда очень любишь? Очень, очень?

— Ну конечно же, очень, — сказал я, тут же теряя уверенность.

— Я тебя тоже очень-очень, — сказала она, осыпая меня поцелуями. — Я готова за тобой ехать, идти пешком куда хочешь, в прошлое, в будущее, в тартарары.

Вот подлая человеческая натура! Только что я страстно желал услышать от нее что-то подобное. А как услышал, сразу же скис.

Косынка на ней сбилась. Я ерошил ее короткие волосы, говорил ей какие-то слова и думал: «Боже мой! Что же это я такое наделал, зачем я ее уговаривал и куда я ее возьму?»

— Милая, — сказал я ей, — если бы ты поехала со мной, это было бы такое счастье, но...

Она закрыла мой рот ладошкой.

— Никаких «но». Я еду с тобой, куда ты меня позовешь.

— Да, да, — сказал я. — Да, конечно, но понимаешь, у меня там есть жена...

— А это не важно, — горячо возразила она. — Я знаю, что у тебя есть жена. Но я уверена, она хорошая, она все поймет, и мы с ней подружимся.

Надо сказать, что это ее предположение меня очень развеселило, и я даже не то чтобы засмеялся, но хмыкнул. И сказал, что жена у меня, конечно, хорошая и даже очень, но насчет того, что она поймет, в этом я как-то слегка сомневаюсь.

— Понимаешь, — сказал я, подбирая слова, — моя жена, она живет еще в прошлом, в старом капитализме, и у нее такие предрассудки, пережитки такие, что ее муж должен принадлежать только ей, и никому больше.

Это мое заявление Искру не охладило нисколько.

— Хорошо, — сказала она. — Если твоя жена такая отсталая, мы не будем ее травмировать. Мы будем встречаться только время от времени. А если и это невозможно, я буду счастлива иногда видеть тебя хотя бы издалека.

Вот эти женщины! Они никогда не понимают, чего хотят. Сначала они хотят видеть хотя бы издалека, хотя бы в подзорную трубу, но потом осознают, что этого мало, и начинают требовать чего-то еще.

— Сейчас тебя царь позовет. Ты ему скажи, что

можешь уехать только со мной. Он строгий, но справедливый. Он все поймет. Ты только скажи.

— Хорошо, хорошо, — сказал я, глядя на Зильберовича, который, приоткрыв дверь, манил меня пальцем.

ЦАРЬ СЕРАФИМ

— У меня для тебя есть четыре с половиной минуты, — сказал царь Серафим и включил таймер ручных часов «Сейко».

Он сидел передо мной на позолоченном троне, с железным жезлом, зажатым между колен. На голове у царя была шапка Мономаха, должно быть, изъятая из Оружейной палаты. Было жарко, из-под шапки струился пот, и царь время от времени утирался парчовым своим рукавом.

— Премного благодарен, Ваше Величество, — сказал я и глубоко поклонился.

— Я хотел тебя казнить, но потом передумал.

— Премного благодарен, — повторил я и, упав на колени, приложился к его левому сапогу.

— Ну, это ни к чему, — проворчал он. — Встань! Ты написал много чепухи. И в отношении меня допустил много похабства. Но, — голос его чувствительно потеплел, — я узнал, что ты много претерпел и отказался меня вычеркивать, несмотря на все, чем тебя стращали заглотчики. Молодец!

— Рад стараться, Ваше Величество! — вскочил я на ноги. — Но должен признаться, что моей заслуги тут нет. Вас разве вычеркнешь? Вас, Ваше Величество, и топором-то не вырубишь. Это заглотчики думают, что кого хочешь можно в исто-

рию вписывать, а кого хочешь — выписывать. А я-то знаю, что это никак невозможно.

— Го-то и оно! — сказал царь, довольный. — У тебя ум куриный, но это ты все ж таки сообразил. И за это я тебя, пожалуй, отпущу восвояси. Я, правда, запретил полеты всяких железных птиц, но люфтганзовскую летал ку задержал для тебя специально. И это будет последний полет над нашей империей. Но отпущу я тебя только при одном... Вернее, при двух непременных условиях.

— Я весь внимание, Ваше Величество, — сказал я смиренно.

— Во-первых, как только попадешь в восемьдесят второй год, так сразу опиши подробно все, что ты здесь видел, и пошли мне экспрессом в Отрадное.

— Слушаюсь, Ваше Величество! — сказал я.

— И обязательно про эту сучку напиши, про Степаниду, и про ее Тома тоже, я тогда буду сразу знать, что с ними делать. Во-вторых, всем плюралистам расскажи, что их ожидает в светлом будущем.

— Непременно расскажу, — обещал я совершенно искренне.

В это время как раз его часы начали пикать, но он их заткнул и спросил, есть ли у меня какие-то просьбы.

Я сказал, что просьба есть. Нельзя ли выйти отсюда через какой-нибудь черный ход или хотя бы через окно.

— Это еще зачем? — свел брови император.

— Не извольте прогневаться, Ваше Величество, — сказал я. — Но ваша секретарша... У меня

тут с ней были шуры-муры, и она втюрилась в меня, как кошка.

— Вот оно что! — еще больше нахмурился царь. — Ах ты, негодяй какой! — вскричал он и стукнул жезлом в паркет. — Так вот ты чем здесь занимался! Вот почему ты не распространял «Большую зону»!

Я испугался и рухнул на колени. Я стал объяснять, что заглотные коммунисты выделили мне Искрину без всякой просьбы с моей стороны, а просто как почетному гостю. И я жил с ней не для удовольствия, а только для того, чтобы отвлечь их внимание, усыпить бдительность и способствовать пришествию Его Величества.

— А она для чего же с тобой жила? — спросил он и покосился на меня презрительно и насмешливо.

Я, конечно, мог бы ему объяснить, что таких женщин, которые не хотели бы жить со мной, не бывает. Но я побоялся его рассердить и сказал, что она жила со мной в порядке партийной нагрузки.

— Какой разврат! — воскликнул император. — Это так себя вела моя секретарша. Лео! — закричал он как будто куда-то в пространство, хотя Лео стоял совсем рядом. — Повелеваю тебе эту... как ее... арестовать, подвергнуть публичной порке, выстричь середину головы и вывалять в смоле и в перьях.

— Ваше Величество! — закричал я, не вставая с колен. — Симыч, — сказал я, чувствуя, что могу так сказать, — она ни в чем не виновата. Ее заглотчики принуждали к сожительству с иностранцами. А она сама всегда была очень богобоязненной и

всегда была верной симиткой. Она всегда твой портрет здесь вот носила.

Кажется, мое сообщение его ублажило, и он сказал, что ладно, пороть не будет, а сошлет ее в монастырь. Мне ее было немного жалко, однако, будучи в то же время ревнивым, я был рад, что она останется жива, но не сможет мне изменять.

— Ну ладно, — сказал царь и, сняв шапку Мономаха, утерся ею. — Ступай и запомни то, что я тебе поручил. Лео, проводи его через ту дверь.

Я вскочил на ноги, отряхнул колени и, низко кланяясь, пошел задом к дверям.

— Витя! — окликнул меня вдруг Сим Симыч впервые в жизни по имени.

Удивленный, я остановился и вытаращился на него.

— Слушаю, Ваше Величество!

— Счастливого пути, Витя! — сказал царь и шапкой смахнул слезу.

— Счастливо оставаться, Симыч, — сказал я дрогнувшим голосом и толкнул задом дверь.

Эпилог

Я вернулся в Мюнхен вечером 24 сентября 1982 года. Моя жена не знала о моем приезде, поэтому мне пришлось взять такси.

Проезжая через Мюнхен, я был потрясен и даже подавлен обилием огней, реклам, разноцветных автомобилей и по-праздничному одетой толпой на Мариенплатц. Мне трудно было представить, что я приехал из будущего в прошлое, а не наоборот. В тот же вечер, не успел я войти в дом, обнять жену и распаковать чемоданы, раздался телефонный звонок.

— Здравствуй, Витек, — услышал я знакомый голос. — Говорит Букашев.

— Букашев? — удивился я. — Гениалиссимус?

— Что? — переспросил он недоуменно. — Как ты меня назвал?

С ответом я не спешил. Я думал, это не может быть Гениалиссимус, потому что, после того как я говорил с ним последний раз, у него было мало шансов остаться в живых. Впрочем, я тут же сообразил, что теперь время откалывает со мной другие шутки, и Лешка Букашев еще не знает о себе того, что я знаю о нем.

Все-таки к причудам времени, несмотря на все свои приключения, я так и не привык.

— Извини, — сказал я, — я малость притомился в дороге и не очень-то соображаю.

— Я тебя понимаю, — сказал он. — Из Гонолулу путь неблизкий. Хорошо, я тебе перезвоню, когда ты отдохнешь.

Не успел я положить трубку, раздался новый звонок.

— Привет, старик, говорит Зильберович.

— Здравия желаю, Ваше Превосходительство, — сказал я.

Он, конечно, не понял, почему я его так назвал, но и не удивился.

— Ты чем-нибудь занят? — спросил он.

— А что? — спросил я.

— Сейчас же мотай в аэропорт, возьми билет и дуй в Торонто.

— Прямо сейчас? — переспросил я.

— Да, — сказал он. — А что?

— Ничего, — сказал я. — Жди, может, дождешься.

Я бросил трубку и задумался. Я понимал, что Букашев и Сим Симыч жаждут, получив от меня информацию, скорректировать свои планы, и я даже сначала хотел им в этом помочь. Но потом я подумал: а зачем мне это нужно? Могу ли я, имею ли право вмешиваться в исторический процесс?

Нет, такую ответственность на себя, пожалуй, я не возьму. Так я решил и соответственно с этим стал действовать. Или, точнее, бездействовать. Я перестал подходить к телефону и сказал жене, чтобы она всех, кому я зачем-то нужен, посылала куда подальше. Что она с тех пор и делала. Правда, в исключи-

тельно вежливой форме. Всем, кто звонил, говорила, что я или только что вышел, или еще не пришел.

К чести Букашева надо сказать, что он отстал довольно скоро. Но Зильберович оказался настойчивее и звонил мне сначала чуть ли не каждый день. Потом затих, но, как выяснилось, ненадолго. Что касается арабов, от которых я в свое время получил аванс, они ни разу не объявились, и я знаю почему. Дело в том, что у них там произошел военный переворот, принц, который хотел у меня узнать секрет водородной бомбы, был убит дворцовой стражей. А новые руководители о нашем договоре, может быть, ничего не знали.

Журнал «Нью Таймс» за время моей поездки обанкротился, ничего от меня больше не требовал, а сам я тоже не набивался. И, живя в Штокдорфе тихой деревенской семейной жизнью, писал вот этот роман. Работал я легко и быстро, потому что все здесь описанное я видел в иной своей жизни, а с самим романом получилось вроде бы так, что я его прочел прежде, чем написал. Поэтому вся эта история складывалась как бы сама по себе, и я уже сам не мог разобраться, что в ней первично и что вторично.

А пока я об этом раздумывал, слух о моем скромном труде разошелся далеко, и ко мне в Штокдорф личной персоной приперся вдруг Зильберович с категорическим указанием: Симыча из романа немедленно вычеркнуть. Услышав это, я даже руками развел: снова-здорово! Мало того, что в Москорепе с риском для жизни отстаивал я свои выдумки, так неужели и здесь мне придется за них сражаться?

— Да что это вы все ко мне пристали с вашим Симычем? — сказал я в сердцах. — Почему я должен вычеркивать именно его, а не кого-то другого? Почему, например, не Гениалиссимуса?

— Гениалиссимуса можешь оставить, — великодушно разрешил Лео. — И можешь даже расписать его самыми черными красками, а Симыча не замай.

Во время происшедшего между нами бурного объяснения Лео стращал меня тем, что роман мой будет на руку только заглотчикам, которые наверняка за него ухватятся и, может быть, даже выпустят массовым тиражом. Я слушал Зильберовича с горькой усмешкой, вспоминал железный сейф Берия Ильича и сокрушенно качал головой.

— Нет, Лео, — сказал я, — ты заглотчиков недооцениваешь. Им тоже мой роман не понравится, и, если я его не искалечу, как Супика, не выкину из него все, кроме розовых снов, они продержат его в своих сейфах лет не меньше чем шестьдесят.

Так примерно я сказал Зильберовичу. И подумал: а что, если, прочтя вышеописанное, соберутся заглотчики тайно на какое-нибудь свое заседание, обсудят мой роман всесторонне и признают, что автор в чем-то, может быть, прав? И решат, что, если мы, мол, не свернем с заглотной нашей дороги, не исправим текущего положения, то неизбежно дойдем до ручки, до стирания разницы между продуктом первичным и продуктом вторичным. И, придя к такому печальному выводу, займутся исправлением не автора или его сочинений, а самой жизни. А роман мой, вынув из сейфа, издадут массовым тиражом как плод пустой и безобидной фантазии.

Что ж, против такого оборота событий лично я возражать не буду. Пусть будущая действительность окажется непохожей на ту, что я описал. Конечно, моя репутация как человека исключительно правдивого в таком случае будет изрядно подмочена, но я с подобной участью готов заранее примириться. Бог с ней, с репутацией. Лишь бы жить стало полегче. Вот в чем дело, господа.

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление 5
Часть I. РАЗГОВОР ЗА КРУЖКОЙ ПИВА 7
Часть II. ПОЛЕТ 118
Часть III. НАСЛАЖДЕНИЕ ЖИЗНЬЮ 194
Часть IV. СЛАВА 237
Часть V. В КРЕМЛЕ 300
Часть VI. ГОСТИНИЦА «СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ» . . 396
Часть VII. ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 439
Эпилог 473

Литературно-художественное издание

POCKET BOOK

Войнович Владимир Николаевич

МОСКВА 2042

Ответственный редактор *О. Байкалова*
Художественный редактор *А. Сауков*
Технический редактор *Н. Носова*
Компьютерная верстка *В. Фирстов*
Корректор *Н. Сикачева*

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.
Home page: **www.eksmo.ru** E-mail: **info@eksmo.ru**

Подписано в печать 15.07.2010.
Формат 76×100 $^{1}/_{32}$. Гарнитура «NewStandardCTT»
Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,11.
Тираж 5000 экз. Заказ № 5793

Отпечатано с готовых файлов заказчика в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ISBN 978-5-699-43398-8